

ЕВРОПЕЙСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Журженко Татьяна

ГЕНДЕРНЫЕ РЫНКИ УКРАИНЫ:

*политическая экономия
национального строительства*



ВИЛЬНЮС
ЕГУ
2008

УДК 396:33](477)
ББК 60.54:65(4Укр)
Ж91

Рецензенты:

Ушакин С., кандидат политических наук, доктор философии (PhD), профессор кафедры славистики Принстонского университета;
Гапова Е., кандидат филологических наук, доцент, директор Центра гендерных исследований ЕГУ, доцент университета Западный Мичиган (США)

Ж91

Журженко, Т.

Гендерные рынки Украины: политическая экономия национального строительства (Gendered Markets of Ukraine: political economy of nation building). – Вильнюс : ЕГУ, 2008. – 256 с.

ISBN 978-9955-773-15-3.

Используя категорию «гендера», автор рассматривает противоречия национального строительства и рыночных реформ в пограничье Центрально-Восточной Европы. На примере Украины она показывает, что эти процессы не только по-разному влияют на социальный и экономический статус женщин и мужчин, их доступ к власти и возможности реализации гражданских прав, но и неразрывно связаны с трансформацией гендерных ролей и гендерных идентичностей, а также способов их воспроизводства. Переосмысливая две мета-парадигмы постсоветского переходного общества – «нацию» и «рынок» – с позиций феминистского критицизма, автор предлагает свой взгляд на национализм, демографические проблемы, дискуссии о «европейской идентичности» и «оранжевую революцию».

Издание адресовано философам, политологам, социологам, культурологам, а также всем, кого интересует гендерная проблематика.

**УДК 396:33](477)
ББК 60.54:65(4Укр)**

Издание осуществлено в рамках проекта
«Социальные трансформации в Пограничье – Беларусь, Украина, Молдова»
при поддержке Корпорации Карнеги (Нью-Йорк)

ISBN 978-9955-773-15-3

© Т. Журженко, 2008

© Европейский гуманитарный университет, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЫНКА.....	5
ВВЕДЕНИЕ	7
I. РЫНОК, НАЦИЯ, ГЕНДЕР	
Дискурс рынка и проблема гендера в экономической науке	17
Вписывая(сь) в дискурс национального: украинский феминизм или феминизм в Украине?	38
II. ПАДЧЕРИЦЫ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ	
Домохозяйка или бизнес-леди: неолиберализм и постсоветские женские идентичности	73
Женщины в челночном бизнесе: между эмансипацией и самоэксплуатацией	97
III. СЕМЬЯ КАК РЕСУРС И КАК СИМВОЛ	
Старая идеология новой семьи: постсоветский демографический национализм	118
Постсоветская семья в условиях рынка.....	145
IV. ДОМОЙ, В ЕВРОПУ: НАЦИЯ КАК СЕМЬЯ	
Между кланом, семьей и нацией: мужественность и женственность в «цветных революциях»	181
С мечтой о Европе: гендерные конструкции геополитической идентичности.....	215

CONTENTS

ON THE POLITICAL GEOGRAPHY OF THE INTELLECTUAL MARKET.....	5
INTRODUCTION.....	7
I. MARKET, NATION, GENDER	
Market discourses and the problem of gender in economic theory.....	17
Entangled in the national discourse: Ukrainian feminism or feminism in Ukraine?.....	38
II. STEPDAUGHTERS OF MARKET REFORMS	
Housewife or business woman: neoliberalism and post-Soviet female identities.....	73
Women in the shuttle-business: between emancipation and self-exploitation.....	97
III. FAMILY: RESOURCE AND SYMBOL	
The old ideology of the new family: post-Soviet demographic nationalism.....	118
The post-Soviet family under market conditions.....	145
IV. RETURNING TO EUROPE: NATION AS FAMILY	
Between clan, family, and nation: masculinities and femininities in the "color revolutions"	181
Dreaming of Europe: gendered constructions of geopolitical identity.....	215

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЫНКА

Сборник «Гендерные рынки Украины: политическая экономика национального строительства» содержит статьи украинской исследовательницы Татьяны Журженко – как новые, так и публиковавшиеся ранее в международных журналах и научных изданиях. Объединение их под одной обложкой представляется естественным, поскольку все тексты связаны общей темой, рассматривая две главные «движущие силы» посткоммунистических трансформаций – нацию и рынок – в их взаимосвязи. Анализ взаимодействия национализма и либерализма – в постсоветском пространстве идеологий неразрывных и взаимообусловленных – сквозь перспективу гендерной теории делает сборник интересным для широкого круга исследователей. Главное интеллектуальное достоинство книги состоит в том, что она не «про Украину» (т.е. не только про нее), не про рынок (хотя и про него тоже) и даже не про гендер как наиболее значимую линию социального разделения. Автор анализирует процессы формирования политической нации и сопряженные с ними тенденции гендерной дифференциации в фундаментальных категориях переустройства социального порядка.

Книга «Гендерные рынки Украины» является попыткой выйти за рамки национальных и региональных моделей интерпретации, преодолевая таким образом новую символическую иерархию, складывающуюся в условиях постсоветского академического рынка. Особенность этого рынка состоит в формировании новых форм доминирования и исключения, связанных с тем, что именно – какие постсоветские страны, исследовательские темы и даже аналитические категории начинают рассматриваться в качестве «легитимных» для интерпретации и репрезентации постсоветского опыта, а какие

оказываются «локальными» как в географическом, так и в интеллектуальном смысле, неизбежно будучи оттеснены к краю поля символического производства. Этот процесс происходит одновременно с формированием еще одной системы иерархий, связанной с включением «Восточной Европы» и «постсоветского пространства» в глобальный интеллектуальный рынок. Эти включения и исключения оказываются соотношенными с политическими и экономическими интересами академических авторов; господствующему научному дискурсу оказываются соположены определенные политические и экономические институты. В рамках этих тенденций гендерные исследования, с одной стороны, включаются в процессы интеллектуальной «вестернизации» нашей «части света». С другой стороны, именно в силу обстоятельств проникновения гендерных теорий на постсоветское пространство и особенностей их функционирования в постсоветской академии часть из них трансформировала (или растеряла) свое радикальное содержание и потенциал деконструкции. Интеллектуальное напряжение текстов Татьяны Журженко возникает в результате применения провокационных гендерных концептов в контексте «посткоммунизма». Очень важно, что эта своевременная книга оказалась возможной, и особенно приятно, что это произошло во многом благодаря многолетнему сотрудничеству автора с Центром гендерных исследований Европейского гуманитарного университета.

Елена Гапова

ВВЕДЕНИЕ

В январе 2008 г. украинская пресса сообщила о том, что супруга президента Украины Катерина Ющенко приняла участие в торжественной церемонии вышивания «Рушныка национального единства», завершив вместе с киевскими вышивальщицами девятиметровое полотно. Эта всеукраинская общественно-политическая акция продолжалась в течение года, и за это время «Рушнык национального единства» объехал все регионы Украины. Стараниями местных вышивальщиц «рушнык» был украшен двадцатью семью неповторимыми орнаментами, представляющими все административные области Украины и объединенными в один сюжет: «Дерево жизни». Торжественное завершение этой акции было не случайно приурочено ко Дню соборности Украины – 22 января. Примерно в эти же дни в Украине в очередной раз разыгрались языковые страсти. В данном случае поводом послужило решение Национального комитета по телевидению и радиовещанию о стопроцентном дублировании продукции кинопроката на украинский язык. Особо острые дискуссии вызвала перспектива дублирования российских и русскоязычных фильмов. Министерство иностранных дел России, как водится, заявило об ущемлении прав русского языка. В феврале 2008 г. кинопрокатчики восточных и южных регионов Украины объявили забастовку, протестуя против украинизации кинопроката. И наконец, последний пример: в декабре 2007 г. депутаты оппозиционной фракции «Блока Литвина» направили президенту Украины открытое письмо с требованием принять меры для улучшения положения украинских трудовых мигрантов за рубежом. Подчеркивая необходимость улучшения правовой защиты мигрантов, а также создания условий для их возвращения на родину, депутаты заявляли, что «Украина

должна повернуться лицом к своим сыновьям и дочерям и не дать им окончательно превратиться в пасынков». Хотя проблемы женской трудовой миграции в этом документе специально не обсуждаются, упоминания о работоторговле и принудительной проституции, оставленных дома детях и демографическом кризисе задают основные параметры господствующего дискурса о женщинах-«заробитчанках».

Эти события, произвольно выхваченные из бесконечного политического калейдоскопа сегодняшней Украины, при ближайшем рассмотрении оказываются связанными между собой больше, чем представляется на первый взгляд. Они иллюстрируют противоречия национального строительства на постсоветском пространстве: попытки консолидации нации на основе государственного языка и культурных символов, оборачивающиеся новыми конфликтами и политизацией региональных различий; борьбу за пересмотр символических границ нации, сопровождающуюся появлением новых «других»; апелляцию к женщине как к символу гармонии и национального согласия и в то же время – стремление возложить на нее ответственность за демографические и социальные проблемы в стране. Почему «оранжевая революция», объединившая своих сторонников под лозунгами «возвращения в Европу» и «гражданского национализма», демократии и борьбы с коррупцией, привела в результате к усилению культурно-этнического национализма и языковых страстей? Почему «европейская нация» предпочитает репрезентировать себя посредством фольклора, этнической символики и традиционных гендерных ролей? Почему именно женская трудовая миграция – продукт рыночных реформ 1990-х и современной глобализации – оказывается сегодня в центре политических дебатов о демографическом кризисе и сохранении национальной идентичности?

Я не могу дать исчерпывающие ответы на эти вопросы, однако предлагаю некоторые подходы к их обсуждению. Эта книга – не монография в традиционном смысле, но в то же время она представляет собой нечто большее, чем сборник статей. Собранные здесь тексты написаны мной на протяжении последних нескольких лет по разным поводам, будучи в то же время связаны одним долгосрочным исследовательским интересом. В фокусе этого интереса – процессы радикальной перестройки (пост)советского общества на основе двух метапарадигм – «нации» и «рынка»; встреча, конфликт и взаимодействие двух доминирующих идеологий – национализма и неолиберализма. Проект европейской украинской нации, «изобретаемой заново» как свободное и «открытое» рыночное общество, явно или имплицитно опирается на гендерные дискурсы и новые символические репрезентации женственности и мужественности, предполагает реорганизацию гендерного порядка и переопределение гендерных ролей. Уже хотя бы поэтому «нация» и «рынок», обычно разделенные границами академических дисциплин, находятся в одном проблемном поле. Рыночные реформы и национальное строительство в постсоветской Украине не просто разворачи-

вались параллельно, но и взаимно влияли друг на друга. Эти процессы рассмотрены в книге на разных уровнях – от общенациональных дебатов о европейской идентичности и геополитическом выборе – до «экономики выживания» украинских семей в переходный период и частного случая женщин-челночниц, по-своему отвечающих на вызов рыночных реалий. Такой подход связывает метаидеологии переходного периода и макротрансформации государства и экономики с микромиром повседневности и изменениями индивидуальных женских идентичностей.

Здесь не место для дискуссии о правомерности и продуктивности использования понятия «гендер» в постсоветском контексте и адекватности «гендерных студий» в Украине англоязычному эквиваленту. Я разделяю подход тех авторов, которые используют категорию «гендер» для анализа новых властных иерархий и механизмов исключения, возникающих в процессах национального строительства и рыночных реформ. Как показано в книге, эти процессы не только по-разному влияют на социальный и экономический статус женщин и мужчин, их доступ к власти и возможности реализации гражданских прав; что еще более важно, они неразрывно связаны с трансформацией гендерных ролей и гендерных идентичностей, а также способов их воспроизводства. Поэтому категория гендера служит в книге не столько для описания «последствий реформ» для «положения женщин», сколько для объяснения механизмов, с помощью которых «свобода рынка» и «интересы нации» утверждаются в качестве фундаментальных оснований новой социальной реальности. Моя позиция заключается в том, что нельзя адекватно понять экономические и политические преобразования в постсоветских обществах, не принимая во внимание сложные процессы переустройства гендерного порядка.

Эта книга – скорее коллаж, чем монументальная панорама. Возможно, читатель найдет в этом свои преимущества. Написанные на протяжении нескольких лет и собранные под одной обложкой статьи позволяют увидеть постсоветскую реальность как «движущийся объект» исследования. Они обнаруживают также, как менялись мои исследовательские приоритеты и политическая позиция по мере того, как увеличивалась дистанция, отделяющая нас от советской эпохи. Поэтому эту книгу можно читать как ретроспективу, позволяющую с сегодняшних позиций по-новому увидеть романтические мечты перестройки, травму крушения империи и надежды, связанные с независимостью, шок либеральных рыночных реформ и болезненные противоречия национального строительства. В то же время она может быть прочитана с точки зрения перспективы: события, последовавшие в Украине за президентскими выборами 2004 г., взломали устоявшуюся стабильность полуавторитарного режима и сложившийся консенсус властных элит, разбудили общество и втянули его в политическое противостояние. Однако ответов на новые вопросы пока нет, и новый «общественный договор», устраивающий конфликтующие стороны, будет, очевидно, заключен не

скоро. «Оранжевая революция» вновь вынесла на повестку дня затихшие было дискуссии о нации и национализме, подтолкнула Украину к идеалу европейской политической нации и в то же время до предела углубила региональные, языковые, культурные противоречия и деления. Она обозначила разрыв с постсоветским состоянием, который, однако, не сопровождался существенными сдвигами в сторону западной модели демократии.

Свою задачу как автора я видела в том, чтобы соединить анализ конкретных проблем с критикой парадигмы объективности и нейтральности, преобладающей в постсоветских социальных науках и тем более в экономике и оборачивающейся слепотой к собственным идеологическим предпосылкам и политическим интересам ее носителей, а также нечувствительностью к маргинальным (например, женским) голосам. Так, например, первая глава посвящена вопросу о том, почему теории рынка и переходной экономики имплицитно определяют женщину как неполноценный экономический субъект.

В то же время критический импульс книги направлен против доминирующих дискурсов неолиберализма и национализма. Эти метаидеологии сопутствовали друг другу со времен горбачевской перестройки и совместными усилиями обеспечили делегитимацию государственного социализма и «советской империи». Коммунистический режим, по мнению его критиков, подавлял как национальные чувства, так и экономическую свободу индивида. Неудивительно, что перспективы освобождения личности связывались одновременно с рыночной либерализацией и с возрождением нации. Такая историческая констелляция принципов «свободного рынка» и «нации», понимаемой прежде всего как этнокультурное сообщество, имела далеко идущие, еще до конца не осознанные последствия для постсоветских обществ. Замечу лишь, что «счастливый брак» национализма и неолиберализма, представляющийся нам сегодня естественным и единственно возможным, уже не покажется таковым, если вспомнить, что на протяжении XX в. национализм, как правило, искал союзника в лице социализма. Лишь в 1980-е гг. в Восточной Европе энергия пробуждающегося национализма была подхвачена пришедшей с Запада неолиберальной волной. Неолиберализм в его восточноевропейской версии появился прежде всего как лекарство от коммунизма – он предполагал, что новое, лучшее общество возникнет спонтанно на основе законов рынка, если старое разрушено «до основания». И хотя сегодня идеи неолиберализма вышли из моды, он успел выполнить свою историческую миссию – новые государства, возникшие на обломках советской империи, обязаны ему как своими достижениями, так и проблемами. И даже Россия и Беларусь, где политический маятник, казалось бы, качнулся в противоположную сторону – в сторону жесткого государственного контроля над «невидимой рукой» рынка – лишь подтверждают этот вывод.

С конца 1980-х гг. «свободный рынок» функционировал как новая мифология, обещающая решение всех проблем. Механизмы рынка представля-

лись критикам социализма не только более эффективными по сравнению с административно-командной системой и государственным планированием. Воображаемое рыночное общество казалось также более справедливым по сравнению с уравнилельным социализмом, адекватно вознаграждающим за труд, инициативу и ответственность. «Свободный рынок», таким образом, предлагал новую концепцию гражданства, в основе которой лежала экономическая свобода. Граждане этой новой нации представлялись свободными экономическими субъектами, независимыми от государства и друг от друга, с выгодой использующими собственные ресурсы и социальный капитал. Утопичность этой конструкции особенно очевидна именно с позиции женщины, существующей «в пограничье» между семьей и занятостью в общественном секторе, между рыночным сектором и домохозяйствами, между сферой, где действуют законы прибыли и экономической эффективности, и миром семейной солидарности и альтруизма. Способ существования женщины в рыночной экономике предполагает, с одной стороны, постоянное воспроизводство новой границы между «мужским» миром рынка и «женским» миром семьи. Как показано в третьей главе, рыночное общество предлагает постсоветской женщине способы интеграции в новую реальность: социальные роли и идентичности домохозяйки и бизнес-леди. С другой стороны, эта граница является неустойчивой и проницаемой (женщины-челноки, и не только они, постоянно ее пересекают), а в пограничной зоне существует множество квазирыночных форм (см. четвертую главу настоящей книги). Мой подход согласуется поэтому с выводами Майкла Буравого и Кэтрин Вердери, показавшими, что реакцией на экспансию рынка является сопротивление и творчество как неотъемлемая часть повседневных практик¹.

В противоположность классической абстракции «робинзонады», лежащей в основе неолиберальной парадигмы, люди в реальных обществах адаптируются и выживают семьями. Материальный, социальный и, не в последнюю очередь, эмоциональный капитал семьи оказался важнейшим внутренним ресурсом, востребованным в процессе постсоветских трансформаций – этот тезис развернуто проиллюстрирован в шестой главе.

Вопреки неолиберальной утопии, экономические законы не могут полностью подчинить себе культурную и политическую реальность – рыночные реформы натолкнулись на сопротивление групповых и индивидуальных интересов, унаследованных из прошлого ментальности и культуры. В то же время принципы рынка по-своему восторжествовали: произошла массовая конвертация административных и политических статусов, социального и культурного капитала в деньги, бывшая советская интеллигенция получила возможность «зарабатывать головой», а коррупция стала неотъемлемой частью постсоветской политики. Все получило свою цену – денежную или теневую, «женственность» и «мужественность» тоже стали товаром. Новые гендерные роли и идентичности воспроизводятся отныне посредством механизмов рынка, массового потребле-

ния, рекламы. Гендер стал также ходовым политическим товаром – в большинстве постсоветских государств возникли женские партии, а многие женские движения и организации оказались под патронатом олигархических кланов и президентских «семей». В начале 1990-х гг. много говорилось о том, что результатом рыночных реформ должно стать создание нового среднего класса как необходимого фундамента современных постсоветских наций. «Оранжевая революция» в Украине продемонстрировала, что такой средний класс уже существует, по крайней мере в столице. И в то же время она обнажила трудности строительства нации поверх колоссального разрыва между богатыми и бедными, возникшего за последние два десятилетия в результате неолиберальных рыночных реформ.

Концепция нации, в отличие от «свободного рынка», предполагает другой тип связи между индивидами, другую логику социальных отношений. Речь идет не об экономически независимых индивидах, связанных взаимной выгодой, а об органическом сообществе «своих» в противоположность «чужим», об идеале «семьи». Барбара Айнхорн проводит важное различие между нацией и национальным государством: нация – это идея, проект, «воображаемое сообщество». Националистические дискурсы проецируют этот проект на определенную территорию или этническую группу с целью создания (или изменения границ) национального государства². Нация является политическим сообществом, если она определяется посредством территории, национальных границ, конституционных принципов; она является культурным сообществом, если конституирует себя на основе общих культурных ценностей и символов – языка, фольклора, исторической памяти. В большинстве случаев, однако, политический и этнокультурный национализм дополняют (или оспаривают!) друг друга. На стыке различных политических дискурсов и конкурирующих проектов национального строительства почти всегда возникает зазор между символическими и географическими границами нации, территориальными и этнокультурными ее конструкциями. Эта множественность определений и проектов нации, сконструированность и плюральность ее границ особенно очевидны в случае Восточной Европы, однако отнюдь не являются монопольной особенностью этого региона. Попытки властных элит консолидировать национальные сообщества, достичь конгруэнтности между территориальными, культурными и лингвистическими границами неизбежно задействуют механизмы политического включения/исключения, порождают новые культурные иерархии и практики дискриминации, ведут к политизации региональных, языковых, этнических идентичностей.

Национализм, как двуликий Янус, несет в себе импульс политической и социальной модернизации и в то же время апеллирует к традиционалистским ценностям. Эта двойственность имеет отношение прежде всего к амбивалентной роли женщин в национальных движениях. Демократический национализм и политическая модернизация открывают для них возможности участия в пу-

бличной жизни и в политике, в то же время жестко задавая репертуар социальных ролей: прежде всего женщины – матери нации и в исключительных случаях – женщины-борца, соратницы мужчины. Национализм вмещает женщину в качестве ее главной функции, ее «святого долга» биологическое воспроизводство нации, ответственность за приумножение (и качество!) популяции. Так, например, противоречия идеологии и политики демографического национализма на примере России и Украины подробно рассмотрены в пятой главе этой книги. Как мать женщина несет ответственность за передачу новым поколениям ценностей, языка и культуры своего сообщества – эта роль может быть особенно значимой в тех этнических группах, которые ощущают себя в меньшинстве или под угрозой исчезновения. Не менее важно и то, что женщина несет основное «бремя символической репрезентации» своей нации; женское тело, сексуальность, манера одеваться часто маркируют границу между «ними» и «нами», а женщины считаются носителями «лучших качеств», чести и достоинства своей группы. Иногда же, наоборот, именно фигура женщины символизирует утрату национальной идентичности и постколониальный статус культуры. В последней главе я постаралась показать, какую роль играют репрезентации украинской феминности и маскулинности в дискурсах геополитической идентичности Украины и «европейского выбора». В то же время мне хотелось отойти от распространенного сегодня в гендерных исследованиях подхода, в соответствии с которым националистическая идеология главным образом манипулирует женщинами и инструментализирует женские движения в интересах национального строительства. Феминизм в Восточной Европе активно участвовал и продолжает участвовать в процессах «изобретения» наций, в переговорах по поводу их символических границ, в формировании коллективной памяти и национальной идентичности. Как показано во второй главе этой книги, феминизм и национализм могут заключать иногда взаимовыгодный альянс, а женщины нередко играют важную роль в модернизации и «де-маскулинизации» националистической идеологии.

На протяжении двух последних десятилетий мы являемся свидетелями и участниками трансформации «советского народа Украины» в украинскую нацию. Я, однако, не склонна рассматривать этот неизбежный процесс в терминах поступательной эволюции. Приблизившись к идеалу «национального государства» с присущим ему разделением на государствообразующую нацию и национальные меньшинства, мы закрыли для себя другие возможности «вообразить заново» постсоветскую Украину.

Формирование институтов демократии и политического гражданства, вполне оправданная политика повышения статуса «постколониальной» украинской культуры привели к углублению расколов и обострению конфликтов в обществе, к политизации региональных, языковых и этнических идентичностей, к возникновению новых аутсайдеров и маргиналов. Очевидно, что эти тен-

денции нельзя описать просто как изменение баланса между этнокультурными и гражданскими компонентами украинского национализма. Лидеры «оранжевой революции», хотя и апеллировали к языку и другим культурным символам, предложили проект обновления украинской политической нации на основе универсальных ценностей: свободы слова, открытости власти, борьбы с коррупцией. Речь шла по существу о переходе от «клана» и «семейственности» как до-модерной, неевропейской формы организации бизнеса и власти к современной нормативной нуклеарной семье, отделенной от бизнеса и от политики, о восстановлении нормального с точки зрения либеральной демократии разделения на частную и публичную сферы (см. об этом седьмую главу). Однако кристаллизация гражданского национализма на киевском Майдане обернулась через некоторое время разочарованием в новой власти и обострением политического противостояния в обществе. Отвергнув «номенклатурную» модель национальной консолидации, реализованную бывшим президентом Леонидом Кучмой посредством баланса интересов региональных элит, новая власть вынуждена была обратиться к языку, этнокультурным символам и «виктимизирующему» нарративу исторической памяти как к новым (старым) инструментам консолидации.

Хотя книга написана в основном на украинском материале, проблемы, затронутые в ней, отнюдь не являются монополией Украины. Они актуальны для большей части того региона, который все еще принято называть постсоветским пространством, хотя собственно «советского» в нем становится все меньше. По мере геополитической дезинтеграции постсоветского пространства более актуальным становятся географические определения – Евразия, Восточная Европа, восточноевропейское пограничье. Этот сдвиг от темпоральных дефиниций к пространственным отражает признание того очевидного факта, что для некоторых стран «посткоммунистический переход» остался незавершенным и «возвращение в Европу» откладывается на неопределенное время. За последние несколько лет Украина переместилась на символической карте Европейского континента по направлению к Западу, однако граница, разделяющая Восточную Европу и Европу «нормальную», стала еще жестче. Выбор географических категорий для обозначения объекта исследования – это вопрос политический, и об этом тоже идет речь в данной книге.

Эта книга во многом обязана своим появлением Европейскому гуманитарному университету, прежде всего Центру гендерных исследований и его директору Елене Гаповой, а также Программе «Пограничье Центрально-Восточной Европы» и ее руководителю Павлу Терешковичу. Некоторые из включенных в этот сборник текстов были впервые представлены в ЕГУ на конференциях и семинарах, другие выросли из лекций, прочитанных для студентов университета. Елена Гапова так или иначе была причастна к рождению многих из них. Я особенно благодарна Сергею Ушакину, который прочитал рукопись и помог мне по-новому увидеть структуру этой книги. Я также выражаю благо-

Введение

дарность тем институциям, которые содействовали моей работе на протяжении этих лет: Фонду Дж. и К. МакАртуров, Институту гуманитарных исследований в Вене (Австрия), Программе INTAS и Университету Северного Лондона, Университету Торонто, Австрийскому Фонду поддержки научных исследований и Университету Вены, а также Харьковскому национальному университету им. В.Н. Каразина и, в частности, родному философскому факультету. Наконец, я выражаю особую благодарность украинскому художнику Александру Ройтбурду за любезное разрешение разместить на обложке фрагмент его картины «Танго».

Тексты, представленные в этом сборнике, частично были опубликованы ранее (иногда в сокращенном виде) в следующих изданиях: Дискурс рынка и проблема гендера в экономической науке // *Общественные науки и современность*. 1999. No. 5 (I, 1); Gender and Identity Formation in Post-Socialist Ukraine: the case of women in the shuttle business // *Feminist Fields: Ethnographic Insights* / ed. by Anderson, Cole and Howard-Bobiwash. Broadview Press, 1999 (II, 2); Free Market Ideology and New Women's Identities in Post-Socialist Ukraine // *The European Journal of Women's Studies*. Vol. 8 (1). 2001 (II,1); Старая идеология новой семьи: демографический национализм России и Украины // Семейные узы: модели для сборки / под ред. С. Ушакина. М., 2004 (III, 1); Families in the Ukraine: between postponed modernization, neofamilialism and economic survival // *Families in Eastern Europe* / ed. by Mihaela Robila // Elsevier. 2004 (III, 2); Между кланом, семьей и нацией: постсоветская маскулинность/феминность в «цветных революциях» // *Ab Imperio*. No. 1. 2007 (IV, 1). Здесь представлены дополненные и расширенные варианты статей. Все они были заново отредактированы в 2008 году. Тексты, опубликованные ранее на английском языке, переведены мною на русский. Главы «С мечтой о Европе» (IV, 2) и «Вписывая(сь) в дискурс национального» (I, 2) написаны специально для этой книги. Некоторые идеи, изложенные здесь, обсуждались также в моей монографии «Социальное воспроизводство и гендерная политика в Украине», опубликованной издательством «Фолио» в 2001 г. в Харькове.

Примечания

- ¹ Uncertain Transition. Ethnographies of Change in the Postsocialist World / ed. by M. Burawoy and K. Verdery. Lanham, 1999. P. 7.
- ² Einhorn, B. Insiders and Outsiders: Within and Beyond the Gendered Nation / B. Einhorn // Sage Handbook of Gender and Women's Studies / eds. K. Davis [et al.]. London; New Delhi, 2006. P. 198–215.

I. РЫНОК, НАЦИЯ, ГЕНДЕР

ДИСКУРС РЫНКА И ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Проблема социально-экономического статуса женщин в условиях рыночных реформ привлекает все большее внимание в постсоветских обществах. Это направление исследований имеет свою предысторию, поскольку в советский период участие женщин в производстве, проблемы совмещения ими семейных и производственных функций достаточно активно изучались социологами и экономистами. Хотя понятия гендерного неравенства, профессиональной сегрегации и дискриминации на рынке труда были исключены из языка социологии и экономики, а вопрос о структурных причинах гендерных диспропорций практически никогда не затрагивался, эти исследования представляли собой редкий в советских социальных науках пример обращения к женской проблематике.

Не случайно в эпоху перестройки в бывшем СССР именно эта проблематика стала структурообразующей для зарождающихся гендерных исследований. Московский центр гендерных исследований (МЦГИ) возник на базе Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, а его ядром стал коллектив исследовательниц, имеющих значительный опыт научной работы в области женской занятости и социальной политики. Стремление выявить причины гендерного неравенства в переходной экономике, найти пути и механизмы его преодоления определило основную направленность развития гендерных исследований МЦГИ в 1990-е гг.¹

Как известно, западный феминизм и международное женское движение также рассматривают проблему достижения равного экономического статуса женщин, ликвидации дискриминации на рынке труда, обеспечения равного доступа к экономическим ресурсам как одну из центральных проблем². Стратегии женского движения в развитых странах Запада в по-

следние два-три десятилетия были направлены на реформирование законодательства в области занятости с целью обеспечения более полного участия женщин в экономической деятельности, создания возможностей для достижения ими экономической независимости и реализации своих знаний и творческого потенциала.

Демократические реформы в постсоветских обществах создали условия для развития независимого женского движения и активной защиты женщинами своих экономических и политических прав. Тем не менее мы оказались перед лицом резкого ухудшения положения женщин, роста женской безработицы, феминизации нищеты, крушения системы социальной защиты, вытеснения женщин в неформальный сектор и роста объемов домашнего труда. Новые возможности, связанные с либерализацией экономики, были успешно использованы лишь немногими женщинами, в то время как положение большинства значительно ухудшилось. Случайно ли то, что переход к рынку потребовал «патриархатного отката» во всех сферах общества, несмотря на растущее противодействие женского движения?

Что стоит за универсальными и общечеловеческими ценностями рынка, демократии, экономической свободы, чем оборачиваются они с точки зрения женщины в экономике, обществе и культуре? В какой степени производный от западного политического либерализма эгалитаристский феминистский дискурс способен адекватно отразить проблематику положения женщины в переходной экономике? В какой мере переживаемые женщинами экономические трудности связаны с общими закономерностями формирования рыночного общества, а в какой – с избранным курсом и характером реформ? Возможно ли, оставаясь в рамках традиционной экономической парадигмы, пусть и признающей существование гендерного неравенства, ответить на вопрос о причинах последнего?

1. Женщины и экономика: пределы эгалитарного феминизма

Общепризнанным в феминистской литературе является наличие двух политических стратегий, двух способов идентификации, двух типов теоретического дискурса: феминизма равенства и феминизма различия³.

Феминизм равенства, основывающийся на идейно-теоретическом течении либерального феминизма, пытается реализовать такой проект социального устройства, в котором обеспечивалось бы полное равенство политических, экономических и социальных прав женщин и мужчин и по существу было бы преодолено экономическое разделение труда между полами. Идентификационная стратегия, отвечающая этому типу феминистского дискурса, основывается на универсалистских понятиях «личности» и «гражданства» работника. Предель-

ная реализация феминистского эгалитарного проекта предполагает паритетное участие женщин в традиционно мужском мире политики и бизнеса, однако достижение гендерного равенства, хотя и предполагает определенные реформы, в целом не затрагивает основ существующего социального порядка и обеспечивающего его устойчивость дискурсивного механизма производства знания.

Феминизм различия, связанный с теоретико-политическими экспериментами радикального феминизма последних десятилетий, основывается на идее «инаковости», принципиальной несводимости женской субъективности к универсальному субъекту права, политики, экономики, философии, науки. Само существование такого универсального субъекта проблематизируется с позиций постмодернистской философии, рассматривается как принадлежность исторически определенного (маскулинного, патриархатного) типа дискурса. Поэтому феминизм различия не связывает свои надежды с развитием женских исследований в рамках господствующей парадигмы социальных наук – они неизбежно воспроизводят маскулинный канон. В предельном варианте задача феминистского теоретика состоит в том, чтобы (пользуясь словами Л. Иригарэй) «подорвать господствующий дискурс, отлаженную экономику производства смысла, “создать помехи”, “застопорить” работу теоретической машины и воспрепятствовать ее претензиям на производство истины»⁴. Политические стратегии феминизма различия реализуются там, где возникает возможность репрезентации женского различия, противящегося давлению господствующего маскулинного дискурса. Теоретический анализ положения женщины с позиций феминизма различия поэтому неизбежно выходит за рамки обычного дисциплинарного исследования: границы науки, ее основные допущения и исходные посылки, традиционно рассматриваемые как объективные и общезначимые, подвергаются критическому пересмотру с точки зрения особого места женщины в культуре.

Две основные феминистские стратегии, два различных типа теоретического дискурса предполагают (с достаточной степенью условности) два возможных подхода в гендерных исследованиях в области экономики. Одна и та же задача – исследование причин гендерного неравенства в экономике – решается в рамках этих двух направлений по-разному. Первый подход, связанный с феминизмом равенства, использует общепринятую методологию и практически не ставит под сомнение сами основания экономической теории. Однако экономическая наука традиционно связана с идеологией либерализма и опирается на позитивистскую научную парадигму, что ставит феминистским исследованиям в области экономики определенные пределы. Поэтому при втором подходе (пока еще только зарождающемся) просматривается попытка реализовать в экономической теории определенные стратегии феминизма различия. В этом случае причины экономической маргинальности женщин непосредственно связаны с особенностями функционирования дискурса экономики, а экономическая теория рассматривается как социокультурный конструкт⁵.

Феминизм равенства, во многом обязанный своим происхождением теориям политического либерализма XVIII–XIX вв., изначально основывался на ценностях равенства, свободы, демократии и верховенства права. Философские штудии просветителей, посвященные «природе человека» и роли в нем рационального начала, естественным правам личности, послужили первым толчком к преодолению биологического детерминизма и традиционных представлений о «женской природе» и обусловленном ею месте женщины в обществе. Продолжая логику просветителей, далеко не всегда сочувствующих идее равенства женщин, первые феминистские авторы показали, что неравенство полов связано не с биологическими и психологическими особенностями женщин, а с ограниченным доступом к образованию и к участию в жизни общества.

В своем известном трактате «Защита прав женщины» (1792) Мэри Уолстонкрафт в полемике с Жаном-Жаком Руссо показала, что именно недостаток знаний и возможности для развития умственных навыков, а не особая «женская природа» делают женщину иррациональной и эмоционально неустойчивой. На протяжении XVIII–XIX вв. в фокусе женского движения оказывается борьба за право на образование, право на собственность, право голоса и политического участия. Идея равенства мужчин и женщин, основанная на понятии об универсальной человеческой природе и естественных правах личности, открыла возможности для реформирования общества в сторону большей демократичности. В то же время либеральный феминизм этого периода выражал прежде всего интересы белых женщин среднего класса, как правило, не занятых непосредственно на рынке труда, и поэтому практически не затрагивал сферу экономики⁶.

Вплоть до конца XIX в. «женский вопрос» лежал в стороне от сферы интересов экономической науки: абстракция «экономического человека» неявно предполагала мужчину, деятельность которого протекает вне семьи и связана с рынком, а труд получает стоимостную оценку и соответственно социальный статус. В то же время в центре внимания либерального феминизма XIX в. были прежде всего политические, а не экономические права женщин. И обретающий популярность эгалитарный феминизм, и молодая экономическая наука представляли собой в сущности следствия одного политического проекта – либерализма. Эта родственность дискурсов феминизма и экономического либерализма обнаруживается, например, при анализе взглядов Джона Стюарта Милля.

Милль, английский экономист либеральной ориентации, философ и общественный деятель, посвятил женскому вопросу отдельную работу. Книга «Подчиненность женщины»⁷ (1869) была написана во многом под влиянием его жены Гарриет Тейлор – выдающейся женщины своего времени, образованной, интеллектуально независимой, отстаивающей суфражистские взгляды. Основным условием преодоления угнетенного положения женщин Милль считал предоставление женщинам политических прав, права на образование, на выбор рода

занятий, доступа к занятиям литературой, наукой, искусством. Для обеспечения женщине равного экономического положения, с его точки зрения, достаточно гарантировать ей юридическую самостоятельность в браке и предоставить право распоряжаться своей долей имущества. Поэтому выбор женщиной рода занятий и доступ к мужским сферам деятельности, вопреки распространенным опасениям, полагал Милль, не несут в себе угрозу стабильности общества.

Как убежденный сторонник экономического либерализма Милль полагался на свободу конкуренции, которая будет подталкивать женщин прилагать свои силы там, где они всего нужнее, а следовательно, наиболее пригодны. У него не возникает сомнений, что, предоставленные свободной игре рыночных сил и обладая возможностью выбора, большинство женщин предпочтут семью, обязанности матери и домохозяйки. (Приблизительно так же выглядит «свободный выбор» в условиях рыночной экономики для современной «постсоветской» женщины.) Таким образом, либеральный феминизм Милля тесно связан с разделяемой им либерально-экономической доктриной: равенство прав индивидов (как мужчин, так и женщин) и свободная конкуренция взаимно дополняют друг друга, а эгалитарный феминизм не угрожает ни существующему экономическому порядку, ни основам экономики как науки.

С момента своего зарождения экономическая наука говорила языком либерализма, рассматривая в качестве основы социальных отношений свободный эквивалентный обмен равных индивидов, руководствующихся принципом «своекорыстия». Абстрактные и универсальные понятия рынка, эффективности, экономической свободы определяют основания дискурса, в рамках которого и сегодня осуществляется анализ экономического положения женщин. Поэтому в большинстве случаев экономический статус женщины рассматривается в традиционных для маскулинного дискурса терминах нехватки, ограничения, отсутствия (прежде всего отсутствия доступа к благам и преимуществам рыночной экономики). Это позволяет констатировать и описать ситуацию гендерного неравенства, однако не достаточно для ее адекватного объяснения. Данный тип дискурса предлагает, по сути, только одну стратегию: «адаптацию женщин к условиям рынка».

Эгалитарный феминизм, экспортируемый в Восточную Европу как средство демократизации общества посредством обеспечения гендерного равенства, обнаруживает непосредственную связь с идеологией либерализации экономики и с господствующей парадигмой экономической науки как теории рынков и рационального поведения. Альтернативой этому подходу может стать осмысление проблемы с позиций особого места женщины в экономической жизни, с позиций феминизма различия.

Сегодня в постсоветских обществах активно утверждается «свободная от идеологии» позитивистская модель экономического знания. Ее основные принципы (инструментализм, эмпиризм, объективность) содержат претензию

на социальную, культурную, классовую, гендерную нейтральность. Гендерные исследования в рамках такого типа научного дискурса вынуждены следовать универалистской логике, в рамках которой женщина неизбежно выглядит как «экономически неполноценная» по сравнению с мужчиной. Рыночная парадигма, утвердившаяся в постсоветской экономической науке, видит корень проблемы в недостаточном доступе женщин к ресурсам и возможностям рыночной системы, сама же рыночная реальность рассматривается как нечто «естественное». Альтернативная исследовательская стратегия, не только акцентирующая особенности женского экономического вклада в экономику, но и противящаяся сведению женского субъекта к абстрактному и универсальному «субъекту рынка», сегодня особенно необходима. Не только «положение женщины в экономике», но и сама переходная экономика должна стать предметом анализа с точки зрения особенностей экономической роли женщины.

2. Формирование дискурсивного поля экономической теории: женское как маргинальное

Попытки такого теоретизирования, выходящие за рамки доминирующего экономического дискурса, были предприняты отдельными представителями *феминистской экономической теории*. Это направление, возникшее на Западе (главным образом в США) в течение двух-трех последних десятилетий, сегодня является достаточно влиятельным: создана Международная ассоциация феминистской экономики, проводятся ежегодные конференции, издается специальный журнал. В предметную сферу феминистской экономической теории входит изучение женского экономического вклада, экономика семьи и домашнего хозяйства, экономические аспекты репродуктивного поведения и воспитания детей, положение женщины на рынке труда, женская занятость и безработица, экономические аспекты дискриминации по признаку пола, а также влияние процессов экономической модернизации и структурных реформ на положение женщины.

Однако феминистская экономическая теория – это не просто определенная приоритетная сфера научных исследований, связанная с женской проблематикой. Это еще и *радикальная критика доминирующей парадигмы экономической науки*, попытка проблематизировать ее основные постулаты и дисциплинарные границы. И в этом смысле именно феминизм различия может стать новой концептуальной основой осмысления гендерных процессов в экономике. Именно с этих позиций можно не просто исследовать «экономические отношения» и «положение женщины», но и те дискурсивные механизмы, с помощью которых эти отношения конституируются определенным образом, жестко предписывая женщине маргинальную позицию в социальной иерархии.

Для многих экономистов – исследователей феминистской ориентации – стала очевидной необходимость обращения к исходным посылкам экономической теории с целью обнаружения скрытых гендерных конструкций экономического знания. В работах Даяны Страссманн⁸, Джулии Нельсон⁹, Энн Дженингс¹⁰, Паулы Инглэнд¹¹ и других авторов с позиции «места женщины в экономике» анализируются основополагающие для экономической теории концепции и понятия: экономическая рациональность и принцип максимизации полезности как доминанта человеческого поведения на рынке и в нерыночной сфере, семья как экономический агент с едиными предпочтениями и интересами, приоритет анализа рынков и пренебрежение нерыночными формами экономической деятельности, методологический индивидуализм, исходящий из атомизированного, изолированного субъекта как преимущественного агента рыночных отношений.

Известно, что экономическая теория сформировалась в определенном историческом, социальном и культурном контексте и отразила характерный для западной цивилизации факт обособления и выделения экономических отношений в отдельную сферу человеческой деятельности. Следствием этого стало зарождение и упрочение иллюзорного представления об экономической сфере как особом, лишенном социокультурных характеристик пространстве, в котором доминирует рациональное действие, понимаемое как максимизация функции полезности индивида. По мере того как модель «экономического человека» утверждается в экономической науке, ее основные компоненты (независимость, эгоистичность, рациональность, информированность) начинают восприниматься как составляющие «человеческой природы как таковой», оправдывая рынок как естественную и универсальную форму социальной организации.

С точки зрения феминистской критики, основные постулаты экономической теории – индивидуализм и свобода конкуренции – представляют собой культурную рефлексию веры в саморегулирующую силу рынка, универсализацию исторически определенного типа поведения как «экономического». При этом женщина оказывается заложницей формирующегося дискурсивного механизма, вытесняющего ее в область маргинального, внеэкономического. Хотя «экономический человек» предстает в теории как универсальный субъект рынка, лишенный возрастных, гендерных, этнических признаков, за ним, несомненно, угадывается социокультурный прототип: мужчина-европеец XVIII–XIX вв., представитель среднего класса. Его деятельность рассматривается как производительная, социально признанная, общественно значимая (пусть даже общественное благо реализуется опосредованно – через механизм «невидимой руки») именно потому, что получает стоимостное выражение на рынке. Не случайно формирование основ экономической науки происходило на Западе параллельно с жестким размежеванием публичной и приватной сфер и закреплением женщины за приватной сферой с помощью системы культурных сим-

волов. Домашний труд, деятельность в рамках семьи, т.е. большая часть женского экономического вклада (если понимать под экономикой обеспечение человеческой жизнедеятельности в целом, а не только рыночные формы деятельности), до последнего времени не получали экономического статуса, не подлежали измерению и оценке.

С позиций феминистского анализа очевидно, что экономическая наука возникла как часть модернистского проекта научного знания, направленного на овладение силами природы в целях увеличения человеческого богатства. В работах по феминистской философии науки (Сюзан Бордо, Линда Николсон, Эвелин Фокс Келлер)¹² показано, что формирование науки Нового времени было связано с переходом от традиционалистского сознания (человек окружен стихией космоса, не выделяет себя из мира природы) к модернистскому (человек противопоставит природе, господствуя над ней как над пассивной материей). Метафоры «овладения», «подчинения», «проникновения» становятся характерными для научной риторики этой эпохи. Экономика как одна из отраслей научного знания Нового времени оказалась вовлеченной в модернистский проект «овладения природой», стала идеологией «производства товаров» и «приумножения богатства», исключив другие факторы воспроизводства человеческой жизни.

Тип науки, возникший в Новое время на Западе, основывается на иерархическом дуализме маскулинного и феминного¹³, который проявляется в жестком разграничении и противопоставлении объективного и субъективного, разума и тела, абстрактного и конкретного, факта и ценности, истины и мнения. Этот дуализм иерархичен, поскольку один член оппозиции всегда доминирует над другим, является первостепенным, ведущим, более значимым. Скрытая асимметрия маскулинного и феминного как центрального и маргинального, главного и второстепенного лежит также в основе экономического знания: публичное (рынок, государство) противопоставит частному (семья), мужская деятельность (наука, бизнес) – женской (услуги, уход и воспитание), рационализм, объективность и автономия – эмоциональности, субъективности и зависимости.

Именно поэтому для феминистской экономики как критической теории не случайны интерес к маргинальному, стремление проблематизировать границы дисциплинарного поля экономики. Ведь в оппозиции центрального и маргинального, включаемого в предмет экономики и исключаемого из него, проступают скрытые конструкции экономического знания, вытесняющие женское на периферию экономического анализа. Джулия Нельсон в книге «Феминизм, объективность и экономика»¹⁴ предлагает таблицу, систематизирующую ключевые и маргинальные определения, касающиеся предмета, методов и исходных посылок экономической науки:

Современное определение экономики

<i>Ключевые характеристики</i>	<i>Маргинальные характеристики</i>
<i>Сфера</i>	
публичная (рынок, правительство)	частная (семья)
индивидуальные агенты	общество, институты
эффективность	справедливость
<i>Методы</i>	
научно обоснованные	интуитивные
четкие	неопределенные
объективные	субъективные
научные	ненаучные
обособленные	связанные
математические	вербальные
формальные	неформальные
общие	частные
<i>Ключевые категории</i>	
индивидуальный	социальный
ориентированный	ориентированный
на собственный интерес	на интерес других
автономный	зависимый
рациональный	эмоциональный
действующий по выбору	действующий по «природе»
<i>Гендерные ассоциации</i>	
маскулинное	феминное
мужчина	женщина

Следствием этого дуализма является не только то, что женскому экономическому участию жестко предписано место маргинального. Сама оппозиция центрального и маргинального, отвечающая иерархическим отношениям маскулинного и феминного, скрытым образом задает структуру экономического знания, систему приоритетов и определяет понятие экономического как универсального, закономерного, мужского, а неэкономического – как частичного, случайного, женского.

Выводы об андроцентрической природе экономического знания и маргинализации женского экономического участия принципиально важны сегодня для анализа гендерных противоречий в переходной экономике. По мнению

американского экономиста Роберта Хайлбронера, экономическая наука в современном обществе выполняет важную функцию легитимации рыночного порядка, обеспечивая членам общества моральную уверенность в естественности и справедливости существующего социального устройства¹⁵. В этой связи нельзя не отметить, что постсоветская экономическая наука ориентируется на неоклассическую теорию рынка и рассматривает в качестве «научно обоснованной» главным образом неолиберальную политику реформ, обеспечивая идеологически становление капиталистической экономики. Именно на основе неолиберальной доктрины был разработан проект «перехода к рынку», в основе которого лежит идея освобождения частной инициативы, стимулируемой новыми возможностями потребления.

Этот проект был и остается не только и не столько научной концепцией рыночных реформ, сколько утопией «возвращения к природному порядку вещей», к «естественным законам общества» из «исторического тупика коммунизма». Тем самым идеология «перехода к рынку» оправдывает дезинтеграцию общества и социальные издержки, сопровождающие рыночные реформы. Выдвигая рыночную рациональность и эффективность в качестве основных приоритетов, экономическая теория и скрытая за ней идеология рассматривают ухудшение положения женщин в сфере занятости и снижение их социальной защищенности как неизбежное следствие введения институтов рынка. С точки зрения феминистского подхода, именно идеологическая природа экономической науки служит причиной ее гендерной нечувствительности, а представление о естественности и неизменности существующего разделения труда между полами является составной частью идеологической легитимации рыночного социального порядка. Если же дискриминация и становится иногда предметом экономического анализа, то, как правило, в результате внешнего вторжения в дискурсивное поле экономики.

Таким образом, доминирование маскулинных ценностей в переходной экономике, маргинализация женского участия связаны с тем, что экономическая наука, основанная, как уже было показано, на скрытых андроцентрических посылах и допущениях, становится формой идеологии, средством легитимации нового рыночного порядка. Это обуславливает доминирование в политико-экономическом дискурсе ключевых маскулинных ценностей: рыночной эффективности, индивидуализма, автономного и ориентированного на собственный интерес экономического субъекта. Маскулинный уклон в сторону рыночных ценностей связан с идеологической функцией экономической теории, поэтому любая апелляция к оппозиционным феминным ценностям рассматривается как отказ от «прогрессивного» неолиберального курса. Феминные ценности справедливости, солидарности, ориентации на сообщество оказываются принесенными в жертву утопии «рынка».

3. Проблематизация «экономического подхода»: возможна ли «фемина экономикус»?

Под влиянием эгалитарного феминизма экономический статус женщины в развитых странах Запада значительно изменился к лучшему. Было достигнуто существенное продвижение в сторону гендерного равенства в различных сферах экономической жизни, профессиональная карьера и мир бизнеса стали более доступны для женщин, обеспечены законодательные гарантии предотвращения дискриминации и профессиональной сегрегации по признаку пола. Домашнее хозяйство перестало быть монопольной сферой женской активности, произошло значительное перераспределение ролей и трудовой нагрузки в семье. В то же время определенные изменения претерпела и экономическая наука, обратившись к новым для нее проблемам и объектам исследования. Речь идет, например, об изучении экономических механизмов дискриминации, исследованиях брачного и репродуктивного поведения на основе теории рационального выбора, о «новой теории домашнего хозяйства» и экономических расчетах «цены ребенка». В последние десятилетия возникла, по сути, новая парадигма, получившая название «экономического подхода к человеческому поведению». Свидетельствуют ли эти новые тенденции о преодолении бинарных оппозиций центрального (маскулинного) и маргинального (феминного), изначально присутствующих, как было показано выше, экономической науке?

Обратимся к анализу «экономического подхода к человеческому поведению» – концептуальной основе доминирующей сегодня неоклассической школы. Ее основные постулаты не являются чем-то принципиально новым для экономической науки, однако Гэри Беккер¹⁶ и его последователи придали им универсальный характер и заложили основы «экономического империализма» – т.е. экспансии методов экономического анализа в другие дисциплины и новые предметные сферы.

Первый постулат – принцип максимизирующего поведения – является, пожалуй, основополагающим для экономической науки. Он предполагает, что индивид всегда ведет себя экономически рационально – стремится к достижению наилучшего результата при минимальных издержках, т.е. к максимизации своей функции полезности. Таким образом, экономическая рациональность – не просто способность субъекта адекватно оценивать ситуацию, формулировать цели и действовать в соответствии с ними, адаптируя имеющиеся средства применительно к поставленным задачам. По словам Герберта Саймона, «в экономической теории рациональный человек – это максимизатор, соглашающийся лишь на лучший вариант»¹⁷. Хотя сторонники экономического подхода уверяют, что максимизирующее поведение не имеет отношения к мотивам (они могут быть и альтруистическими, и эгоистическими), все же очевидно, что данный постулат ведет свое происхождение от принципа «своекорыстия», сформулированного в

свое время основоположником политической экономии Адамом Смитом. Смит, однако, полагал, что принцип своекорыстия действует только в экономической сфере, доказывая возможность альтруизма в отношениях человека с ближними¹⁸. В противоположность Смигу, Гэри Беккер и его последователи распространили принцип максимизирующего поведения на все сферы человеческой деятельности, включая семью и частную жизнь, тем самым придав экономически рациональному поведению статус универсального.

Второй постулат связан с характерным для экономической теории представлением о рынке как универсальном регулирующем механизме, обеспечивающем координацию и взаимодействие членов общества. Современные неоклассики придали этой идее всеобъемлющий характер: оказалось, что рынки могут быть как явными, так и неявными (например, брачный рынок). Во втором случае они регулируются теневыми ценами и теневыми издержками. Человек однотипно реагирует на изменение как рыночных, так и теневых цен. Этот постулат служит дополнением первого: существование теневых цен и теневых издержек объясняет, почему в некоторых случаях человек отказывается от очевидной выгоды и действует будто бы в ущерб собственным интересам. В такой расширенной трактовке даже самоубийство и преступление могут быть представлены как экономически рациональные действия.

Наконец, третий постулат гласит, что предпочтения не изменяются сколько-нибудь значительно с течением времени и не слишком отличаются у людей различного материального положения, национальности или культуры. Доказательству этого наиболее дискуссионного положения посвящена статья Г. Беккера и Дж. Стиглера «О вкусах не спорят»¹⁹. В ней авторы показывают, что предпочтения людей изменяются по отношению к рыночным товарам, но остаются неизменными по отношению к базовым потребительским благам (здоровье, комфорт, уважение и т.д.). Кроме того, существующая разница в предпочтениях обусловлена не разными вкусами, а различным уровнем накопления специфического потребительского капитала (специальные навыки и способности потребления определенных благ). Например, вкус к классической музыке – способность получать от нее удовольствие – вырабатывается в ходе многократного прослушивания. Тезис о неизменности предпочтений означает, что не эмоции, ценности и личные вкусы, а именно и только лишь цены (рыночные и теневые) являются единственным регулятором человеческого поведения.

«Экономический подход к человеческому поведению» – это больше, чем просто очередная экономическая концепция. Он служит концептуальным обоснованием притязаний экономистов на «господство» в сфере социальных наук, на статус «всеобщей грамматики наук об обществе». Он означает в действительности, что одна и та же поведенческая модель (модель экономически рационального индивида) применима к рыночной и вне рыночной сферам, к мужчинам и женщинам, к различным обществам и культурам. Столь привлекательная

для Беккера бентамовская модель человека, в любой ситуации «исчисляющего наслаждения и страдания», находит, по его мнению, подтверждение в современной социобиологии и эволюционной теории. Максимизирующее поведение и стабильность предпочтений являются не просто исходными предпосылками, но могут быть выведены из концепции естественного отбора пригодных способов поведения в ходе эволюции человека²⁰. Какие же новые перспективы для гендерных исследований открывает это «эпистемологическое всемогущество» современной экономической теории?

В определенном смысле описанные сдвиги в экономической теории создают возможности для ее «феминизации». Тракуемая предельно широко как «изучение распределения ограниченных средств для удовлетворения конкурирующих целей», она предоставляет возможности для включения новых предметных полей. Распространение «экономического подхода» на различные сферы вне рыночной активности (в том числе на семью, брачное поведение, деторождение) в принципе содействует реабилитации женщины в качестве полноправного экономического субъекта. Поведение женщины-домохозяйки (как, впрочем, поведение политика, ребенка, безработного и т.д.) предстает экономически рациональным в такой же мере, как поведение предпринимателя, осуществляющего инвестиции. Более того, предложенная неоклассиками «новая теория потребления» позволяет придать полноправный экономический статус домашнему труду в рамках семьи. По мнению Беккера, объектами потребления являются не приобретаемые на рынке товары, а «потребительские блага», производимые членами семьи на основе приобретенных на рынке товаров и внутренних ресурсов членов семьи (навыков, знаний, времени). Функция максимизации полезности осуществляется именно по отношению к этим потребительским благам, а, следовательно, издержки, связанные с затратами времени и усилий на домашнюю работу, приобретают экономическое значение.

Сопровождающий экономическую науку с момента возникновения извечный дуализм альтруизма и эгоизма неоклассическая экономическая теория преодолевает путем придания альтруистическому поведению статуса «экономического», поскольку альтруизм также является рациональным. Альтруистическое поведение не опровергает универсального принципа максимизации функции полезности индивида, поскольку альтруизм понимается как положительная зависимость между функциями полезности разных людей (например, мать, стремясь к благополучию собственного ребенка, умножает таким образом собственное благополучие). Итак, на рынке преобладает эгоистическое поведение, а в семье – альтруистическое только потому, что в обоих случаях этим достигается наибольшая эффективность. В определенной степени «экономический подход к человеческому поведению» является ответом на критику со стороны феминистской экономической теории, обвиняющей традиционную экономическую науку в недооценке женского экономического опыта, связанного с альтруизмом,

заботой, с деятельностью, направленной не на материальный или стоимостный результат, а на создание связей и отношений.

Однако позволяет ли «экономический подход к человеческому поведению» преодолеть гендерную нечувствительность экономической теории, сделать женский опыт и экономический вклад «видимыми»? Возможно ли таким образом изменить маргинальное положение женщины в экономике?

Ряд феминистских авторов (Нэнси Фолбр, Паула Инглэнд, Диана Страсман), задаваясь этими вопросами, дают на них отрицательные ответы. По мнению Инглэнд, в основе базовых допущений неоклассической теории лежит представление о человеке как об изолированном, независимом, ориентированном на собственный интерес субъекте, лишенном эмоциональных связей с другими людьми и вступающем с ними только в «рыночные» отношения²¹. Инглэнд последовательно доказывает это на основе анализа нескольких избранных ею положений неоклассической теории: 1) полезность – это удовлетворение субъективных желаний индивида, поэтому сравнение полезности для разных индивидов невозможно; 2) вкусы (предпочтения) людей экзогенны и неизменны; 3) действия субъектов рынка определяются их собственным интересом (эгоизмом). Все три положения предполагают такую модель «экономического человека», для которого определяющим является независимость и личный интерес, на которого не оказывают влияния общение и взаимодействие с другими людьми (его вкусы и пристрастия не меняются). Этот «экономический человек» лишен эмоциональных связей с другими членами общества и поэтому руководствуется в своих действиях лишь собственной пользой, по определению «не умея» сопоставить ее с пользой этих действий для других. Такая модель «экономического человека», с позиций особого женского опыта и места в экономике, представляется Инглэнд неоправданной универсализацией экономического поведения и социального опыта мужчин. Можно ли принимать всерьез абстракцию автономного «экономического человека», спрашивает автор, если именно благодаря альтруистическому труду женщин мужчина достигает зрелости и продолжает пользоваться плодами этой альтруистической деятельности, даже становясь взрослым?

Марианна Фербер и Джулия Нельсон замечают по этому поводу, что современная западная культура ассоциирует маскулинность с идеей «отдельности», «обособленности», а феминность – с идеей «связи» и «отношений»²². В маскулинной модели общества люди рассматриваются как независимые индивиды, отделенные от природы и друг от друга, в феминной модели – как связанные с человеческим и экологическим окружением. Например, американские и европейские мужчины традиционно идентифицировали себя со своей профессией или рабочим местом, а женщины – с ролью жены и матери. Именно первая, маскулинная, модель стала основой экономической науки. Аналогичное преувеличение независимости и обособленности личности характерно и для других

наук, например для психологии развития. Кэрол Гиллиган отмечала, что все ведущие психологи рассматривают индивидуализацию как синоним взросления, а взаимосвязь с другими – как регрессивный признак²³.

Именно претензия на универсальность предлагаемой модели экономического поведения, казалось бы, обеспечивающая возможность включения женской проблематики в экономический дискурс, вызывает сомнения с точки зрения женского социального опыта. Критика авторов, разделяющих позиции феминизма различия, направлена против абсолютизации принципа максимизирующего поведения, допускающего женщину в сферу экономического только на том основании, что ее поведение «тоже» экономически рационально. Ведь при этом исходной моделью экономически рационального поведения остается поведение человека (мужчины) на рынке. Таким образом, по мнению феминистских критиков, в неоклассической теории речь идет не о проблематизации специфики женской ситуации, а о вписывании в универсализирующий шаблон экономической рациональности.

В то же время данный тип феминистской критики, актуализирующей женское различие, оставляет открытыми некоторые вопросы.

1. Не способствует ли акцентирование специфики женского экономического опыта консервации женской маргинальности?

2. Как инкорпорировать этот особый женский экономический опыт в экономическую теорию? Другими словами, возможна ли «фемина экономикс» и возможна ли экономическая теория, основанная на иных, альтернативных допущениях?

Представляется, что если не рассматривать отношения феминизма равенства и феминизма различия в качестве непримиримой оппозиции, то проблематизация специфики женского участия в экономике ни в коей мере не противоречит целям достижения гендерного равенства. Более того, эти цели не могут быть окончательно достигнуты с позиций эгалитарного феминизма, поскольку внутри господствующего маскулинного дискурса требование равенства остается абстрактным понятием. Борьба за паритетное участие женщин в тех сферах деятельности и профессиях, которые традиционно рассматриваются как мужские, будет безрезультатной, если игнорировать истоки существующего неравенства – представление о женском как второстепенном и маргинальном в культуре, политике и экономике. Поэтому феминистская экономическая теория, исходящая из особенностей женского экономического участия, поведения и ценностей, должна быть направлена на то, чтобы поставить под сомнение существующую ценностную иерархию, тот порядок экономического дискурса, который обесценивает домашний труд и другие формы нерыночной деятельности, рассматривая в качестве приоритета экономический рост и рыночный обмен.

Моноцентрическая логика «экономического подхода» может быть подвергнута критике не только с точки зрения женского опыта, но и с точки зрения

других типов обществ, в которых рынок не является универсальным регулирующим механизмом. Так, Хайлбронер, рассматривая претензию современной экономической науки на универсальность, сравнивает общество с рыночной экономикой с первобытным и командным обществами. И в том, и в другом случае экономика представляет собой «скрытую социализацию или субординацию». Однако в рыночном обществе механизмы социализации и подчинения приказам выполняют подчиненную роль, под воздействием рыночных стимулов и санкций возникает принципиально новая структура социальной деятельности, в которой логика рационального выбора приобретает конструктивную значимость²⁴. Понятно, почему в условиях рынка «неоклассический анализ отсекает любые аспекты социального взаимодействия, которые не могут быть представлены в терминах гедонистического расчета, получая в остатке высокочистую фракцию «максимизации полезности», которая объявляется фундаментальной и неразложимой субстанцией человеческой мотивации»²⁵.

Что получится, если применить рассуждения Хайлбронера к обществам с переходной экономикой? Применима ли в данном случае экономическая теория, основанная на универсальных посылах максимизирующего поведения? И возможна ли в принципе такая экономическая теория, которая была бы не приложением универсальной логики «экономического подхода» к особенностям переходной экономики, а их концептуализацией? Ряд особенностей переходной экономики, например частичное возвращение семье производственных функций в условиях экономического кризиса, особая роль натуральных трансакций и сетей взаимной поддержки, роль женщин в повседневной «экономике выживания»²⁶, позволяют предположить, что феминистский или гендерно-чувствительный подход был бы более адекватным этой реальности.

Экономист феминистской ориентации Джойс Джакобсен называет несколько реально существующих альтернатив рациональному поведению²⁷:

1. Иррациональное поведение: не имеет подражательного образца или модели, является, в принципе, случайным и беспорядочно отвечает на внешние влияния.

2. Поведение, подчиняющееся приказам: является ответом на требования других людей, не ведет к максимизации интереса самого субъекта, но может быть результатом личного интереса других.

3. Традиционное поведение: использует чье-либо прошлое поведение или социетальные обычаи как модели для текущего поведения безотносительно к меняющимся обстоятельствам.

4. Рутинизированное поведение: субъект действует на основе стандартных операционных процедур и правил, но не подвергает их рефлексии.

Следуя логике «экономического подхода», можно подвести под определение рационального поведения практически любой из этих четырех типов, рассматривая, например, следование рутинным нормам или обычаям как более

«дешевый» путь, сокращающий издержки на сбор информации. Однако правомерна ли интерпретация любого поведения как экономически рационального в условиях квазирыночной реальности переходной экономики? Оправдана ли в этих условиях абстракция максимизирующего поведения, игнорирующая социальные нормы (или их отсутствие), наследие советской социализации, принципы уравнительной и распределительной этики? Ведь в западном капиталистическом обществе принцип максимизирующего поведения восторжествовал в теории как отражение зафиксированных Максом Вебером изменений в социальном этосе, благодаря которым права «личного интереса» получили морально-религиозную легитимацию.

Можно ли отбросить как несущественный тот факт, что экономическая жизнь переходного общества буквально пропитана насилием и что добровольный контракт равных партнеров представляется скорее исключением из правил? Можно ли игнорировать повседневную рутину прямого принуждения, осуществляемого как легальными, так и нелегальными структурами, систематические нарушения государством устанавливаемых им же «правил игры» и практикуемый на этой основе шантаж по отношению к частному бизнесу? Наконец, возможно ли отмахнуться от результатов свободной игры частных интересов в условиях переходной экономики, от разрушительных для общества последствий максимизирующего поведения, оборачивающегося банальным «своекорытием» в отсутствие институциональных предпосылок рынка и контроля государства?

Как показано выше, феминистский подход, связанный со спецификой женского опыта, не востребованной традиционной экономической теорией, позволяет обнаружить культурные и социальные конструкции экономического знания и его унифицирующей логики рынка. Опыт постсоветских обществ, переживающих переход к рынку и демократии, показывает, что здесь возникает аналогичный «зазор» между теорией и реальным опытом повседневной жизни, вынуждающий критически переосмыслить концептуальные основания экономической науки.

Вместо заключения: феминистская утопия «человекоцентрической» экономики

Несмотря на все возрастающее количество работ по гендерной экономике, поиск теоретических стратегий инкорпорирования женщины в экономическую теорию еще только начинается. И в этом отношении наибольший интерес вызывают попытки трансформировать логику доминирующего маскулинного дискурса экономической теории, преодолеть традиционную оппозицию экономического и неэкономического (социального) как главного и второстепенного, доминирующего и подчиненного.

К числу таких новых тенденций можно отнести признание множественности экономических явлений, плюральности экономической жизни, в которой максимизирующее поведение и рациональный экономический выбор существуют наряду с внеэкономическим принуждением, даром, расточительством. Сюда же относятся попытки отразить в экономической теории видимое возрастание роли некоммерческих субъектов рынка, без которых невозможно сегодня обеспечение воспроизводства человеческой жизни. Такой тенденцией является и стремление рассматривать ценности кооперации, сотрудничества и солидарности вне бинарной логики противопоставления независимости и индивидуализму, в их самостоятельном экономическом значении.

Стремлением к преодолению доминирующей экономической логики диктуется выработка нового экологического (и экономического) мышления. Если традиционная экономическая логика исходит из имеющихся ресурсов и отражает стремление к максимизации выпуска продукции ради удовлетворения человеческих нужд (или, точнее, желаний, выраженных через денежный спрос), то новая постэкономическая логика исходит из императива оптимизации производства на основе разумных потребностей ради сохранения и восстановления среды обитания человека как первоочередной цели. Отказ от приоритетов «ковбойской экономики»²⁸ совпадает с феминистским стремлением заново определить экономику как теорию взаимодействия человека с окружающим миром, как преодоление установки на овладение и потребительское использование природы.

Опыт последних десятилетий поставил под сомнение концепции «развития» и «экономического роста», не учитывающие влияние на ресурсы, окружающую среду и человеческое благосостояние в широком смысле. Проблема экономического развития не может и дальше решаться исключительно с технократических, сциентистских позиций, минуя вопрос о его принципах, ценностях и целях.

Характерное для капитализма обособление экономической сферы от общества, от процессов социального воспроизводства, выделение ее в самостоятельную систему со своими собственными целями и динамикой, находящее отражение в особом экономическом дискурсе, в силу присущих ему законов маргинализирующем женщину, похоже, подходит сегодня к концу. С точки зрения феминистской критики, экономика не сводится к теории рынков. Ее предметом должна стать сложная взаимосвязь человека с окружающим миром, все разнообразие экономических отношений, как рыночных, так и внерыночных, возникающих в процессе обеспечения жизнедеятельности. «Свободный обмен – важная часть экономики, но есть еще дар и принуждение. Организованные, деперсонализованные рынки – фокус экономической активности, но есть еще домашние хозяйства, правительства, неформальные организации и объединения людей»²⁹.

Парадокс постсоветских обществ состоит в том, что они вынуждены реконструировать рыночную экономику, основанную на иерархическом дуализме экономического и социального (маскулинного и феминного), как раз тогда, когда в развитых странах начинают обнаруживаться тенденции становления «постэкономического» общества. Очевидная, казалось бы, победа идеологии неоллиберализма «во всемирном масштабе» не исключает того, что основополагающее разделение публичного и частного, рыночной экономики и сферы домохозяйств, непосредственного воспроизводства человеческой жизни переживает сегодня существенные трансформации.

Возможно, поиски новых подходов в феминистской экономической теории, нарушающие установленную дисциплинарную логику, покажутся кому-то утопичными. Однако не является ли утопия «человекоцентрической экономики» необходимым противовесом утопии другого рода – утопии «перехода к рынку», которая легитимирует становление социальных институтов рыночного общества как универсальных, естественных и справедливых, маскируя при этом их патриархальный характер?

1999

Примечания

- ¹ Первая программная статья вышла в 1989 г.: Захарова, Н. Как мы решаем женский вопрос / Н. Захарова, А. Посадская, Н. Римашевская // Коммунист. 1989. № 4. С. 56–65.
- ² См., например: Beijing Declaration and Platform for Action. Fourth World Conference for Women. Beijing, September, 1995. www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingdeclaration.html
- ³ Жеребкина, И. Женское политическое бессознательное. Проблема гендера и женское движение в Украине / И. Жеребкина. Харьков, 1997. С. 27–31.
- ⁴ Irigaray, L. *This Sex which is not One* / L. Irigaray. Ithaca NY, 1994.
- ⁵ Необходимо отметить также особое место неомарксистского феминизма, который неправомерно сводит ни к одному из указанных направлений. В 1970–1980 гг. представительницы этого направления (Кристин Дельфи, Хайди Хартманн и др.) внесли существенный вклад в понимание механизмов гендерного неравенства. Неомарксистский феминизм сосредоточил свое внимание на двух основных сферах: на рынке труда и домашнем хозяйстве. В соответствии с неомарксистским подходом отношения патриархата пронизывают все институты капиталистической экономики, а капиталистическая эксплуатация дополняется эксплуатацией женского неоплаченного труда. Заслуга неомарксистского экономического анализа состоит в том, что он акцентировал конфликт интересов, принуждение и эксплуатацию, скрытые логикой экономической рациональности. Однако он практически не обращался к критике оснований экономической теории, к анализу ее дискурсивного механизма и идеологической роли.

- ⁶ Экономическая проблематика появилась в феминистском дискурсе позднее: этот сдвиг был обусловлен связанным с промышленной революцией массовым выходом женщин на рынок труда. Экономический статус женщины стал объектом научного анализа в марксистских исследованиях, но это был принципиально иной тип дискурса: речь шла не о равенстве экономических прав, а том, что вовлечение женщин в общественное производство подготавливает их освобождение от капиталистической и патриархатной зависимости.
- ⁷ Милль, Дж. С. Подчиненность женщины / Дж. С. Милль; под ред. М.Вовчка. СПб., 1870.
- ⁸ Strassmann, D. Not a Free Market: the Rhetoric of Disciplinary Authority in Economics / D. Strassmann // *Beyond Economic Man: Feminist Theory and Economics* / ed. by M.A. Ferber and J.A.Nelson. Chicago, 1993.
- ⁹ Nelson, J. The Study of Choice or the Study of Provisioning? Gender and Definition of Economics / J. Nelson // *Beyond Economic Man*.
- ¹⁰ Jennings, A. Public or Private: Institutional Economics and Feminism // *Beyond Economic Man*.
- ¹¹ England, P. The Separative Self: Androcentric Bias in Neoclassical Assumptions / P. England // *Beyond Economic Man*.
- ¹² Bordo, S. The Flight to Objectivity: Essays on Cartesianism and Culture / S. Bordo. Albany, 1987; *Nicolson, L. Gender & History* / L. Nicolson. NY, 1986; Keller, E. Reflections on Gender and Science / E. Keller. Yale University Press, 1985.
- ¹³ Harding, S. The Science Question in Feminism / S. Harding. Ithaca, 1986.
- ¹⁴ Nelson, J. Feminism, Objectivity and Economics / J. Nelson. London; New York, 1996. P. 22.
- ¹⁵ Хайлбронер, Р. Экономическая теория как универсальная наука / Р. Хайлбронер // *THESIS*. 1993. Вып. 1. С. 53.
- ¹⁶ Гэри Беккер – экономист, лауреат Нобелевской премии 1992 г. “за распространение микроэкономического анализа на целый ряд аспектов человеческого поведения и взаимодействия, включая нерыночное поведение”. Основные работы: *The Economics of Discrimination* (1971), *The Economic Approach to Human Behavior* (1976), *A Treatise on the Family* (1981), *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis* (1993), *The Economics of Life* (1996). На русском: *Экономический анализ и человеческое поведение* // *THESIS*. 1993. Т. I. Вып. 1.
- ¹⁷ Саймон, Г. Рациональность как процесс и продукт мышления / Г. Саймон // *THESIS*. 1993. Т. I. Вып. 1. С. 17.
- ¹⁸ Смит, А. Теория нравственных чувств, или Опыт исследования о законах, управляющих суждениями / А. Смит. СПб., 1895.
- ¹⁹ Стиглер, Дж. О вкусах не спорят / Дж. Стиглер, Г. Беккер // США: ЭПИ. 1994. № 1–2.
- ²⁰ Беккер, Г. Экономический анализ и человеческое поведение.
- ²¹ England, P. The Separative Self: Androcentric Bias in Neoclassical Assumptions.
- ²² Ferber, M. Introduction / M. Ferber, J. Nelson // *Beyond Economic Man*.

- ²³ Gilligan, C. *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development* / C. Gilligan. Cambridge, Mass., 1982.
- ²⁴ Хайлбронер, Р. Экономическая теория как универсальная наука / Р. Хайлбронер // THESIS. 1993. Вып.1. С.48.
- ²⁵ Там же. С. 49.
- ²⁶ Подробнее об этом в главе «Постсоветская семья в условиях рынка».
- ²⁷ Jacobsen, J. *The Economics of Gender* / J. Jacobsen. London, 1994. P. 14.
- ²⁸ Boulding, K.E. *The Economics of the Coming Spaceship Earth* / K.E. Boulding // *Environmental Quality in a Growing Economy* / H. Jarrett (ed.). Baltimore, MD, 1966. P. 3–14.
- ²⁹ Nelson, J. *The Study of Choice or the Study of Provisioning? Gender and the Definition of Economics* / J. Nelson // *Beyond Economic Man*. P. 33

ВПИСЫВАЯ(СЬ) В ДИСКУРС «НАЦИОНАЛЬНОГО»: УКРАИНСКИЙ ФЕМИНИЗМ ИЛИ ФЕМИНИЗМ В УКРАИНЕ?

Феминизм и гендерные исследования уже перестали быть в Украине чем-то экзотическим: в университетах читаются курсы по гендерной проблематике, проводятся конференции и защищаются диссертации, публикуются статьи и книги. Возникло несколько независимых центров гендерных (женских) исследований, некоторые из них существуют уже более десятилетия. Среди них наибольшую известность получили Киевский, Харьковский, Львовский и Одесский. Их деятельность и интеллектуальная продукция и послужили основным материалом для моего анализа. В этой статье я не собираюсь присоединяться к дискуссии о том, что можно считать феминизмом на постсоветском пространстве, оправдано ли использование англоязычного термина «гендер» в украинском (русском) языке и чем отличаются постсоветские гендерные исследования от западных. Я исхожу из того очевидного факта, что феминистский дискурс, а точнее, множество дискурсов существуют в современной Украине, как существуют и разнообразные академические проекты гендерных или «женских» исследований. В мою задачу не входит оценивать или классифицировать их с точки зрения «феминистского канона» – если таковой вообще существует. Гораздо более интересными представляются мне другие вопросы – как эти разнообразные дискурсы и интеллектуальные проекты соотносятся с доминирующим дискурсом национализма, как позиционируют себя по отношению к зада-

чам национального возрождения, к ситуации незавершенности формирования нации и «размытости» национальной идентичности, как они видят свою роль в этих процессах. Стремясь уйти от традиционной постановки вопроса – как национализм манипулирует женскими интересами и искажает феминистское сознание в Восточной Европе, – я хочу посмотреть на эту взаимосвязь с другой стороны: как феминистские дискурсы участвуют в «изобретении» украинской нации, в переопределении ее границ, в формировании коллективной памяти и национальной идентичности.

Пожалуй, уникальная даже для Восточной Европы специфика украинской ситуации состоит в двойной неопределенности. Неясно не только, что представляет собой феминизм в постсоветской Украине, – еще менее ясны его «национальные границы». Сколько национализма требует феминизм, сколько может переварить? Кто репрезентирует украинский феминизм, всякий ли феминизм в Украине является «украинским»? Может ли украинский феминизм быть русскоязычным? Какое место занимают в современном постсоветском феминизме представительницы украинской диаспоры на Западе? Эти вопросы пока не стали предметом открытой феминистской дискуссии, да и общее дискурсивное пространство для нее пока отсутствует. Причина состоит в исторически сложившихся региональных различиях и фактическом двуязычии, сохраняющемся в украинском обществе расколе в отношении исторической памяти и культурной идентичности. Однако показательный случай Украины – несовпадение национальных границ и границ национального дискурса феминизма – может помочь увидеть сконструированность, множественность и подвижность этих границ и в тех случаях, когда их стабильность и тождественность кажутся само собой разумеющимися.

Различные направления феминизма и феминистских исследований в Украине (критически дистанцируясь от национализма или будучи сознательно ангажированы в проект национального возрождения) так или иначе вынуждены самоопределяться по отношению к проблемам национального строительства и национальной идентичности, по отношению к идеологии национализма. Сознательные стратегии такого самоопределения, равно как и имплицитная, часто непроговоренная зависимость украинского феминизма от националистического дискурса, и будут исследованы в этой статье. Здесь рассмотрены центры гендерных исследований, успевшие создать свою «школу», то есть специфическое направление, заметное на интеллектуальном фоне Украины, и прежде всего те из них, идеи и концепции которых релевантны для обсуждения поставленной выше проблемы о связи феминистского и национального дискурсов в Украине. Но прежде чем перейти к обсуждению конкретных феминистских проектов, я хотела бы сформулировать некоторые принципиальные соображения, касающиеся данной темы.

I.

**1. «Национальный феминизм»:
защитный альянс двух идеологий**

«Феминизм мертв – перефразируя Ницше, отважусь я сказать на пороге третьего тысячелетия. И это наполняет мою душу печалью. То же самое можно констатировать и относительно национализма. У нас нет здоровой правой идеи, и у нас нет здоровой феминистской идеи». С этой пессимистической констатации «конца истории» применительно к Украине начала София Онуфрив свое предисловие к № 17 журнала «Ї» за 2000 г., посвященного феминистской проблематике¹. Этот пассаж передаст характерный настрой части украинского общества в эпоху Кучмы, реакцию женщины-интеллектуала на «постсоветское состояние», которое заключается в отсутствии пассионарности в украинском политикуме, в способности власти присваивать, обезвреживать и использовать в своих интересах альтернативные идеологии и радикальные дискурсы. Однако для нас он интересен как характерный пример, демонстрирующий тесную связь феминистского дискурса с национализмом в украинском контексте.

Если сегодня, по ностальгическому замечанию Софии Онуфрив, «золотой век» как национализма, так и феминизма лежит в прошлом, то их история, особенно в Восточной Европе, тесно связана. На протяжении XIX–XX вв. процессы эмансипации женщин шли рука об руку с процессами национальной эмансипации, распада империй и формирования национальных государств. Американский историк Марта Богачевская-Хомяк, на протяжении последних лет работающая в Украине, на примере западноукраинского женского движения показала, что национализм и феминизм были по сути двумя сторонами процесса социальной и политической модернизации². Женщины принимали активное участие в работе по пробуждению национального самосознания, созданию массовых организаций, формированию политических движений и партий. Борьба за национальное освобождение и участие в национальном строительстве стали для них школой публичной и политической деятельности, а работа в женских организациях дала опыт, необходимый для «большой политики». Во многих странах Восточной Европы женское движение возникло как побочный эффект национальной мобилизации и в то же время стало самостоятельным фактором национального строительства.

Национализм, несомненно, обладает патриархатным потенциалом и стремится предписать женщинам определенные социальные роли, в то же время подавая себя как универсальную идеологию, отвечающую в том числе интересам женщин. По словам Богачевской-Хомяк, национализм оказывается привлекательным для них по двум причинам: во-первых, поскольку он обещает заботу о семье и детях и, во-вторых, потому что он превозносит женскую самоотверженность – как матерей и как национальных героинь³. В то же время, по ее мнению,

сводить национализм к патриархату было бы ошибкой: демократический национализм способствует эмансипации женщин, обещая им равные с мужчинами права и открывая возможность участия в публичной деятельности. На определенном историческом этапе интересы нации и интересы женщин во многом совпадают. Поэтому украинские феминистки первой половины XX в. видели свою задачу в том, чтобы использовать демократический потенциал национализма в интересах женщин, а женскую энергию и способности задействовать в деле строительства нации.

В своем историческом исследовании украинского феминизма, опубликованном еще в конце 1980-х гг., Богачевская-Хомяк во многом предвосхитила дискуссии последующего десятилетия: об амбивалентности феминизма в Восточной Европе, его заимствованном/автохтонном характере, его исторической связи с националистической идеологией и правыми политическими движениями. В отличие от стран Западной Европы, где процессы создания национальных государств были в основном завершены раньше (и без массового участия женщин) и где феминистские движения поэтому заняли позицию во многом критическую по отношению к собственным национальным государствам, в Восточной Европе задачи освобождения женщин и достижения равенства полов оказались подчинены первостепенным целям борьбы за национальное освобождение. Оправдывая «особый путь» украинского женского движения и ссылаясь на аналогичный опыт стран третьего мира, Богачевская-Хомяк предложила определение, учитывающее специфику положения женщин безгосударственных наций на окраине Европы: «прагматический феминизм». Поскольку задача создания украинской нации все еще не завершена, опыт «прагматического феминизма» остается релевантным и в новых исторических и геополитических условиях – в независимой Украине после распада Советского Союза.

В этой статье я хочу показать, что нарратив, исходящий из общих исторических корней национализма и феминизма и акцентирующий прогрессивную, демократическую основу двух идеологий, является сегодня доминирующим в украинских гендерных исследованиях. Что стоит за этим нарративом «национального феминизма»? Очевидно, что феминизм – отнюдь не самая популярная в современной Украине идея. Что же касается украинского национализма, то на протяжении 1990-х гг. и, по крайней мере, до 2004 г. он оставался, по определению британского украиниста Эндрю Вильсона⁴, «верой меньшинства» и был представлен маргинальными партиями. Используя элементы националистической идеологии в своих интересах, «партия власти» позиционировала националистов как опасных радикалов, при случае используя исторические ассоциации с фашизмом. Подобным же образом власть использовала в своих интересах риторику гендерного равенства, в то время как феминизм оставался в глазах большинства чуждым продуктом Запада. Поэтому «национальный феминизм» исходит из того, что обе идеологии, находясь скорее в маргинальной позиции,

нуждаются друг в друге, хотя и в разном качестве. Дискурс «национального феминизма» стремится реабилитировать национализм, ссылаясь на его изначальный демократический потенциал и отвергая авторитаризм и патриархат как его неизбежные проявления. Феминизм, который никогда не ставил своей целью достижение политической власти и не несет политической ответственности за безумия XX в., может служить национализму надежным союзником, обеспечивая его демократическую легитимность. В то же время лояльность по отношению к «национальной идее» оправдывает присутствие феминизма в постсоветской Украине, ведь одной из его задач является цивилизаторская функция по отношению к национализму. Как настаивает, например, Нила Зборовська, только феминизм способен придать ему «человеческое», т.е. женское, лицо⁵.

Национализм и феминизм оказываются союзниками еще и потому, что оба предстают сегодня в качестве жертв коммунистической идеологии и тоталитарной системы. Сталинский тоталитаризм положил конец проекту украинской нации, который из сегодняшней исторической точки представляется единственной существовавшей тогда демократической альтернативой коммунизму. Коммунистический режим репрессировал носителей этого проекта, украинскую интеллигенцию и, используя голод как средство террора, подорвал его массовую базу – экономически независимое украинское крестьянство. Этот же антидемократический режим объявил женский вопрос решенным и блокировал любую независимую женскую инициативу, используя в то же время женскую рабочую силу и репродуктивные способности в своих интересах. Таким образом, феминизм и национализм видятся естественными союзниками, ведь общая задача состоит в преодолении последствий коммунистического режима и колониального статуса Украины. При этом социализм, его эмансипационная роль, его исторические связи с женским движением и с национализмом с середины XIX в. вплоть до 1930-х гг. – это сюжеты, как правило, маргинальные для «национального феминизма». Государственный социализм ассоциируется с репрессивной политикой советского режима (империи), которая с позиций сегодняшнего дня оценивается как направленная одновременно и против интересов женщин, и против украинской нации.

Следует отметить, что дискурс «национального феминизма» – это не синтез двух идеологий, он возникает в результате сознательного размежевания как с националистическим мейнстримом, неизбежно выталкивающим женщину в сферу приватного, так и с западной феминистской традицией, тяготеющей к космополитизму. Как известно, национализм неизбежно порождает матерналистский дискурс, вменяя женщинам функцию биологического и символического воспроизводства нации в качестве основной социальной роли⁶. Поэтому феминизм обычно позиционирует себя в качестве последовательного критика матернализма и неотрадиционализма. Украинский «национальный феминизм» не приемлет патриархатной идеологии и дискриминационных практик нацио-

нализма, связывая возрождение нации с женской эмансипацией, а не с возвращением к традиционным гендерным ролям. В то же время «национальный феминизм» сам оказывается во многом вовлеченным в материалистский дискурс. Мифы о Березине – хранительнице домашнего очага и об изначально матриархатном характере украинской культуры одновременно подвергаются научной критике и в то же время используются для исторической легитимации феминистской традиции в Украине, ее укорененности в национальной культуре⁷. «Национальный феминизм» сталкивается также с проблемой определения своей позиции по отношению к украинскому женскому движению, которое является сегодня основным носителем материалистского дискурса⁸.

В то же время аффирмативная позиция по отношению к национализму, акцентирование ее эмансипаторской и прогрессивной роли противостоит традиции западного феминизма, вплоть до «постколониального поворота» в 1980-х гг. скорее игнорирующего национальный вопрос⁹. Занимая последовательную антимилитаристскую, антишовинистическую позицию и даже отрицая значение национальности для женщины¹⁰, представительницы феминизма «старых наций» часто рассматривали одержимую национализмом Восточную Европу в терминах «отсталости» и «опасности». Западный феминизм интернализировал характерную для социальных наук дихотомию «хорошего» (западного) и «плохого» (восточноевропейского) национализмов¹¹. Воссоединение Европы после 1989 г. обострило дискуссии между «западным» и «восточным» феминизмом, одним из основных пунктов которой стало «право» восточноевропейских женщин на аутентичный, национальный феминизм. К тому же война в бывшей Югославии, обернувшаяся массовыми преступлениями националистических режимов против женщин, способствовала новой ориентализации Восточной Европы и дискредитации национализма в глазах Запада.

Поэтому «национальный феминизм» в Украине, отстаивающий легитимность (демократического) национализма, конфронтирует в этом вопросе с западным феминизмом. С точки зрения национального феминизма независимость нации открывает для женщин новые сферы публичной деятельности – хотя доступ к ним не дается без борьбы. Национализм дает украинским женщинам возможность обретения собственного голоса. Поэтому «национальный феминизм» вынужден позиционировать себя двояко: заявляя о европейском происхождении украинской культуры и политической ментальности, об общих корнях с западным феминизмом, он в то же время обращается к опыту постколониальных стран для оправдания своей пронациональной позиции.

Наконец, последнее замечание, касающееся связи феминизма и национализма, связано с персональными профессиональными и, шире, жизненными стратегиями представительниц украинского феминизма. В Украине, как и на всем постсоветском пространстве, формирование феминистских идентичностей, начавшись в конце 1980-х гг., происходило параллельно с процессами формиро-

вания национального самосознания, в первую очередь среди интеллектуальной и политической элиты. Структурно и институционально академический и НГО-феминизм сформировался как часть новой национальной элиты, как одна их своеобразных групп национальных интеллектуалов¹². Зачастую исходным материалом была старая советская (или «имперская») элита: как заметила американская социолог Александра Грицак, многие из «феминисток-основоположниц» были русскоговорящими женщинами с высшим образованием, некоторые вышли из комсомольской среды¹³. Однако не язык имеет в данном случае решающее значение. Гораздо более важной основой самоидентификации стал после 1991 г. новый социальный статус интеллектуала, непосредственно занятого в культурном производстве нации. Работа в «национальном» университете или академическом институте предполагает необходимость публиковаться и читать лекции на украинском языке, репрезентировать украинскую науку и украинские женские организации за рубежом. Новую «национальную» феминистскую идентичность подкрепляет и зависимость как от государственных источников финансирования, так и от западных фондов и академических программ, поощряющих, как правило, использование украинского языка и ориентацию на украинскую проблематику. Важным фактором стало также обращение к наследию «золотого века» украинского национализма и феминизма, когда функция интеллектуала виделась в том, чтобы просвещать и воспитывать массы в национальном духе, т.е. вписывание себя в заново открываемую «традицию». В этом контексте совмещение национальной и феминистской идентичности стало естественным выбором для большинства женщин, вовлеченных в новый проект развития и институциализации гендерных исследований.

2. История женщин как национальная история

Как и другие сферы академического знания, начиная с конца 1960-х гг. западная историческая наука подверглась интенсивному воздействию феминизма. По мнению феминистских критиков, традиционная историография как история войн, революций, дипломатических конфликтов оставляла мало места для женщины. «Женская история», возникшая как самостоятельное направление и как новая парадигма в исторических исследованиях, ставила своей задачей «вернуть женщин в историю», сделать их «видимыми». Женское участие в социальных движениях, в политике и структурах власти, изменения социального статуса женщины, трансформации приватной сферы, зарождение и развитие феминизма и женских движений стали первыми темами «женской истории» в США, а затем и в Европе. Однако в целом феминизм оказался только одним из факторов более общего процесса смены перспективы в историографии – поворота к социальной истории. «Гендерная история», история повседневности, материнства и детства, форм семьи и брака, сексуальности, интерес к маргинальным

социальным группам изменили лицо истории как академической дисциплины¹⁴. В то же время парадигма «национальной истории» утратила свое монопольное положение, уступив место региональной, «местной» истории, «транснациональной» истории, *histoire croisée*, истории империй и т.д. В объединенной Европе эти изменения были ускорены что называется «сверху», в результате процессов интеграции и попыток конструирования наднациональной европейской идентичности.

Распад СССР и освобождение социальных наук от диктата официального марксизма создали предпосылки методологического и концептуального плюрализма и в постсоветских странах. «Женская» и гендерная история, хотя и остается маргинальным направлением, постепенно завоевала себе право на существование¹⁵. Как заметил немецкий историк Вильфрид Йильге, процесс написания новой национальной истории в Восточной Европе рассматривается сегодня в моральных категориях: на место «ложной» советской истории возвращается подлинная, украденная, замалчиваемая память нации¹⁶. Проект «женской» или «гендерной» истории также соответствует пафосу возвращения «альтернативной памяти» из небытия: в новой национальной истории тем самым находится место и для репрессированной женской памяти. В то же время в отличие от Запада «женская история» в постсоветских условиях не означает перехода к постнациональной парадигме, она позиционирует себя, как правило, в качестве составной части нарратива «национальной истории», всего лишь дополнения к нему.

Не только в Украине, но и в большинстве постсоветских стран историческая наука оказалась заложницей нового националистического нарратива. Сегодня «национальная история» в этом регионе является доминирующей парадигмой в науке и образовании. Это неудивительно, ведь история, как никакая другая общественная наука, оказалась востребована в процессе строительства нации, для легитимации права на государственную независимость и в целях консолидации новой коллективной идентичности.

Украина, существующая как независимое государство с 1991 г., сталкивается с необходимостью конструирования национального нарратива, который бы обеспечил историческую преемственность разорванных во времени проектов украинской государственности (Киевская Русь, Гетьманат, УНР и ЗНУР, постсоветская Украина), переоценку советского (имперского) прошлого и примирение исключающих друг друга региональных версий исторической памяти («Восток» и «Запад»). В отличие от «старых» наций, исторические нарративы которых также представляют собой культурные и политические конструкты, в «новой» украинской истории разрывы, натяжки и проблемные точки особенно заметны. Таким образом, женской и гендерной истории приходится бороться за существование в условиях, когда «право» Украины на собственную национальную историю все еще является предметом дискуссий¹⁷, но в то же время

ограниченность парадигмы «национальной истории» становится все более очевидной.

С 1991 г. было опубликовано несколько серьезных исследований в области женской истории, большинство из которых посвящены развитию феминистских идей и женских движений в Украине. Кроме уже названной книги Марты Богачевской-Хомяк, это работа Людмилы Смоляр, исследующая становление женского движения Надднипрянской Украины¹⁸, а также изданный под ее редакцией сборник¹⁹, объемная работа Оксаны Маланчук-Рыбак о женском движении на западноукраинских землях в XIX – начале XX в.²⁰. Эти и другие публикации предлагают оценку социального и экономического статуса женщины в разные исторические периоды, различные схемы периодизации женского движения и обобщения закономерностей его развития, попытки классификации женских организаций. Кроме того, речь идет о новой интерпретации хорошо известных фигур, например, украинской поэтессы Леси Украинки, а также об открытии новых или забытых – как, например, Милена Рудницкая²¹. Обращение к истории женского движения отражает интерес к собственным корням, поиск исторической идентичности украинского феминизма. Поэтому результатом исследований в области женской истории является реконструкция национальной традиции украинского феминизма и женского движения.

Если в США и Западной Европе академический феминизм возник под влиянием женского движения 1960-х гг., то в постсоветских странах он стал скорее продуктом более общих социальных и политических преобразований, демократизации общества и открытости Западу. Поэтому отправной точкой реконструкции феминистской традиции в Украине неизбежно оказывается 1991 г. – год провозглашения украинской независимости. Начало нового этапа («возрождения») женского движения и феминизма в Украине совпадает, таким образом, с возрождением украинской государственности. Из этой же точки – 1991 г. – реконструируется традиция украинского феминизма – «возникновение и развитие» женских организаций в конце XIX – начале XX в., которая обрывается с наступлением эры сталинизма в советской Украине и с началом Второй мировой войны – в западноукраинских землях. Зарождение женского движения совпадает с зарождением национального самосознания на территории Украины, а его огосударствление – с репрессиями против национального возрождения 1920-х гг.

Встраивание «женской истории» в доминирующий национальный нарратив обогащает и усиливает его, но отнюдь не ставит под сомнение националистический принцип написания истории. Впрочем, и сами авторы видят свою задачу именно таким образом: «История женского движения в Украине второй половины XIX – начала XX ст., его опыт и традиции являются важной частью исторического опыта нации»²², – пишет Людмила Смоляр в предисловии к своей книге. «Изобретение традиции», включая собственную оригинальную традицию

феминизма, обеспечивает дополнительную легитимность проекту украинской нации как современной, европейской и демократической. В то же время результатом «конгруэнтности» национального и женского исторического нарративов является то, что «женской истории» приходится иметь дело с теми же дилеммами, разрывами и проблемными точками, с которыми сталкивается национальная история.

Во-первых, речь идет о необходимости «сшивания» пространственных и темпоральных разрывов в общенациональном историческом нарративе. Территория Украины в ее нынешних границах формировалась на протяжении XX в.: в 1939 г. в результате пакта Молотова – Риббентропа к Советской Украине были присоединены Восточная Галиция и Волынь, в 1944 г. чехословацкое правительство под давлением Сталина уступило ему Прикарпатскую область, ставшую «Закарпатьем», и, наконец, в 1954 г. Никита Хрущев передал Крым в состав Украины. Очевидно, что различные регионы являются «украинскими» в разной степени. Территория нынешней Украины находилась в течение веков под властью нескольких империй: Российской, Австро-Венгерской, Османской; ее фрагменты были в разное время в составе Советского Союза, Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии. А особая роль диаспоры в новейшей украинской истории делает общую картину еще более сложной. Женские организации и движения возникали и развивались поэтому в крайне отличающихся политических и социальных условиях, испытывали влияние различных политических культур, традиций, административных и правовых систем. Не удивительно, что первые работы по истории женского движения представляют собой региональные нарративы. Это объяснимо и с практической точки зрения, принимая во внимание территориальное расположение архивов, традиционную специализацию историков на «родном регионе» и т.д. В то же время конструирование единого общукраинского нарратива «женской истории» ограничивается пока скорее механическим соединением фрагментов в одно целое. Одной из редких попыток обсуждения этой проблемы с точки зрения методологии является статья Марты Кичоровской Кебало²³, которая предлагает рассматривать историю украинского женского движения как многоэтапный, идеологически многогранный, а главное – транснациональный феномен.

Во-вторых, попытки создания общенационального нарратива «женский истории» неизбежно сопровождаются иерархизацией региональных вариантов женского движения, как правило, с точки зрения зрелости национального сознания и завершенности национальной идентичности. В этой связи характерные выводы делает Оксана Маланчук-Рыбак, анализируя монографию Богачевской-Хомяк:

«Наилучший пример такого сочетания (феминистских и национальных стремлений. – Т.Ж.) видим в общественной деятельности женщин Западной

Украины. В сравнении с другими украинскими землями историческое развитие на этом пространстве наиболее благоприятствовало приближению женского движения к европейским стандартам и типологическим характеристикам. В противоположность этому, история эмансипационной борьбы женщин в Надднипрянщине в составе Российской империи не всегда четко соответствовала сочетанию национальной идеи и феминизма. Здесь мировоззрение украинских женщин формировалось, как правило, под влиянием русскоязычной феминистской литературы (в лучшем случае национально индифферентной, в худшем – имперско-шовинистической), они принимали участие в российских общеимперских женских организациях»²⁴.

Если «либеральный феминизм в Галиции и Буковине формировался по типично европейскому, собственно центрально-европейскому образцу»²⁵, то в подросийской Украине, следуя логике автора, эти процессы были искажены имперским влиянием.

Этот нарратив соответствует тенденции к переоценке роли различных регионов в современной украинской историографии. Роль Западной Украины в борьбе за национальное освобождение и в процессах национального строительства оценивается как определяющая («украинский Пьемонт»), ее политическая культура и идентичность – как европейская. Соответственно восточные регионы и особенно Донбасс, бывшие флагманами советской модернизации, рассматриваются сегодня скорее в качестве тормоза для национального строительства вследствие значительной русификации и несформировавшейся национальной идентичности. Символическая иерархия «двух Украин»²⁶ постоянно воспроизводится в украинском политическом дискурсе и стала поэтому важным фактором украинской политики, особенно проявившимся во время «оранжевой революции». Новый постсоветский дискурс «женской истории», следуя логике «национального нарратива», также воспроизводит символическую иерархию Востока и Запада Украины.

В-третьих, как было замечено критиками этой парадигмы, «национальный нарратив» ведет к этнизации истории (т.е. к концентрации на одной этнической группе при маргинализации остальных)²⁷. Эта опасность подстергает и «женскую историю», воспроизводящую логику национального нарратива. Так, история женского движения на западноукраинских землях оказывается историей прежде всего и главным образом «украинского женского движения», хотя вплоть до Второй мировой войны эта территория оставалась мультинациональным регионом, где действовали как украинские, так и польские, еврейские, русинские женские организации. Взаимодействия и конфликты между ними если и попадают в фокус анализа, то лишь в качестве фона, на котором развивалось украинское женское движение. В то же время «национальный нарратив» подчеркивает сотрудничество между украинскими женскими организациями в обеих

империях, их естественную приверженность идеям ирредентизма и соборности украинской нации. Так возникает конструкция «украинских женщин» как коллективного субъекта, обладающего постоянной, заранее определенной национальной и гендерной идентичностью, которая реализует себя в ходе истории.

В-четвертых, «женская история», как и новая украинская историография в целом, сталкивается с проблемой советского прошлого, его адекватной оценки и инкорпорации в национальный нарратив. На первый взгляд, «женские исследования» пока еще остаются в стороне от острых дискуссий об исторической памяти, особенно обострившихся после «оранжевой революции»: об антиукраинском характере сталинских репрессий, о Голодоморе как геноциде, о значении Второй мировой войны в украинской истории и роли УПА. Попытки дистанцироваться от коммунизма и советского режима как чуждого и навязанного нации извне посредством «оккупации» – характерная для Центральной и Восточной Европы тенденция. В логике «национального нарратива» как подлинной, «моральной» истории в фокусе оказываются в первую очередь репрессии и жертвы режима, а советский период предстает как пробел в национальной истории, как время, потерянное для нации и даже отбросившее ее назад (например, демографические потери в 1930-е гг.).

Следуя логике «национального нарратива», украинский феминизм также позиционирует себя в качестве жертвы коммунизма. Незрелость женского самосознания, низкая популярность феминизма в Украине нередко рассматриваются как «обратный эффект» советской гендерной политики. Так, Оксана Кись пишет о «прерванной на долгое время традиции женских исследований в Украине, отравленных коммунистической идеологией и дискредитированных социалистической практикой основополагающих идей феминизма»²⁸. Солюмия Павлычко также пишет об «пропущенном столетии»²⁹, после которого украинским феминисткам вновь приходится обращаться к аргументам вековой давности. Поэтому характерно, что «женские исследования» в Украине развиваются не столько в результате потребности заново осмыслить достижения и провалы советского проекта женской эмансипации, сколько как возрождение «традиции», насильственно прерванной в начале XX в. Оценка противоречивой советской политики равенства полов – часть болезненного вопроса об отношении к советскому прошлому, и «женская история» пока еще не приступала к этой проблеме.

3. Украинский феминизм в поисках идентичности: между Россией и Европой

В результате дезинтеграции СССР независимое государство Украина оказалось в центре новой амбивалентной геополитической зоны – «пограничья» между Европейским союзом и Россией. Необходимость (и невозможность)

окончательного геополитического выбора, тяготеющая над украинской политической элитой – «с Россией или в Европу», – стимулировала дебаты о степени принадлежности украинской культуры к европейской традиции, о ее месте между Востоком и Западом. Доминирующий «национальный нарратив», опирающийся на историческую схему Михайла Грушевского, подчеркивает изначальные различия украинской и российской политических традиций (традиции выборной власти, элементы демократии и конституционализма в Гетманщине в противоположность московскому самодержавию), открытость украинской культуры западным влияниям и вестернизаторскую роль украинской интеллектуальной элиты в России конца XVII – начала XVIII в. Переяславский договор, заключенный между Россией и Украиной в 1654 г., рассматривавшийся в советской историографии как важный шаг к «воссоединению» двух братских народов, оценивается теперь как результат неудачного стечения обстоятельств и ошибочных политических решений, приведший Гетманщину под власть Москвы. Советский период истории Украины также описывается прежде всего в терминах ее насильственной изоляции от Запада и навязывания чуждой культурной и политической идентичности. Как и в других странах этого региона, дискурс «возвращения в Европу» стал доминирующим в дебатах об основных направлениях и содержании посткоммунистических реформ. Он приобрел особенно идеологизированные формы с приближением президентских выборов в 2004 г. Конец президентства Леонида Кучмы совпал, с одной стороны, с расширением Евросоюза на Восток, а с другой – с ростом антидемократических, авторитарных тенденций в России. В этих условиях выбор дальнейшего политического курса был сформулирован оппозицией как выбор между демократической «Европой» и авторитарной «Азией».

Дискуссии вокруг культурной и исторической идентичности украинского феминизма во многом воспроизводят основные линии вышеописанного дискурса. Так, в «женской истории» украинская женщина представлена обычно как более свободная³⁰ и обладающая в семье и обществе более высоким статусом, чем русская женщина, прежде всего в силу особенностей украинской культуры и истории. В качестве аргумента приводятся этнографические данные и свидетельства путешественников о высоком статусе украинской женщины в обществе и в семье, о праве на развод, относительной имущественной независимости и т.д. Одним из основоположников этого дискурса, крайне типичного для украинского нововедения, был историк Мыкола (Николай) Костомаров³¹.

Миф о традиционном матриархатном характере украинской культуры также служит целям дистанцирования украинской идентичности от российской. Так, украинская американская исследовательница Марьяна Рубчак, критикуя идеологическую инструментализацию мифа о матриархате в постсоветской Украине, приводит исторические и этнографические свидетельства его существования в прошлом. Этот аргумент она использует в полемике с российским историком

Натальей Пушкаревой, которая, по мнению Рубчак, не видит различий в культурной эволюции России и Украины и рассматривает их всего лишь как региональные особенности одной национальной общности. Украинская традиция матриархата – относительная свобода, высокий социальный статус женщин, уважение к их традиционным ролям – были утрачены, согласно интерпретации Рубчак, в результате политического доминирования России и ее культурного влияния³².

Эта логика характерна для дискурса «национального феминизма», в рамках которого отношения патриархата в украинском обществе рассматриваются как результат имперской колониационной политики, а утрата женщинами своих властных позиций тождественна упадку украинской культуры. И наоборот, национальное возрождение, преодоление колониального статуса украинской культуры способствуют возрастанию роли женщины в обществе. Статус женщины в национальной культуре, степень ее свободы становятся маркером, обозначающим не только границу между украинской и российской культурами, но и между двумя цивилизациями – «Европой» и «Азией», то есть между демократией и авторитаризмом.

Если имперская (авторитарная) Россия и соответственно российская патриархатная культура являются одним из полюсов конструирования идентичности «украинской женщины» и «украинского феминизма», вторым полюсом является Запад и западный феминизм. Хотя украинский феминизм позиционирует себя как часть общеевропейского движения, он рассматривает национальную культуру и «историческую традицию» как ресурс для достижения гендерного равенства. Ведь если украинские женщины, в отличие от женщин Западной Европы, обладали относительной свободой и высоким социальным статусом, то очевидно, что задачи эмансипации и равенства полов, сформулированные западными феминистками, оказались для них слишком «узкими». Поэтому украинский феминизм не копирует западный, а в чем-то даже опережает его: так, Милена Рудницка говорит о западноевропейском феминизме равноправия как пройденном этапе, предлагая новое видение феминизма гражданских обязанностей и практического действия³³.

Обсуждение вопроса об идентификации украинского феминизма по отношению к «Западу», как и вопроса об отношении к национализму, было бы неполным без рассмотрения особой роли украинской диаспоры. Первая волна украинской эмиграции, преимущественно экономическая, пришлось на конец XIX – начало XX в. Начиная с 1945 г. украинская диаспора (прежде всего в США и Канаде) пополнилась десятками тысяч новых эмигрантов, преимущественно из Западной Украины. Большинство из них было сознательными националистами, многие боролись за независимость Украины с оружием в руках, имели все основания опасаться советских репрессий. Сильная национальная идентичность, а также традиции самоорганизации, экономической и социальной взаимопомощи были перенесены на новую почву и помогли украинской диаспоре

избежать культурной ассимиляции. Украинские женщины-активистки, как правило, видели свою задачу в том, чтобы поддерживать культурные и религиозные традиции, передать детям свою культуру и язык³⁴. Женские организации стремились также сохранить традиции украинского женского движения. С провозглашением Украиной независимости диаспора стала достаточно важным фактором национального строительства – если не политическим, то идеологическим и культурным. Влияние диаспоры испытало в определенной мере и возрождающееся в Украине женское движение, особенно на начальной стадии. В начале 1990-х гг. происходил своего рода реэкспорт назад в Украину традиций организованного женского движения (прежде всего имеются в виду организации Союз украинок и Товарищество Олены Телиги). Влияние женских организаций диаспоры было достаточно амбивалентным: с одной стороны, они стали своего рода мостом, соединяющим «прерванную традицию» с потребностями настоящего и предлагая альтернативную советской культуру женского активизма. С другой стороны, они способствовали укоренению в женском движении идеологии матернализма и национализма, рассматривая в качестве первоочередной для женских организаций задачу национального строительства.

В то же время представительницы украинской диаспоры сыграли важную роль в развитии в Украине феминизма и женских исследований. Упомянувшиеся выше Марьяна Рубчак и Марта Богачевская-Хомяк были одними из первых, кто использовал язык феминизма для артикуляции проблем женщин в постсоветской Украине. Сосредоточившись на обсуждении проблемы национализма и мифа о матриархате, они по сути задали направление феминистских дебатов в Украине. Кроме того, они сыграли важную роль и как организаторы женских исследований, иницируя и редактируя публикации, организовывая конференции, содействуя научным стажировкам украинских исследовательниц за рубежом, непосредственно участвуя в интеллектуальных дебатах. Феминистские исследовательницы из украинской диаспоры оказались, особенно вначале, посредниками между «Востоком» и «Западом», важным каналом коммуникации для зарождающихся в Украине женских исследований, компенсировали недостаток международных контактов. Но, будучи представителями «Запада», они в то же время были и остаются частью общеукраинского феминистского дискурса. Феминизм украинской диаспоры, будучи «пограничным случаем», отнюдь не является маргинальным в украинских феминистских дискуссиях, что подтверждает его *de facto* транснациональный характер.

II.

1. Киев: феминизм как модернистский проект в украинской культуре

Киевский центр гендерных исследований был создан в 1998 г. группой исследовательниц Института литературоведения Академии наук Украины: Соломией Павлычко³⁵, Верой Агеевой, Нилой Зборовской. Близкую к ним позицию занимает Татьяна Гундорова, а также известная писательница Оксана Забужко. Наверное, не случайно одна из первых и наиболее плодотворных феминистских инициатив возникла именно в этой среде. Представители узкой прослойки украиноязычной интеллектуальной элиты, сосредоточенные в Институте литературоведения и других подобных ему академических организациях, были в позднюю советскую эпоху первыми «профессиональными» носителями национальной идентичности и безоговорочно поддержали зарождающееся национально-демократическое движение. В то же время, будучи экспертами в области украинской культуры, исключенной из повседневной жизни в сферу «экзотического» и видя свою задачу в ее «сохранении», многие представители этой среды занимали достаточно консервативные позиции в сфере культуры. Поэтому феминистский проект в литературоведении возник, с одной стороны, в результате активной ангажированности женщин в национально-демократическое движение, а с другой – как протест против его консервативных культурных, в том числе гендерных, ориентаций³⁶. Уже в 1991 г. Соломия Павлычко опубликовала программную статью «Нужна ли украинскому литературоведению феминистская школа?»³⁷. В этой статье необходимость полноценной «нормальной» европейской культуры рассматривается в качестве основного побудительного мотива для развития феминистского литературного критицизма в Украине, а тексты украинских писательниц-модернисток конца XIX – начала XX в. впервые интерпретированы как феминистские. С самого начала феминизм киевских литературоведов заявил себя в качестве инструмента анализа патриархата в литературе и проекта преодоления постколониальной ситуации. Главная исследовательская стратегия – поиск феминистских корней украинского модернизма и его новая «женская» интерпретация – сочетается с утверждением европейской идентичности украинской культуры и необходимости преодоления сохраняющегося провинциализма и постколониального статуса.

В 1997 г. Соломия Павлычко опубликовала книгу «Дискурс модернизма в украинской литературе», в которой предприняла попытку решительной деконструкции сложившегося культурного канона. В противоположность традиционной народнической и «революционно-демократической» интерпретации украинской культуры, некритически заимствованной из советской эпохи, Павлычко сосредоточилась на менее известных и недооцениваемых модернистских тенденциях. По ее мнению, модернизм, открывший для украинской культуры но-

вые перспективы в начале XX в., предполагал ориентацию на Европу, индивидуализм, интеллектуализм, отказ от культурных табу, но прежде всего – феминизм. В конце XIX в. модернизм возник как альтернатива и оппонент народничеству, для которого литература была средством просвещения масс в целях их социальной и национальной эмансипации. Конфликт модернизма с народничеством представлен в работе Павлычко как попытка вырваться из замкнутого круга колониальной культуры, ограниченной горизонтом национальной идеи, преодолеть комплексы периферийной и безгосударственной нации. Политическое и культурное народничество, рассматриваемое в качестве безусловно «прогрессивного» течения как советскими, так и национальными критиками, предстает в интерпретации Павлычко как идеология патриархата. Она подразумевает существование идеального коллектива («громада») и высокую нравственность «народной души», идеализацию крестьянского образа жизни, крестьянской патриархальной семьи и, конечно же, крестьянской женщины – представительницы народа. Литература в народнической традиции также предстает как пространство патриархата: большая семья в главе с «отцом» – Тарасом Шевченко – и его последователями – «сыновьями». Вызов установленной традиции рассматривается здесь как предательство народа, измена идее национального освобождения. В своей книге Соломия Павлычко показала, что Леся Украинка (псевдоним Ларисы Косач (1871–1913)) и Ольга Кобылянская (1863–1942) были первыми представителями модернизма в украинской литературе и что их радикальный модернизм был тесно связан с культурной ориентацией на Европу и с феминистскими идеями. Феминизм не был для украинских писательниц заимствованием западной моды или политической идеологией, он стал скорее способом артикуляции собственной позиции и ответом на наиболее болезненные вопросы современности. Феминизм открывал для украинской культуры европейскую перспективу, обещал освобождение от консерватизма, доминирования этнографического и дидактического подхода. Павлычко представила конфликт модернизма с народничеством в украинской культуре как гендерный конфликт, вызов женщин-литераторов господствующей патриархатной традиции.

Как показала Павлычко, новеллы Ольги Кобылянской, отражающие жизнь образованной женщины среднего класса, открыли новую страницу в украинской литературе. Эти «новые женщины», поглощенные собственными переживаниями и опытом, игнорирующие культурные табу, бросали вызов традиционному романтическому женскому идеалу. Мотив женской силы – мужской слабости возникает в повестях Кобылянской и в драмах Леси Украинки, причем мужская слабость ассоциируется с провинциальным консерватизмом и патриархатом, а женская сила – с европейской ориентацией и открытостью культурной модернизации, другими словами, поработавшая дух «Земля» или «Природа» представлена как мужское начало, а эмансипирующая «Культура» – как женское.

Темы, поднятые Соломией Павлычко, были развиты ее коллегами. Так, Тамара Гундорова предприняла детальное психоаналитическое исследование творчества и интеллектуальной концепции Ольги Кобылянской на фоне европейских культурных и философских течений того времени (Ницше, Фрейд, социал-дарвинизм и пр.)³⁸. В творчестве Кобылянской «сопротивление, с одной стороны, романтическому отождествлению женщины с “Природой”, а с другой – протест против дарвинистского истолкования ее как биологической, репродуктивной силы рода»³⁹ порождают аполлонический миф «новой женщины» как культуротворческой силы. Ее «гендерная утопия», по определению Гундоровой, – это «феминная модель высокой современной культуры», в которой она реализовывает себя как культурная героиня.

Вера Агеева посвятила специальное исследование творчеству Леси Украинки⁴⁰, которое она, так же как Соломия Павлычко, рассматривает в контексте модернистских тенденций fin de siècle. В своей работе она опирается на постмодернистскую методологию, в частности феминистский анализ текста. Предметом исследования Агеевой являются главным образом драматические произведения Леси Украинки, не вошедшие в школьный канон и посвященные радикальной реинтерпретации классических тем мировой литературы. В ее интерпретации Леся Украинка является одной из немногих, кто защищал индивидуалистические и «аристократические» ценности в провинциальной украинской культуре, и практически единственной, кто делает это с позиции женщины. Индивидуализм и «элитизм» поэтессы Агеева рассматривает как свидетельство начавшей переориентации украинской интеллигенции от народнической программы просветительства к формированию европейской по духу элиты. Вдохновленный философией Ницше, но отвечающий потребностям украинского культурного ренессанса, этот элитизм оказывается феминистским по своей сути. Литературные героини Леси Украинки бросают вызов массе, традициям и «здравому смыслу» ради того, что выше непосредственных интересов «народа». Они защищают творческий дух и свободу против примитивного прагматизма, правду против формальной законности и узкого рационализма, женскую любовь, невозможную без индивидуального выбора, – против христианской «любви к ближнему». Антиавторитарная критика христианства, перекликающаяся с ницшеанской философией, обретает у Леси Украинки феминистское звучание, а украинский модернизм говорит языком европейской культуры.

В своей следующей книге⁴¹ Агеева обращается к феномену женского письма в украинской культуре. Один из разделов посвящен, например, отношениям «мать – сын» в украинской культуре. Доминирование в украинской литературе образов сильной деспотической матери и инфантильного сына, лишённого маскулинных качеств, она объясняет комплексом колониальной нации: «Мужчина, представитель колонизованного народа, живет с двойным бременем вечной сыновней вины и долга... Нереализованный сыновний долг вытесняет все дру-

гие жизненные роли. Сын не может разорвать материнскую пуповину, не может преодолеть детскую инфантильность и предстать в роли авторитетного мужчины, мужа⁴². В то же время мать в патриархатной культуре принимает на себя функции власти и контроля по отношению к детям: мотив амбивалентности чувств по отношению к матери характерен для украинского модернизма. Эти тенденции радикализируются в литературе XX в.: тема матереубийства в новеллах Мыколы Хвильевого может быть прочитана как принесение нации в жертву коммунистической идее. Десакрализация образа матери в современной украинской литературе символизирует гибель «подлинной», досоветской Украины, трагедию утраченной национальной идентичности, бессмысленность жертв гражданской войны и Голодомора.

Таким образом, Соломия Павлычко, Вера Агеева, Оксана Забужко не только реинтерпретируют историю украинской литературы, но и анализируют сегодняшнюю культурную ситуацию, в которой, по их мнению, по-прежнему воспроизводятся старые колониальные комплексы: неонародничество и утилитарное отношение к литературе как к «сознанию нации», ограниченность горизонтом нереализованной национальной идеи, мизогиния, обусловленная инфантильностью колониальной нации. Оживленные дискуссии на эту тему были во многом инициированы публикацией шумевшего романа Оксаны Забужко «Полевые исследования украинского секса». Свое видение «гендерного конфликта» в современной украинской культуре Забужко сформулировала в программном эссе «Женщина-автор в колониальной культуре»⁴³. Геокультурная ситуация Украины как провинции второй степени, периферии другой провинции России – является крайне неблагоприятной для женщины как агента культуры. Нереализованная национальная идея оказывается для нее ловушкой: ведь, сосредоточившись на «женских темах», она тем самым избегает наиболее актуальных для нации проблем, однако, принимая на себя мужскую роль борца за национальную культуру, тут же оказывается под прессом жесткой системы маскулинных ценностей. Как показывает пример Леси Украинки, колониальная культура готова услышать голос женщины-автора, только если она способна доказать свои мужские качества. Украинская женщина-автор оказывается маргинализованной не только как представитель этой колониальной культуры, но и внутри нее – в силу иерархии гендерных ролей. Воспринимаясь коллегами-мужчинами в качестве «экзотического», «несерьезного», несущего угрозу или дискомфорт, женщина является колониальным субъектом вдвойне.

Позицию киевской феминистской школы образно сформулировала Нила Зборовская, противопоставив национализму как идеологии, эксплуатируемой и потребляемой структурами власти, утопию «женского национализма» как приватного, интимного чувства, не поддающегося присвоению и манипуляции. Парадоксальным образом именно феминизм способен породить альтернативу маскулинному дискурсу традиционного национализма, архаического, мертвого

и неадекватного современной реальности. «Женский национализм» – не отчужденная идеология, а глубокое личное чувство, непосредственное переживание, альтруистическая любовь (именно такие феминные мотивы видит она в творчестве Тараса Шевченко). Национализм и феминизм в таком прочтении разделяют общее качество – маргинальность, они противостоят как имперскому/космополитическому мышлению, так и господствующему патриархатному дискурсу власти.

2. Одесса: вернуть женщину в национальную историю

Одесский научный центр женских исследований получил известность главным образом благодаря работам Людмилы Смоляр, ставшей основоположницей «женской истории» в Украине. Опубликованная в 1998 г. монография Смоляр «Прошлое ради будущего. Женское движение Надднипрянской Украины (вторая половина XIX – начало XX в.)» представляет собой фундаментальное исследование истории женского движения на той части территории Украины, которая находилась в составе Российской империи. Таким образом, оно дополняет работу Богачевской-Хомяк, посвященную в основном западноукраинскому женскому движению. Основанная на обширных архивных материалах, детально освещающая процессы в разных регионах (Киев, Одесса, Харьков и др.), монография Смоляр включает, помимо собственно истории женского движения, также анализ правового статуса женщин разных социальных сословий на украинских землях, обзор демографической ситуации, рассмотрение образовательного уровня женщин и их экономического положения в различных сферах занятости.

Безусловно, парадигма «национальной истории» служит автору своего рода канвой конструирования истории украинского женского движения. Возникновение «женского вопроса» структурно и хронологически связано с первой стадией украинского национально-освободительного движения, с бурным развитием этнографических, филологических и исторических исследований, интересом к прошлому Украины и национальной самобытности ее народа. Открытие женской проблематики во второй половине XIX в. оказалось частью «открытия» интеллигенцией национальной традиции, то есть особенностей отношения к женщине в украинской культуре, ее роли в семье и обществе и т.д.⁴⁴

Формулируя особенности женского движения Надднипрянской Украины, Смоляр связывает первые две характеристики с правовой и политической ситуацией Российской империи: речь идет, во-первых, об абсолютизме царской власти, отсутствии политических прав не только у женщин, но и у мужчин и, во-вторых, об относительной экономической независимости женщины, обусловленной особенностями имущественного права в России, которое в отличие от кодекса Наполеона позволяло замужним женщинам владеть и распоряжаться собственностью. Две другие особенности являются исключительно националь-

ными. Во-первых, речь идет о традиции гендерного равенства в украинском обществе, отличающей украинских женщин не только от западноевропейских, но и от российских. Вторая особенность характерна, согласно Смоляр, для всех безгосударственных наций: возникновение женского движения на волне национального возрождения, поисков решения «национального вопроса». В целом все четыре особенности обусловили универсальный, а не партикулярный, узкогрупповой характер феминизма, который «в Надднипрянской Украине развивался в своей гуманистической версии и никогда не впадал в крайность типа объявления “войны полов”»⁴⁵. Феминизм, таким образом, стал частью национально-освободительной борьбы (в другой работе она присоединяется к определению украинского феминизма как прагматического, данному ранее Богачевской-Хомяк)⁴⁶.

Определение украинского женского движения (и соответственно определение нации), используемое Смоляр, является максимально широким. Национал-демократическое направление женского движения в Надднипрянской Украине рассматривается в ряду других, не менее репрезентативных течений – либерально-демократического и социал-демократического (хотя структура книги указывает на эволюцию, связанную с пробуждением национального сознания). Этот нарратив, подчеркивающий существование различных направлений в женском и феминистском движении, ориентированных не только на проект национального возрождения и разрыв с империей, но и на различные проекты общеимперской модернизации и демократизации (в том числе революционными методами) выходит за рамки парадигмы «национальной истории». Более того, этот нарратив открывает простор для обсуждения методологических вопросов, важных для «женской истории»: если «украинское женское движение» шире его национально-демократической составляющей, как можно определить границы «украинского» в XIX в., когда Украина была частью Российской империи? Здесь становится очевидно, что феминистский дискурс, даже не отдавая себе в этом отчета, склоняется к тому или иному определению украинской нации, участвует в конституировании ее границ.

С одной стороны, Смоляр вроде бы отдает предпочтение территориальному определению нации, сосредоточившись на женском движении в украинских губерниях Российской империи. Однако этот подход в контексте размежевания с имперской историей имеет свои пределы: женщины дворянского сословия не обладали в XIX в. «национальной идентичностью» в современном смысле, не идентифицировали себя с этническим окружением, в лучшем случае они разделяли региональный патриотизм членов своей семьи. Как мы узнаем из книги Смоляр, «украинские» семейные корни имели математик Софья Ковалевская и революционерка Софья Перова, которых привычно считают персонажами российской истории. К тому же центрами политической активности были Москва и Петербург, общественная и политическая деятельность многих женщин протече-

кала именно в центрах империи. С другой стороны, определенная «презумпция этничности» присутствует в подходе Смоляр, поскольку другие национальные группы, проживающие на этой территории (например, поляки и евреи), остаются за пределами ее исследования.

Эти трудности вычленения «национальной истории» из истории общероссийской и имперской указывают на проблему, общую для всей украинской историографии: насколько глубоко в прошлое могут быть экстраполированы категории «национального». Украинские дворянские семьи, ведущие свое происхождение от казацких гетманских родов, были, как правило, интегрированы в общеперскую элиту, а региональный малороссийский патриотизм долгое время сочетался с лояльностью империи. Как показал, например, российский историк Алексей Миллер, помимо проекта украинской нации, на этих же территориях существовали и другие конкурирующие проекты идентичности: польской, а позднее «большой российской нации», включающей украинцев и белорусов, и выбор в пользу какого-либо из этих проектов не был предпринят заранее⁴⁷.

«Женская история» представлена в работах Смоляр как одна из глав нарратива национальной истории, она дополняет и обогащает последний и даже придает ему дополнительную легитимность. В сборнике «Женщина в истории и сегодня», изданном под ее редакцией⁴⁸, Смоляр делает попытку сконструировать последовательный и гомогенный метанарратив украинской «женской истории» от древности до украинской независимости. Тем самым создается неизменный и монолитный исторический субъект – «украинская женщина», обладающая постоянным и практически не меняющимся на протяжении истории характером. В статье, опубликованной в австрийском журнале L'НОММЕ, Смоляр ссылается на свидетельства иностранных путешественников, посетивших Украину в XVI–XVIII вв. и указывавших в своих путевых записках на особый статус украинской женщины в обществе и ее непревзойденные качества – прием, широко распространенный в украиноведческом дискурсе⁴⁹. Эссенциализация и идеализация украинской женщины усиливается ссылками на Юрия Липу, одного из видных идеологов украинского национализма. Его эссе «Украинская женщина» – текст скорее политический, чем научный, – Смоляр использует не как пример определенного типа дискурса, а как научный аргумент: цитата «о женщине как носителе общественной и расовой морали» даже вынесена на обложку.

3. Львов: от этнологии к устной истории женщин

В 1999 г. группа молодых ученых создала во Львове научно-исследовательский центр «Женщина и общество». Сопредседатель центра Оксана Кись приобрела известность в Украине своими работами по этнологии и гендерным исследованиям. Защитив в 2002 году кандидатскую диссертацию на тему «Женщина в

украинской крестьянской семье второй половины XIX – начала XX в.», она первой в Украине предприняла попытку последовательно применить гендерный подход в историко-этнологических исследованиях национальной культуры. Многочисленные публикации Оксаны Кись посвящены различным аспектам украинской культуры этого периода, например, процессам социализации девочек в украинской семье, социальным ролям женщины, распределению обязанностей в семье, материнству и детству в украинской культуре⁵⁰. Впрочем, Кись пишет и о современной гендерной проблематике в Украине⁵¹, например, она обращается к анализу фигуры Юлии Тимошенко в украинской политике и объясняет ее популярность сознательным комбинированием двух нормативных моделей постсоветской женственности – Берегини и Барби⁵². В последние годы Кись обратилась к теме женской памяти – под ее руководством Львовский центр принимал участие в международном проекте, посвященном женской памяти в странах Восточной Европы. Оксана Кись одной из первых в Украине обратилась к биографическому методу и Oral History и, пожалуй, первой использовала эту методологию в гендерных исследованиях. Добавим, что интересы Кись не ограничиваются исследовательской деятельностью: она читает курсы по гендерной проблематике и много сделала для институционализации гендерных исследований в высшей школе. Центр «Женщина и общество» организовал несколько феминистских акций, одна из которых была, например, посвящена сексистским стереотипам в украинской рекламе. Кись способствовала популяризации феминизма и гендерных исследований среди широкой аудитории: под ее редакцией вышли два тематических номера культурологического журнала «І», посвященные этой проблематике, и антология переводов феминистских текстов⁵³.

Работы Кись интересны в данном случае тем, что позволяют увидеть, какие возможности открывает и какие ограничения налагает этнология как особый тип академического дискурса на исследователя, пытающегося реализовать в ее рамках феминистский проект. Нельзя не отметить, что с конца 1980-х гг. этнология оказалась одной из дисциплин, особенно задействованных в процессах возрождения национальной культуры и строительства новых наций. Подтверждением этому в Украине является, например, институционализация украиноведения как обязательной дисциплины в высшей школе, повсеместная трансформация бывших обществоведческих кафедр в кафедры истории украинской культуры и рост числа диссертаций по специальности «этнология». О политической ангажированности этнологического дискурса свидетельствует и появление новых направлений, претендующих на статус научных дисциплин – этнополитологии, этнопсихологии и т.д. Этнология, ориентированная на обслуживание процессов национального строительства, ориентирована, как правило, на концепцию культуры, утвердившуюся еще в XIX в. В ее основе лежит, по словам Ниры Ювал-Дэвис,

Вписывая(сь) в дискурс «национального»

«...эссенциалистское видение “культуры” как имеющей определенную фиксированную “культурную начинку”, состоящую из символов, способов поведения и артефактов, которые в своей целостности и непротиворечивости составляют культуру национальных и этнических коллективов»⁵⁴.

Возникновение и развитие этнологии (этнографии) в Восточной Европе было во многом связано с развитием национальных движений (если перевернуть известное положение Мирослава Гроха о том, что первой фазой национального возрождения малых наций – фазой А – была активная деятельность интеллектуалов по сбору и изучению материалов, касающихся языка, культуры и истории угнетенной национальности)⁵⁵. Безусловно, империи со своей стороны нуждались в экспертном этнографическом знании, необходимом для выработки соответствующей административной, культурной и экономической политики в отношении этнических и религиозных групп, проживающих на их территории. В любом случае этнография была инструментом конструирования этнических и национальных групп, хотя и с различными целями. Советская этнографическая наука, как показала, например, историк Франсис Хирш, также была средством «концептуального завоевания земель и народов». Как научная дисциплина со своей историей, враждующими течениями и концептуальными разногласиями, научным языком и корпоративными интересами, она была непосредственно вовлечена в создание новых советских наций⁵⁶. После 1991 г. этнография (этнология), апеллируя к «традиции» и «культуре» как субстанциальным признакам этноса, стала формой легитимации постсоветских проектов нации.

Этот этнологический дискурс, между прочим, всегда структурировался вокруг фигуры женщины, – как правило, матери, представительницы этноса, носительницы ее характерных особенностей. В фокусе интересов этнологии – семья и родство, обычаи, традиции – все то, что традиционно связано со сферой «женского» и составляет в то же время сердцевину народной культуры. По замечанию Ювал-Дэвис,

«...гендерные отношения часто видятся как конституирующие сущность культуры... Особое значение имеет здесь конструкция “дома”, включая отношения между взрослыми, а также между взрослыми и детьми, приготовление и потребление пищи, домашний труд, игры и рассказы на ночь, все те элементы, из которых возникает и воспроизводится целостная картина мира, этическая и эстетическая»⁵⁷.

«Гендер» встроен здесь в этнологический дискурс заданным образом и непосредственно связан с конструированием этноса/нации.

Свою задачу Оксана Кись видит не только в том, чтобы дополнить и углубить наши знания о положении женщины в украинской крестьянской семье прошлого века, но и в том, чтобы внести свои, феминистские акценты в обще-

принятые в этнологии представления. Она стремится уйти от позитивистского определения национальной культуры и связанной с ней идеализированной «национальной феминности». Не случайно ее интерес привлекают маргинальные женские роли – одинокие и бездетные, вдовы, ведьмы. Во многих случаях Кись стремится использовать этнологическое знание как инструмент феминистской критики. Объектом этой критики является прежде всего материалистская идеология, стереотип украинской женщины как Берегини и миф об украинском матриархате. Так, используя обширный этнографический материал, Кись показывает в одной из своих публикаций несостоятельность мифа об «идеальном материнстве», укорененном как в обыденном сознании, так и в социально-гуманитарных науках. Основные постулаты этой мифологемы сводятся к тому, что ребенок якобы является безусловной ценностью в украинской семье, а материнство всегда было основной социальной ролью женщины и составляло смысл ее жизни. Ссылаясь на работы Адриен Рич и Нэнси Чодоров, Кись выступает против эссенциализации материнского инстинкта и рассматривает материнство как социальный конструкт⁵⁸. Она подробно прослеживает, как установка на материнство как реализацию женского предназначения программировалась на каждом этапе социализации девочки. Анализ распределения женщиной времени между различными обязанностями, связанными с домом и семьей, показывает, что материнские функции были часто подчинены хозяйственным интересам семьи, а мать нередко испытывала к новорожденному амбивалентные чувства. Демистификация материнства и других табуированных тем, борьба против идеализации и романтизации традиционного уклада в интересах политической конъюнктуры – первые шаги феминистской критики в украинской этнологии, заслуга которых принадлежит Оксане Кись⁵⁹.

В последние годы ее интересы распространились на новое для Украины исследовательское направление – устную женскую историю. Кись связывает особую продуктивность этого подхода с возможностью изучения бессознательных, скрытых, неартикулированных смыслов, которые особенно актуальны для пост-тоталитарного, по ее определению, украинского общества. Женщины в особенности были лишены репрессивной властью индивидуального голоса и памяти, поэтому задача устной истории состоит в том, чтобы икорпорировать индивидуальный женский опыт в наше знание о прошлом. Речь, таким образом, идет о восстановлении полноценной национальной памяти, включающей женскую память как наиболее табуированную. На фоне характерного отсутствия исследованием отдельного интереса к советскому периоду украинской истории (за исключением отдельных политизированных тем) и очевидной ограниченности концептуального аппарата для этих целей «устная история» видится как одна из возможностей проникнуть в «смысл» советского прошлого через индивидуальную память и индивидуальный нарратив. Тем не менее феминистский проект возвращения «женского голоса» в историю с политической и методологической точек зре-

ния не всегда однозначен. «Женский голос» не существует сам по себе – выбор фрагментов для анализа, интерпретационная рамка задаются исследователем. Так, статья Кись «Рассказывая о несказанном: репрезентации этнических и региональных идентичностей в автобиографиях украинских женщин» основывается на интервью с двумя пожилыми женщинами – выходцами с Востока и Запада Украины⁶⁰. Их жизненные истории отражают прошлое на уровне индивидуального женского опыта, что позволяет увидеть советскую историю в новом ракурсе. Однако две версии женской памяти ожидаемо расходятся в том, что касается отношения к советскому режиму и его оценки, подтверждая базовую для украинского политического дискурса дихотомию «украинский Запад – советизированный Восток». Интерпретация индивидуальной женской памяти оказывается подчинена доминирующему нарративу «национальной истории».

4. Харьков: феминизм как деконструкция национализма

Последний пример, который будет здесь рассмотрен, – это Харьковский центр гендерных исследований, созданный в 1994 г. Лицо этой организации определяет супружеская пара Сергея и Ирины Жеребкиных. Инициатор и бессменный руководитель центра, Ирина Жеребкина получила философское образование в Киеве, позднее ее карьера была связана с работой в Институте философии Российской академии наук. Концептуальной основой феминистских исследований Харьковского центра стала философия постмодернизма, литературный критицизм и психоанализ. Благодаря профессиональной маркетинговой стратегии Жеребкины смогли обеспечить для своих проектов стабильное финансирование, которым, как правило, не могут похвастаться женские организации подобного рода. С середины 1990-х гг. центр регулярно проводит международные летние школы, посвященные феминистской методологии в социальных науках и собирающие участников из бывших советских республик. Рабочим языком школ, традиционно проводимых в Форосе (Крым), является русский. На русском языке публикуется также журнал «Гендерные исследования», практически единственное регулярное феминистское издание не только в Украине, но и на всем постсоветском пространстве. Книги, публикуемые центром, в основном переводы зарубежных авторов и монографии Ирины Жеребкиной⁶¹, выходят в последние годы в России, главным образом в Санкт-петербургском издательстве «Алетейа».

Позицию Жеребкиной (а это, несомненно, сознательно избранная позиция) отличает от других рассмотренных выше феминистских проектов то, что она сознательно позиционирует себя вне дискурса «национального феминизма». Она не определяет ни свою локализацию, ни объект исследования как «Украину», предпочитая скорее темпоральные категории: «постсоветские страны», «переходные общества» или «в бывшем СССР». Жеребкина не идентифицирует

себя с украинским феминизмом и дистанцируется от того, что другие определяют как его «традицию», она сознательно ускользает от определения своей позиции в навязанных извне категориях: «важно не участвовать в дискурсивном выборе «и/или» вновь предоставленном политикой сегодня, какие бы формы он ни принимал (глобализация или локализация, универсальное или партикулярное, национальное или мультикультурализм и т.д.)»⁶². В отличие от своих украинских коллег, она ставит под сомнение саму возможность феминизма и гендерных исследований в постсоветских странах, указывая на их симулятивный и манипулятивный характер.

Методологические предпочтения Жеребкиной, интерес к западным теоретикам «постфеминизма» (Рози Брайдотти, Джудит Батлер, Зила Айзенштайн, Рената Салецц) во многом объясняют ее позицию. Речь идет о кризисе и смене парадигм в современном феминизме, что подразумевает переход от «феминизма равенства» к «феминизму различия», критику классического либерального феминизма, тематизацию женской субъективности, деконструкцию бинарных оппозиций в самом феминизме (например, Восток – Запад). По мнению Жеребкиной, эта методология не является монополией Запада. Более того, она может быть эффективно применена для анализа особенностей постсоветского общества, функционирующего на уровне коллективного бессознательного. Каким образом власть в постсоветском обществе присваивает право говорить от имени и в интересах женщин? Как «женские интересы» сконструированы и представлены в официальном дискурсе и националистической идеологии? Сама постановка проблемы отрицает оптимистический взгляд на украинскую культуру как изначально «предрасположенную» к феминизму, ставит под сомнение нарратив «возрождения» женского движения.

Национализм в понимании Жеребкиной – скорее категория психоанализа, чем социологии или политической теории. Опираясь на предложенное Бенедиктом Андерсоном понятие «национального воображаемого», но интерпретируя его, вслед за Жижекком, в лакановском духе, она полагает, что именно «потеря» или «нехватка» стимулирует структуры воображаемого: например, утраченное единство территории стимулирует возникновение мифа о единой идентичности. Кроме того, в переходных обществах, в силу крушения старой идентификационной системы, символическое оказывается для людей более значимым, чем реальные экономические и социальные проблемы. Новая национальная идентичность, предлагаемая властью дезориентированным массам, служит компенсацией повседневных трудностей и «скрывает... новое перераспределение собственности и власти». Национализм, таким образом, носит исключительно манипулятивный характер. Наконец, «в национальном воображаемом образ “другого” чаще всего принимает коннотацию врага»⁶³ – национализм в интерпретации Жеребкиной с неизбежностью предполагает исключение «другого» и агрессию против него. Этот механизм объясняет, с ее точки зрения,

рост насилия по отношению к женщинам в переходных обществах: «женщина служит архетипической жертвой, которая аккумулирует на себе невероятные потоки насилия, поднятые наружу общим состоянием коллапса идентичности»⁶⁴. Понятно, что такая трактовка национализма, как идеологии и политики, однозначно виктимизирующей женщин, в корне противоположна дискурсу «национального феминизма».

В книге «Женское политическое бессознательное», опубликованной ХЦГУ в 1996 г. (и переизданной в 2002 г. в Санкт-Петербурге), Жеребкина непосредственно обращается к теме взаимодействия националистического и феминистского дискурсов. По сути, это единственная в Украине работа, где данная проблема рассматривается теоретически, кроме того, это единственная книга Жеребкиной, касающаяся непосредственно украинской проблематики. Поэтому интересен тот факт, что монография не была переиздана на украинском языке и практически не обсуждалась в украиноязычных феминистских публикациях, если не считать резкой критики «антиукраинской позиции» автора. Предметом анализа в книге становится «традиция украинского феминизма», однако, в отличие от Богачевской-Хомяк, Смоляр и других упомянутых выше авторов, Жеребкина занимает по отношению к нему критическую дистанцию. С ее точки зрения идеология национализма, оперируя романтическими образами «матерей нации», готовых к самопожертвованию ради своего народа, «насилует женщин символическим», предписывая им заранее определенные роли и мешая осознать собственные интересы. Основываясь на разнообразном историческом и культурном материале (украинская литература XIX–XX вв., история женского движения, документы современных женских организаций и конференций), Жеребкина демонстрирует трансформацию традиционных женских образов в украинской культуре, а также историческую преемственность украинского феминизма в до- и постсоветскую эпоху, детерминирующую роль национализма в женском движении. Таким образом, оперируя тем же историческим материалом, что и Богачевская-Хомяк, Жеребкина практически пишет историю *несостоявшегося* украинского феминизма.

Используя те же мотивы и символы украинской культуры, что и феминистки-литературоведы Киевского центра, Жеребкина приходит к противоположным выводам. Например, обращаясь к женским образам в поэзии Тараса Шевченко, патриарха украинской литературы, отражающего пробуждение национального самосознания в середине XIX в., она анализирует центральный для его творчества образ «матери-покрытки»: украинской девушки, соблазненной и брошенной москалем. Символ «изнасилованной матери» является, с точки зрения Жеребкиной, центральным для политик национальной идентичности, символизируя колониальную Украину, страдающую под гнетом империи. Это позволяет ей сделать вывод о том, что украинская национальная идентичность формируется в результате противопоставления ненавидимому «другому» – имперской России

и что этот образ Врага является центральным для украинской национальной идентичности.

Другой пример касается интерпретации гомосексуальных мотивов в украинской культуре. Если для Соломии Павлычко, Веры Агеевой и других феминистских литературоведов лесбийские мотивы в текстах Леси Украинки и Ольги Кобылянской символизируют принадлежность украинской культуры к европейской традиции модернизма, то Сергей Жеребкин, интерпретируя культуру украинского казачества как гомосексуальную, десакрализирует один из наиболее значимых национальных мифов⁶⁵. Тексты Ирины и Сергея Жеребкиных подверглись резкой критике со стороны сторонников «национального феминизма»⁶⁶. Критикуя противопоставление национализма и феминизма «как конкурирующих, враждебных друг другу дискурсов», а также «русоцентричную языковую и культурную политику школы», оппоненты зачастую обозначают «харьковский феминизм» как «имперский» и «антиукраинский». «Похоже, что как и многие другие постсоветские русофоны, представители харьковской гендерной школы не осуществили “работы траура” по Российской империи и находятся в состоянии меланхолической ностальгии по объединенному русскоязычному культурному пространству»⁶⁷, – заметил Виталий Чернецкий. Другими аргументами критиков было упрощенное, с их точки зрения, видение национализма как исключительно репрессивной идеологии, отождествление украинской культуры с национализмом, а последнего – с государственной культурной политикой, а также сознательно занятая Жеребкиными позиция «постороннего» по отношению к украинской культуре.

Критическая рефлексия в отношении национализма и «нациоцентрического дискурса» в гендерных исследованиях отличает позицию Харьковского центра от других феминистских школ. Однако своеобразный проект «ненационального» феминизма имеет свои ограничения. Структурируя его вокруг «постсоветского», а не «национального», Жеребкины сталкиваются с проблемой неизбежной эссенциализации переходных, т.е. темпоральных, моментов. Избранная ими локализация – «в бывшем СССР» – становится все менее оправданной концептуально и политически по мере дезинтеграции постсоветского пространства. Харьковский центр, приобретая известность и авторитет в русскоязычном интеллектуальном пространстве, сознательно занимает маргинальную позицию в украиноязычном феминистском дискурсе.

Заключение

Рассмотренные выше феминистские проекты, возникшие внутри (и на пересечении) различных социальных и гуманитарных наук, по-разному решают вопрос о взаимоотношениях национализма с феминизмом. Их диапазон довольно широк: от феминистской реинтерпретации национального культурного канона,

«изобретения традиции» национального феминизма и возвращения женщины в (национальную) историю до последовательной деконструкции идеологии и политики национализма на основе постмодернистской и постфеминистской парадигмы. В одних случаях самоопределение по отношению к национализму является сознательно избранной политической стратегией, в других эта связь не проговаривается, хотя горизонт «национального» так или иначе определяет цели, выбор парадигмы и методологию феминистского исследования.

Очевидная проблематичность (и идеологичность) определения «украинский феминизм» указывает на отсутствие в обществе консенсуса по более широкому вопросу – об определении украинской нации и ее символических границах. Не всякий феминизм в Украине является «украинским», если понимать под этим языковую и культурную идентичность. Однако стоит ли рассматривать эту ситуацию как постколониальную и переходную, возможна ли вообще утопия окончательной «национализации»? Приведенные выше примеры показывают, что, несмотря на доминирующий националистический дискурс, украинский феминизм представляет собой *de facto* транснациональный феномен. В столкновении различных феминистских дискурсов становится виден зазор, возникающий между культурно-этническим и территориальным определениями нации, проявляется несовпадение национальных границ с границами дискурса украинского феминизма. Конфликты между феминистскими школами (или их демонстративное игнорирование друг друга) отражают также борьбу за культурную гегемонию, за право использования западного языка феминизма и постколониальной парадигмы для легитимации своих академических проектов и политических стратегий.

Примечания

- ¹ Онуфрив, С. Вступ / С. Онуфрив // Незалежний культурологічний часопис «Ї». № 17. 2001.
- ² Bohachevsky-Chomiak, M. *Feminists Despite Themselves. Women in Ukrainian Community Life, 1884-1939* / M. Bohachevsky-Chomiak. Edmonton, 1988. Украинский перевод: Богачевська-Хомяк, М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України. 1884-1939 / М. Богачевська-Хомяк. Київ, 1995.
- ³ Богачевська-Хомяк, М. Націоналізм і фемінізм: провідні ідеології чи інструменти для з'ясування проблем? / М. Богачевська-Хомяк // Гендерний підхід: історія, культура, суспільство / під ред. Л.Гентош, О.Кісь. Львів, 2003. С. 173.
- ⁴ Wilson, A. *Ukrainian Nationalism in the 1990s: A Minority Faith* / A. Wilson. Cambridge, 1996.
- ⁵ Зборовська, Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Н. Зборовська. Львів, 1999.
- ⁶ Yuval-Davis, N. *Gender and Nation* / N. Yuval-Davis. London; New Delhi, 1997.

- ⁷ Rubchak, M. In Search of a Model: Evolution of a Feminist Consciousness in Ukraine and Russia / M. Rubchak // *European Journal of Women's Studies*. Vol. 2. Issue 2. May 2001; Rubchak, M. Christian virgin or pagan goddess: feminism versus the eternally feminine in Ukraine / M. Rubchak // *Women in Russia and Ukraine* / R. March (ed.). Cambridge, 1996. P. 315–330.
- ⁸ О матерналистском дискурсе в украинском женском движении см.: Нрысак, А. Foundation Feminism and the Articulation of Hybrid Feminisms in Post-Socialist Ukraine / A. Нрысак // *East European Politics and Societies*. Vol. 20. No.1. P. 69–100.
- ⁹ Например, Гизела Каплан рассматривает обе идеологические позиции как “почти всегда несовместимые”, а противоречащие этому правилу примеры Италии и Финляндии – как “экстраординарные” и “исключительные”. (Kaplan, G. *Feminism and Nationalism: the European Case* / G. Kaplan // *Feminist Nationalism* // ed. by Lois A. West. NY; London, 1997).
- ¹⁰ Например, Вирджиния Вульф: Woolf, V. *Three Guineas* / V. Woolf. New York, 1938. P. 107–109.
- ¹¹ Историк Ханс Кон первым противопоставил западный национализм как либеральный, основанный на гражданских институтах и правах личности – восточноевропейскому национализму, рожденному в среде интеллектуалов и определяемому через “культуру” и “этнос”, отдающему преимущество интересам целого перед правами индивидуума (Kohn, H. *Western and Eastern Nationalism* / H. Kohn // *Nationalism* / John Hutchinson and Anthony D. Smith (eds.). Oxford, 1994). В той или иной степени это различие проводили и другие авторы: Михаэль Игнатъефф, Энтони Смит, Эрнст Геллнер. (См. подробную критику у Тараса Кузьо: Kuzio, T. *The Myth of the Civic State: A Critical Survey of Hans Kohn's Framework for Understanding Nationalism* / T. Kuzio // *Ethnic and Racial Studies*. Vol.25. № 1 (January 2002). P.20-39.) Эта схема неявно предполагает, что западный национализм уже “в прошлом”, тогда как Восточная Европа все еще никак не может переболеть этой болезнью молодых наций.
- ¹² Гапова, Е. О политической экономии “национального языка” в Беларуси / Е. Гапова // *Ab Imperio*. 3/2005.
- ¹³ Нрысак, А. *Foundation Feminism*.
- ¹⁴ Пушкарева, Н. Гендерная проблематика в исторических науках. Введение в гендерные исследования. Ч.1. Учебное пособие / Н. Пушкарева; под ред. И. А. Жеребкиной. Харьков; СПб., 2001. С. 277–311.
- ¹⁵ См. публикации Людмилы Смоляр, Оксаны Кись, Оксаны Маланчук-Рыбак (Украина), Натальи Пушкаревой (Россия), сборники под редакцией Елены Гаповой, Ирины Чикаловой (Беларусь).
- ¹⁶ Jilge, W. *The Politics of History and the Second World War in Post-Communist Ukraine (1986/1991–2004/2005)* W. Jilge // *Jahrbuecher fuer Geschichte Osteuropas*. Band 54. 2006. Heft 1. Franz Steiner Verlag. S.50-81.
- ¹⁷ Hagen, M. von. *Does Ukraine have a History?* / M. von Hagen // *Slavic Review*. 54 (1995) 3. S. 658–673.

- 18 Смоляр, Л. Минуле заради майбутнього: жіночий рух Наддніпрянської України II пол. XIX – поч. XX ст. Сторінки історії // Л. Смоляр. Одеса, 1998.
- 19 Жіночі Студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні // за ред. Л. Смоляр. Одеса, 1999.
- 20 Маланчук-Рибак, О. Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях XIX – першої третини XX століття // О. Маланчук-Рибак. Чернівці, 2006.
- 21 Рудницька, М. Статті, листи, документи // М. Рудницька; упорядник М. Дядюк. Львів, 1998.
- 22 Смоляр, Л. Минуле заради... С. 8.
- 23 Kichorovska Kebalo, M. Exploring Continuities and Reconciling Ruptures. Nationalism, Feminism, and the Ukrainian Women's Movement / M. Kichorovska Kebalo // *Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern Women's and Gender History*. Vol.1. 2007. P. 36–60.
- 24 Маланчук-Рибак, О. Ідеологія... С. 82.
- 25 Там же. С. 255.
- 26 Рябчук, М. Дві України / М. Рябчук // *Критика*. № 10. 2001.
- 27 Миллер, А. Империя Романовых и национализм / А. Миллер. М., 2006. С. 21.
- 28 Кись, О. Рецензія на книгу “Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні” за ред. Л. Смоляр / О. Кись. Одеса, 1999. www.franko.lviv.ua/Subdivisions/um/um4-5/Retsenziji/7-KIS%20Oksana.htm
- 29 Павличко, С. Фемінізм / С. Павличко. Київ, 2002.
- 30 В этой связи часто ссылаются на поэму Леси Украинки “Боярыня”, повествующую о судьбе украинской девушки, вышедшей замуж по любви за соотечественника, находящегося на службе у московского царя. Запертая в тереме и лишённая привычной свободы, она гибнет не только от тоски по родной Украине, но и от гнета чуждых ее культуре патриархатных традиций Домостоя.
- 31 Костомаров, Н. Две русские народности / Н. Костомаров // *Основа*. СПб., 1861. № 3. С. 33–80.
- 32 Rubchak, M. In Search of a Model. P. 154.
- 33 Рудницька, М. Статті... С. 195–200.
- 34 Kichorovska Kebalo, M. Exploring... С. 52.
- 35 С. Павличко, організатор і вдохновитель Киевского центра, трагически ушла из жизни в 1999 г. Она была не только страстным популяризатором феминистских идей в Украине (см. посмертный сборник ее статей: Павличко, С. Фемінізм), но и активно способствовала модернизации украинской культуры в качестве переводчика и издателя. Основанное ею издательство “Основы” публикует переводы классической зарубежной литературы на украинский язык.
- 36 См., например: Павличко, С. Листи з Києва / С. Павличко. Київ, 2001.
- 37 Павличко, С. Чи потрібна українському літературознавству феміністична школа? / С. Павличко // *Слово і Час*. 1991. № 6.

- 38 Гундорова, Т. *Femina Melancholica*. Стаття і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської / Т. Гундорова. Київ, 2002.
- 39 Там же. С. 227.
- 40 Агеєва, В. Поетеса злама століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації / В. Агеєва. Київ, 2001.
- 41 Агеєва, В. Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму / В. Агеєва. Київ, 2003.
- 42 Там же. С. 46.
- 43 Забужко, О. Жінка-автор в колоніальній культурі, або знадоба до української гендерної міфології / О. Забужко // Хроніки від Фортінбраса. Київ, 2001.
- 44 Смоляр, Л. Минуле заради майбутнього. С. 61.
- 45 Там же. С. 62.
- 46 Smolyar, L. The Ukrainian Experiment. Between Feminism and Nationalism or the Main Features of Pragmatic Feminism / L. Smolyar // L'HOMME Schriften 13. Reihe zur Feministischen Geschichtswissenschaft. Women's Movements. Networks and debates in post-communist countries in the 19th and 20th centuries / Edith Sauer, Margareth Lanzinger, Elisabeth Frysak (Hg.). S. 397–411.
- 47 Miller, A. Shaping Russian and Ukrainian Identities in the Russian Empire during the 19th century: Some Methodological Remarks / A. Miller // Jahrbuecher fuer Geschichte Osteuropas. 2001. Band 49. Heft 4. S. 257–263.
- 48 Жіночі Студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні / за ред. Л.Смоляр. Одеса, 1999.
- 49 Smolyar, L. The Ukrainian Experiment. P. 400–401.
- 50 Кісь, О. Особливості соціалізації дівчаток в українській сім'ї XIX – початку XX століття / О. Кісь // Етнічна історія народів Європи. Традиційна етнічна культура слов'ян. Зб. наук. праць. Київ, 1999. С. 49–55; Она же. Украинская ведьма (эскиз социального портрета) // Гендерные исследования. ХЦГИ. 2000. N 5. С. 274–285.
- 51 Кісь, О. Моделі конструювання гендерної ідентичності жінки в сучасній Україні / О. Кісь // Незалежний культурологічний часопис "І". № 27. Львів, 2003. С. 109–119.
- 52 Кісь, О. Жіночі стратегії в українській політиці / О. Кісь // Пошуки гендерної паритетності: український контекст / під ред. І.Грабовської. Ніжин, 2007. С. 121–140.
- 53 Гендерний підхід: історія, культура, суспільство / під ред. Л. Гентош, О. Кісь. Львів, 2003.
- 54 Yuval-Davis, N. Gender and Nation. P. 41.
- 55 Hroch, M. Social Preconditions of National Revival in Europe / M. Hroch. Cambridge, 1985. P. 22.
- 56 Hirsch, F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union / F. Hirsch. Ithaca; London, 2005.
- 57 Yuval-Davis, N. Gender and Nation. P. 43.

- ⁵⁸ Кись, О. Материнство и детство в украинской традиции: деконструкция мифа. Социальная история. Ежегодник 2003 / О. Кись // Женская и гендерная история / под ред. Н.Л. Пушкаревой. М., 2003. С. 156–172.
- ⁵⁹ Кись, О. Кого оберігає Берегиня, або матріархат як чоловічий винахід / О. Кись // Дзеркало тижня. № 15. 23 квітня-6 травня. 2005.
- ⁶⁰ Kis, O. Telling the Untold: Representations of Ethnic and Regional Identities in Ukrainian Women's Autobiographies / O. Kis // Writing About Talking: Orality and Literacy in Contemporary Scholarship / ed. by Keith Carlson, Natalia Shostak, and Kristina Fagan. Toronto, forthcoming.
- ⁶¹ Жеребкина, И. Страсть / И. Жеребкина. СПб., 2002; Она же. Гендерные 90-е или Фаллоса не существует. СПб., 2003; Она же. “Прочти мое желание...” постмодернизм, психоанализ, феминизм. М., 2000.
- ⁶² Жеребкина, И. Женское политическое бессознательное / И. Жеребкина. СПб., 2002. С.10.
- ⁶³ Там же. С. 20.
- ⁶⁴ Там же. С. 23.
- ⁶⁵ Жеребкин, С. Гендерные “политики идентификации” в эпоху козачества / С. Жеребкин // Гендерные исследования. 1/1998. С. 228–252.
- ⁶⁶ Например: Богачевська-Хомяк, М. Тендер довкола гендеру / М. Богачевська-Хомяк // Критика. 2 (1998). 3(5); Зборовська, Н. Феміністичні роздуми.
- ⁶⁷ Чернецький, В. Протистоячи травмам: гендерно та національно маркована тілесність як наратив та видовище у сучасному українському письменстві / В. Чернецький // Виднокола. Інтернет-видання Київського Інституту гендерних досліджень. Число 3. <http://www.vidnokola.kiev.ua/Magazine/N3/Num3.htm>.

II. ПАДЧЕРИЦЫ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ

ДОМОХОЗЯЙКА ИЛИ БИЗНЕС-ЛЕДИ: НЕОЛИБЕРАЛИЗМ И ПОСТСОВЕТСКИЕ ЖЕНСКИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ

Украина в числе других государств, возникших после распада СССР, движется сегодня по пути создания институтов рынка и демократии. Демонтаж системы государственного социализма и политический плюрализм, казалось бы, открыли шлюзы для разнообразных социальных движений и инициатив, отражающих различные системы ценностей, т.е. для формирования и репрезентации новых форм идентичностей. Рост числа разнообразных женских организаций, попытки формирования независимого женского движения, а также появление первых женщин, уже преуспевших в бизнесе и в политике, – все это, казалось бы, подтверждает успех демократических реформ.

В то же время в постсоветских странах, и в частности в Украине, новые идентичности зачастую активно «приручаются» властью, используются новыми политическими элитами в своих интересах, а то и сознательно конструируются в целях манипуляции массами. Экологические инициативы, национально-культурные движения этнических меньшинств, не говоря уже о благотворительных организациях и фондах, нередко находятся под крышей бизнес-кланов, служат им для отмывания денег, одноразовой мобилизации электората или обеспечения цивилизованного фасада. Практически любая культурная инициатива, протест или социальное движение получает легитимацию в рамках идеологии, обслуживающей власть. Это в полной мере относится и к женскому движению в Украине. Так, украинское правительство научилось эффективно использовать язык международного феминизма (риторику женских прав и гендерного равенства) в своих интересах.

Неолиберальная идеология играет особую роль в этих процессах. Хотя рыночные реформы в Украине носят незавершенный характер (вопрос о том, можно ли в принципе «завершить» неолиберальный проект, является открытым), идеологема «свободного рынка» способствовала делегитимации советской системы как неэффективной и несправедливой. Оправдание нового социального порядка, основанного на рыночной экономике, опиралось на принципы частной инициативы и равных возможностей. В рамках этой идеологии массам были предложены новая трудовая мотивация и новое понимание справедливости.

Однако с точки зрения женщин эти изменения оказались далеко не однозначными: принцип частной инициативы оказался гендерно-специфичным, ибо восстанавливал разделение на приватную и публичную сферы, а декларирование равных возможностей не могло предотвратить экономической маргинализации женщин. Разрыв социального контракта «работающей матери» с государством вынудил женщин к поиску новых экономических стратегий. В этой переходной ситуации массовой культурой был предложен готовый набор моделей для идентификации, позаимствованных на Западе, – от преуспевающей деловой женщины до идеальной домохозяйки. Значительно отличаясь, на первый взгляд, по степени женской эмансипации, они имеют в действительности много общего, поскольку функционируют посредством механизмов массового потребления. Возникновение этих новых социальных идентичностей, явно или скрыто основанных на эссенциалистском понимании женского предназначения, способствует интеграции формирующегося рыночного общества, создавая возможности для социального включения женщин. Однако это включение оказывается одновременно формой исключения, создаст основу для возникновения новых форм гендерного неравенства. Дискурс рыночной либерализации представляет это неравенство как естественное и оправданное биологическими различиями полов. Изменение механизмов формирования женских идентичностей под влиянием идеологии «свободного рынка» и практики рыночной либерализации и является предметом этой статьи. Однако вначале стоит обратиться к рассмотрению понятий идеологии и идентичности в контексте «перехода к рыночной экономике» и влияния идеологии неолиберализма на процессы социальной и экономической маргинализации женщин.

1. Идеология и идентичность: протест и легитимация

Карл Маркс, Карл Манхейм, Луи Альтюссер, Юрген Хабермас и другие авторы предложили различные трактовки сущности и функций идеологии в капиталистическом обществе, однако проблема взаимосвязи идеологии с формированием идентичности не была в центре их внимания. Одну из наиболее интересных интерпретаций классических концепций идеологии с этой точки зрения предложил Поль Рикёр в «Лекциях об идеологии и утопии»¹. Он рассма-

тривает функционирование идеологии на нескольких уровнях: как «ложного сознания», как способа легитимации социального порядка и как конституирующей основы общества. По мнению Рикёра, в конечном счете идеология как культурная система, как символическая структура социальной жизни служит основой сохранения идентичности.

Первый, самый очевидный уровень функционирования идеологии был описан Марксом как «ложное сознание», искажение реальности в продуктах идеальной деятельности (религия, наука, искусство) под влиянием интересов господствующего класса. Противопоставление (буржуазной) идеологии и (пролетарской) науки закрепилось в ортодоксальном марксизме и нашло дальнейшее развитие у Альтюссера. Однако в работах Маркса (например, в «Немецкой идеологии») Рикёр обнаруживает также предпосылки иного понимания идеологии, противостоящей не науке, а «реальности». Поэтому особый интерес вызывает у Рикёра не зрелый Маркс с его оппозицией идеологии – науки, а молодой Маркс, рассматривающий соотношение праксиса (продуктивной человеческой деятельности) и репрезентации. Они не находятся в оппозиции, репрезентация представляет собой сущностную черту любой практической деятельности.

На втором уровне идеология представляет собой средство легитимации социального порядка (Рикёр опирается здесь на теорию легитимации Макса Вебера). Социальный порядок не может существовать без согласия управляемых подчиняться управляющим, и это согласие является основой существования их власти. Проблема легитимации имеет, таким образом, две стороны: претензия на легитимность со стороны субъекта власти и вера в легитимность социального порядка со стороны объектов этой власти. Развивая идеи Вебера, Рикёр указывает на существование разрыва между претензией власти на легитимность и доверием масс как на существенную сторону политической жизни. Заполнение этого разрыва и является задачей идеологии. «Функция идеологии состоит в добавлении определенной прибавочной стоимости к нашей вере в (социальный. – Т.Ж.) порядок, для того чтобы эта вера могла удовлетворить претензии власти»².

Наконец, третий уровень функционирования идеологии связан с формированием социальной идентичности и обеспечением интеграции общества. Здесь Рикёр обращается к работе Клиффорда Гиртца «Интерпретация культур». Все социальные действия опосредованы символически, и именно идеология выполняет в обществе эту опосредующую роль. На этом уровне идеология является интегрирующей силой, она способствует сохранению социальной идентичности и обеспечивает включенность человека в социум. В интерпретации Рикёра, понятие идеологии как опосредующей символической системы во многом пересекается с понятием праксиса у молодого Маркса, включающим репрезентацию – язык реальной жизни. На самом глубинном – символическом – уровне вырабатываются формы идентичности и способы самоидентификации, с по-

мощью которых человек определяет свое место в обществе. Используя интерпретацию феномена идеологии, предложенную Рикёром, можно попытаться проследить роль неолиберальной идеологии «свободного рынка» в постсоциалистических трансформациях в связи с процессами возникновения новых идентичностей.

Социолог Мануэль Кастельс определяет идентичность как конструирование значения на основе определенного культурного атрибута (или набора атрибутов), которому отдается приоритет перед другими источниками значений³. Кастельс противопоставляет идентичность прежде всего социальной роли (или набору социальных ролей): роли заданы социальными институтами и определяют социальные функции актора, а идентичности возникают только в процессе интернализации их акторами и становятся для них источником значений. Тем не менее идентичности социально сконструированы, и это социальное конструирование всегда имеет место в контексте отношений власти. С этой точки зрения Кастельс различает три формы идентичностей⁴:

1) легитимирующая идентичность, внедряемая господствующими институтами общества для того, чтобы расширить и рационализировать их доминирование над социальными акторами;

2) идентичность сопротивления, вырабатываемая теми акторами, которые занимают позицию, уязвимую с точки зрения логики доминации, и которые строят свои стратегии сопротивления и выживания на основе принципов, противостоящих господствующим институтам;

3) идентичность проекта, когда социальные акторы на основе доступного социального материала формируют новую идентичность, которая переопределяет их позицию в обществе и ведет к трансформации самой социальной структуры.

Преимущество предложенной Кастельсом модели состоит в том, что она отражает динамику идентичностей в их развитии. Идентичности, возникающие в процессе сопротивления доминирующей культуре, могут содержать в себе проекты социального переустройства на основе альтернативных ценностей. Однако, будучи в той или иной мере реализованы и закреплены в институтах общества, они со временем превращаются в легитимирующие идентичности, поддерживающие власть этих институтов. В то же время идеология, которая на поверхности выступает как «ложное сознание», как форма манипуляции, обеспечивает также через систему мотиваций заинтересованность большинства членов общества в соблюдении установленных властью «правил игры», создает возможность социальной коммуникации и интеграции общества на основе общей системы ценностей.

Эта сложная динамика возникновения и распространения новых идеологий и формирования новых идентичностей проявилась в процессах перехода бывших социалистических стран к западной модели рынка и демократии. Рево-

люционные идеи, социальные движения и новые идентичности, разрушившие коммунистический режим и обещавшие осуществление проекта демократического и процветающего общества, создали почву для новой идеологии, обеспечивающей перераспределение власти и собственности в пользу новых элит и одновременно позволяющей массам в той или иной степени принять этот новый порядок как «лучший» и желаемый. Именно такая метаморфоза произошла в Украине с идеями «свободного рынка» и «независимого предпринимательства».

В то же время способность новой идеологии заполнить «разрыв легитимации» (Рикёр) оказывается ограниченной (особенно в условиях радикальных социальных трансформаций), и этот процесс выявляет группы, в той или иной степени исключенные из процессов перераспределения собственности и власти (например, пенсионеры, женщины, этнические меньшинства). На основе неравного доступа к формально универсальным институтам демократии и рынка возникают новые идентичности сопротивления, которые входят в противоречие с уже утвердившейся новой идеологией. Однако их перспективы и возможности превращения в идентичности проекта, т.е. в конечном счете возможности влиять на складывающийся социальный порядок в переходных обществах, пока еще неопределенны.

2. Идеологема «свободного рынка» в переходном обществе

В литературе, посвященной критическому анализу итогов рыночных реформ в странах Восточной Европы, уже высказывалась мысль о том, что «идеология сыграла огромную роль в формировании экономической политики после 1989 г.»⁵. Как пишут, например, Ласло Андор и Мартин Саммерс, именно политические факторы («холодный мир», сменивший холодную войну) оказали решающее влияние на выбор экономического курса в странах Центральной и Восточной Европы. Политика форсированной маркетизации была призвана прежде всего уничтожить экономическую основу государственного социализма и сделать политические реформы необратимыми. Экономическая политика была обусловлена в первую очередь политическими и культурными целями, и рыночные реформы стали, по мнению авторов, «Великой буржуазной культурной революцией»⁶. В Украине, как и в других постсоциалистических странах, идеология свободного рынка и частной инициативы стала прежде всего средством делегитимации коммунистического режима.

Хотя инициаторы перестройки обосновывали необходимость преобразования изъянами экономической системы (неэффективностью хозяйственного механизма, замедлением темпов экономического роста), сегодня исследователи все чаще обращают внимание на решающую роль глубинных социальных факторов. Так, социолог Вадим Радаев отмечает, что преобразования в бывшем

СССР опирались на два стержневых фактора: с одной стороны, недовольство советских средних слоев существующим режимом, неудовлетворенность их профессиональных, культурных и потребительских ожиданий, а с другой стороны – тенденцию к «обуржуазиванию» правящей элиты⁷. Добавим, что действие обоих этих социальных факторов было в значительной степени связано со сменой идеологических парадигм.

Рассмотрим сначала с этой точки зрения действие второго фактора. Рост популярности рыночных идей в условиях, когда социальные и политические основания старого режима остались практически без изменений, отвечал интенциям нового поколения бюрократии, которая стремилась модернизировать механизмы своей власти. Под прикрытием идеологии «свободного рынка» в большинстве государств бывшего СССР сложилась модель перехода, суть которой составила «приватизация государства» при отсутствии эффективных институтов рыночной экономики. Реформы в СССР (а затем в независимой Украине) оказались серией противоречивых и вынужденных уступок давлению частного интереса в экономике государственного социализма, и идеология «свободного рынка» стала средством легитимации перераспределения собственности и власти. Хотя разделение государства и сферы частного предпринимательства является альфой и омегой либерализма, как раз этого и не произошло в большинстве постсоветских стран. Вместо этого возникла особая форма капитализма, блокирующего частную инициативу, не санкционированную бюрократией и неподконтрольную ей. Как писал политолог Андрей Мельвиль, оценивая ситуацию в России, «возник не столько экономический, сколько политический (и поддающийся криминализации) рынок торга между основными политико-экономическими кланами, совместившими власть и собственность»⁸.

Основой идеологии «свободного рынка» в начале реформ стала антитеза рынка и командно-административной системы как несовместимых и взаимоисключающих моделей организации экономики. По словам популярной в конце 1980-х гг. Ларисы Пияшевой, экономика не может быть наполовину плановой, наполовину рыночной – «нельзя быть немного беременной». Этот вопрос поляризовал общество, разделившееся на рыночников и антирыночников. В то же время и рынок, и командно-административная система рассматривались обеими сторонами предельно абстрактно: они выступали скорее в роли идеологических символов, вокруг которых происходит размежевание и консолидация. Командно-административная система (отождествляемая с наиболее жестким вариантом сталинской экономики) наделялась «рыночниками» всеми возможными пороками: неэффективностью, отсутствием стимулов к труду и инновациям, приоритетом распределительной справедливости перед экономической эффективностью. Естественно, что рынок (отождествляемый с рыночной экономикой развитых стран Запада) описывался ими исключительно в позитивных терминах, таких как экономическая эффективность, заинтересованность в

труде, способность к инновациям и возможность творческой самореализации. Этот идеологизированный дискурс не учитывал, что в реальной социалистической экономике, особенно на последних этапах ее эволюции, существовали многочисленные «черные» и «серые» рынки, системы неформальных обменных связей, а государственная собственность все больше становилась чисто номинальной, поскольку реальные распорядительные функции переходили от центра к отраслевым и местным элитам. Практически не обсуждался вопрос о том, как хозяйственные практики, унаследованные от социалистического прошлого, влияют на функционирование универсальной рыночной модели, как различные социальные группы посредством своих интересов и коллективных идентичностей опосредуют ход рыночных реформ в реальном обществе. Таким образом, миф о косности и неэффективности «командно-административной системы» и «героях-одиночках» – предпринимателях, подрывающих ее своим «рыночным поведением», способствовал прежде всего легализации теневых экономических структур и теневых капиталов бюрократии и партийного аппарата.

Стратегия реформ, избранная еще руководством бывшего СССР, оказалась изначально сориентированной на давно утратившую актуальность модель мелкотоварного капитализма и индивидуального предпринимательства. Надежды на «невидимую руку» рынка заменили политику целенаправленного государственного вмешательства в экономику в интересах успешной рыночной модернизации. В этом отношении показательны постоянные колебания в выборе стратегии реформ: вначале в государственной экономике были созданы ниши для реализации частного интереса – разрешены «кооперативы» и малые частные предприятия. Их учредителями в основной массе стали те, кто имел доступ к распоряжению ресурсами государственных предприятий. Деятельность этих фирм оказалась сосредоточенной в торгово-посреднической и финансовой сфере. Результатом либерализации цен в условиях отсутствия жестких бюджетных ограничений для госпредприятий стали колоссальные диспропорции в экономике, которые были использованы малыми предприятиями для перекачки ресурсов в частный сектор. Неудачные попытки реформирования госсектора вылились в непродуманное, лишненное стратегии экспериментирование: госприемка сменилась самоуправлением и выборами директоров, хозрасчет – переводом на аренду. К началу официальной приватизации государственных предприятий основная часть их ресурсов, оборудования и квалифицированного персонала уже перешли под контроль частного сектора. И дело не в том, что государственные предприятия «не смогли адаптироваться к условиям рынка». Они оказались незащищенными от коррозии спекулятивно-номенклатурного капитализма, от разрушительного влияния на экономику неконтролируемого «частного интереса», на который реформаторы-рыночники возлагали столько надежд.

Вторым важнейшим фактором реформ в бывшем СССР стала, согласно Радаеву, неудовлетворенность новых средних слоев советского общества своим

социальным статусом, профессиональными перспективами и материальным положением и соответственно – позиция радикального критицизма по отношению к советской системе. Для значительной части средних слоев начало реформ было связано с ожиданиями свободы во всех отношениях: свободы самореализации и творческой инициативы, возможность которой, как казалось, открывает предпринимательство, а также свободы потребительского выбора, недоступной ранее в условиях экономики дефицита. Идея «свободного рынка» оказалась отождествлена с идеей свободы личности в широком смысле как возможности самовыражения и творчества, реализуемой через предпринимательскую деятельность. Рыночная экономика представлялась пространством неограниченных возможностей для творческой и новаторской деятельности, более справедливой системой, вознаграждающей за инициативу, усилия и предприимчивость. Протест определенных социальных групп против существующего социального порядка, ограничивающего возможности профессиональной и творческой самореализации, стал важным источником формирования новой идентичности, которая, согласно классификации Кастельса, может быть отнесена к «идентичностям сопротивления». Период «рыночного романтизма», оказавшийся, правда, непродолжительным, был связан именно с тем, что многие увидели в частном предпринимательстве новые возможности самореализации и обретения идентичности. Модель «независимого частного предпринимателя» стала основой самоидентификации для тех, кто был неудовлетворен своим профессиональным и социальным статусом, а также уровнем дохода, обеспечиваемого государством. Независимость от государства как работодателя и поставщика социальных благ, способность самостоятельно прокормить семью, найти новое, рыночное применение своим талантам, образованию и опыту стали также обязательными критериями постсоветской мужественности, условием восстановления «естественного» разделения социальных ролей между полами.

Одним из немногих очевидных свидетельств успеха реформ к концу 1990-х гг. оказалось расширение свободы потребительского выбора. Дефицит товаров первой необходимости ушел в прошлое, появились новые потребительские стандарты и стили жизни – в первую очередь под влиянием западной культуры потребления. В то же время в условиях экономического кризиса и беспрецедентного падения жизненного уровня основной массы населения относительная ценность потребительского выбора значительно снизилась, поскольку проблемы экономического выживания и безопасности вышли на первый план. Доступ в новое сообщество потребителей, к западным стилям жизни оказался жестко ограничен уровнем доходов. Тем не менее для определенных социальных групп с относительно высоким уровнем доходов (и зачастую с неопределенным профессиональным и социальным статусом) потребление стало важнейшей сферой реализации идентичности, позволяя избрать для подражания определенный стиль и примкнуть тем самым к новому воображаемому сообще-

ству «элиты». В целом свобода потребительского выбора стала важнейшей частью идеологического механизма легитимации рыночных реформ, поскольку массам была предложена универсальная система мотивации – потребительский рай, ожидающий их в недалеком будущем.

Подведем промежуточные итоги. Во-первых, идеология «свободного рынка» в условиях отсутствия полноценных институтов рыночной экономики действительно оказалась в определенной степени «ложным сознанием», искажающим реальность в интересах формирующейся новой элиты. При этом неолиберальная риторика парадоксальным образом сочеталась с остатками марксизма – так, например, для оправдания «дикого капитализма» Марксово понятие первоначального накопления капитала использовалось в позитивном смысле. Во-вторых, идеология «свободного рынка» стала средством легитимации нового социального порядка, предложив новое понятие справедливости как равенства возможностей, вознаграждения инициативы и предприимчивости и личной ответственности за свою судьбу. Наконец, в-третьих, идеологемы «свободного рынка» и «частной инициативы» представляют интерес с точки зрения возможностей интеграции постсоветского общества на основе общей системы ценностей. По словам Фрэнсиса Фукуямы, в современном обществе экономика является важнейшей сферой реализации стремления к признанию, направляя энергию и тщеславие людей в конструктивное русло, а участие в жизни фирмы или корпорации позволяет избежать чувства разобщенности, слабости и незащищенности⁹. Однако в переходной экономике возможности формирования новой коллективной идентичности на основе ценностей свободного рынка и частной инициативы представляются достаточно проблематичными. Как и в западных обществах, здесь возникают проблемы социального исключения, неравного доступа к преимуществам рыночной системы, формирования на этой основе маргинальных групп и маргинальных идентичностей. Но в отличие от развитых стран Запада социально исключенными (хотя и на разных основаниях) в переходной экономике оказались различные социальные группы, охватывающие практически большинство населения. Маргинализация положения женщин в переходной экономике является одной из наиболее очевидных тенденций, связанных с переходом к рынку.

3. Неолиберализм и экономическая маргинализация женщин

Влияние рыночных реформ на положение женщин в странах Восточной Европы и бывшего СССР рассматривалось во многих публикациях¹⁰. В них отмечались такие негативные тенденции, как рост женской безработицы, усиление дискриминации на рынке труда, вытеснение женщин в низкооплачиваемые и непрестижные сферы деятельности, в частности в неформальный сектор, воз-

растание объемов неоплаченного домашнего труда. Причины выглядят достаточно очевидными: это экономический спад и усиление конкуренции на рынке труда, отказ от государственного протекционизма в области женской занятости, возрождение патриархатных стереотипов. И хотя некоторые авторы указывают на особую роль политического дискурса в этих процессах¹¹, в целом анализу идеологического фактора не уделяется достаточно внимания.

Как показала в своей работе Пегги Ватсон, процессы демократизации в переходных обществах не являются автоматическим приращением прав всех без исключения граждан, они воспроизводят новую систему политического включения/исключения под прикрытием идеологии универсальных демократических прав: «политическое исключение женщин как отличающихся от мужчин – их переопределение как “меньшинства”... – это процесс, который является не препятствием демократизации в Восточной Европе, а скорее ее существенной чертой»¹². Новая легитимация верховенства мужчин происходит посредством политизации гендерного различия: через введение универсальных гражданских прав и создание либерального гражданского общества. При этом проблема женских прав неизбежно оказывается вторичной по отношению к «общедемократическим задачам». Так, в Украине в процессе приватизации социально-экономические права женщин (в первую очередь, связанные с поддержкой семьи и материнства), обеспечиваемые через посредничество государственных предприятий, были принесены в жертву восстановлению прав частной собственности, необходимому для функционирования рыночной экономики. Между тем приватизация, создавшая класс собственников на средства производства (справедливо рассматриваемый как гарант нового социального порядка), закрепила маргинальное положение женщин в переходной экономике и соответственно их политическую исключенность.

В своих дальнейших рассуждениях я исхожу из того, что неолиберальная идеология «свободного рынка» конституирует женщину как маргинала и рассматривает эту социально-экономическую маргинальность как следствие «естественного» разделения труда между полами. Очевидность женской маргинальности скрыта за универсализмом либеральных прав и свобод, равно как и за универсализмом институтов рынка, претендующих на гендерную нейтральность. Однако эта маргинальность заложена на уровне политико-экономического дискурса, в рамках которого обсуждается проблема рынка и рыночных реформ. Теории «переходной экономики», обосновывающие становление социальных институтов рыночного общества как универсальных, «естественных» и справедливых, неизбежно маскируют их патриархатный характер.

Очевидно, что идеология «свободного рынка» опирается на престиж и авторитет экономической науки. Американский экономист Роберт Хайлбронер, оценивая роль экономической теории (economics) в современном западном обществе, отметил, что она выполняет идеологическую функцию обеспечения

уверенности в естественности и справедливости существующего социального порядка¹³. В переходных постсоциалистических обществах авторитет экономической науки послужил не только научному, но и культурному обоснованию необходимости рыночных реформ, поскольку она рассматривает рынок как форму социальной организации, в наибольшей степени отвечающую универсальной «человеческой природе». При этом культурные, религиозные, гендерные различия элиминируются в универсальной модели «рационального экономического человека».

В недавних работах, посвященных феминистской критике экономической теории, показано, что в ее основе лежит иерархический дуализм маскулинных и феминных определений и ценностей, рассматриваемых как ключевые и маргинальные: рынок противопоставит домохозяйствам, эффективность – справедливости, рациональность – эмоциональности, автономность – зависимости. Эта система оппозиций определяет категориальный аппарат экономической теории и отражает исторически сложившееся и закреплённое с помощью системы культурных кодов разделение труда между полами. Поскольку концепция рынка является ядром современной экономической теории, женщина как субъект экономических процессов оказывается маргинализованной именно в силу доминирования дискурса «свободного рынка» (подробно об этом в статье «Дискурс рынка и проблема гендера в экономической науке»). Представление о естественности и неизменности существующего гендерного разделения труда как одна из культурных предпосылок экономической теории служит целям легитимации социального порядка, основанного на рыночной экономике.

Поэтому господствующие теории перехода к рынку, опирающиеся прежде всего на неолиберальную экономическую парадигму, являются частью механизма, порождающего маргинализацию женщин в переходном обществе. Выдвигая экономическую рациональность и эффективность в качестве основных приоритетов реформ, рыночная идеология рассматривает ухудшение положения женщин в сфере занятости и резкое снижение уровня их социальной защищенности как неизбежное зло. В рамках господствующего политико-экономического дискурса женская проблематика оказывается вторичной и маргинальной, а женские организации, отстаивающие социальные приоритеты в экономике, – обреченными на «экономический романтизм».

4. Разрыв гендерного контракта «работающей матери» и физис советской женской идентичности

Одним из важнейших следствий крушения социализма стал разрыв гендерного контракта «работающей матери»¹⁴. Он предполагал, в частности, совмещение женщинами семейных и производственных функций при существенной поддержке государства (пособия работающим матерям, детские учреждения,

бесплатные медицинские услуги, протекционизм в сфере занятости). Этот гендерный контракт в период перестройки оказался предметом острой критики. Как либералы-рыночники, так и сторонники традиционных ценностей указывали на неэффективность «поголовной» женской занятости и ее высокие издержки для экономики, на необходимость предоставления женщине свободы выбора между семьей и карьерой. Даже немногочисленные феминистские критики указывали на то, что меры государственного патернализма снижают конкурентоспособность женщины на рынке труда¹⁵. В дальнейшем рыночные реформы и прежде всего приватизация государственной собственности привели к демонтажу экономической основы гендерного контракта «работающей матери».

В условиях нарастания экономических трудностей государственный патернализм советского образца не был заменен альтернативной социальной политикой, отвечающей потребностям переходной экономики. Обострение социальных проблем рассматривалось в рамках доминирующего дискурса как неизбежный побочный эффект рыночных реформ, и снижение жизненных стандартов широких масс населения привлекало внимание западных экспертов главным образом с точки зрения угрозы политической стабильности, опасности коммунистического реванша. Недаром в 1990-е гг. женщины-избиратели оказались в целом консервативнее мужчин, чаще последних отдавая предпочтение коммунистам и социалистам, обещавшим сохранение системы социальных гарантий и льгот.

Отсутствие продуманной социальной политики сочеталось на уровне официального политического дискурса с идеологией индивидуального предпринимательства как главного средства самоподдержки и выживания семьи в новых экономических условиях. Как было отмечено выше, частное предпринимательство было предложено «рыночниками» как главная стратегия самообеспечения и экономического выживания в новых условиях, как единственная альтернатива государственному патернализму в социальной сфере. Однако «на практике единицей самоподдержки является не индивид, а семья»¹⁶. Именно семья стала экономическим и социальным ресурсом постсоветских трансформаций. Демонтаж системы социальной защиты, рост цен на социальные услуги, ухудшение качества здравоохранения и коммерциализация образования вынудили женщин принять на себя дополнительное бремя социальных обязанностей. Женский труд, оплаченный и неоплаченный, был и остается важнейшим экономическим ресурсом, который обеспечил существование украинского общества в годы рыночных реформ, пока (прежде всего) мужчины были заняты приватизацией государственной собственности. Разрыв гендерного контракта «работающей матери» стал, таким образом, результатом радикальной реорганизации системы социального воспроизводства и перераспределения функций между семьей, государством и рынком.

Разрыв старого гендерного контракта оказал непосредственное влияние на формирование женских идентичностей в условиях постсоциализма. Гендерный контракт «работающей матери» был основой формирования гендерной идентичности советской женщины и предполагал двойную ориентацию – на материнство и выполнение семейных обязанностей, с одной стороны, и активность в публичной и профессиональной сфере – с другой. На протяжении советской истории это сочетание гендерных ролей было подвижным и всегда противоречивым. Как отмечают российские исследователи А. Темкина и Е. Здравомыслова, особенностью советской гендерной системы было сочетание эгалитарной идеологии женского вопроса, квазиэгалитарной практики и традиционных стереотипов¹⁷. Хотя в качестве основы обеспечения равноправия советская идеология рассматривала обязательное участие женщин в общественном производстве и даже поощряла женское лидерство и активизм, в повседневной жизни женщине предписывалась, скорее, вспомогательная роль. Результатом совмещения нескольких социальных ролей была более низкая производительность женского труда, связанная с меньшими инвестициями в человеческий капитал, более низкой квалификацией, перерывами в работе. Однако государство как монопольный работодатель с помощью системы протекционистских мер поддерживало женскую занятость, осуществляя через предприятия выплаты социальных дотаций и распределение льгот работающим матерям. В условиях, когда советские предприятия были не только посредниками в распределении товаров, услуг и социальных благ, но и важным источником коллективной идентичности, большинство женщин ощущали свою связь с трудовым коллективом или профессиональным сообществом как важную часть своего Я. Поэтому не только традиционная семейная роль жены и матери, но также социальная роль работника предприятия, члена трудового коллектива влияла на формирование гендерной идентичности советской женщины.

В то же время теневой стороной гендерного контракта «работающей матери» было двойное бремя обязанностей, тяжесть которого не могли компенсировать предоставляемые государством социальные услуги и дешевизна потребительских товаров. Низкое качество товаров, очереди, дефицит, неразвитость сферы услуг требовали затрат времени и сил, а недоступность гибких форм занятости делала совмещение семейных и профессиональных обязанностей особенно сложным. Женщина, вынужденная нести большую часть ответственности за семью и воспитание детей и работать вне дома, как правило, не получала достаточной поддержки от своего партнера и в то же время не обладала ресурсами для достижения подлинной экономической независимости.

С постепенным размыванием гендерного контракта работающей матери в позднесоветскую эпоху наметилась определенная дифференциация: в то время как одна часть женщин сталкивалась с барьерами на пути профессиональной карьеры и творческой самореализации, связанными с патриархатными сте-

реотипами, другая часть страдала от невозможности посвятить больше времени семье и не могла даже при желании отказаться от работы вне дома. По мере ослабления идеологического давления на поверхности оказались самые разнообразные стереотипы, убеждения и ценности, ставшие материалом для новых постсоветских женских идентичностей: прозападные настроения, диссидентский протест, неудовлетворенные потребительские ожидания, ожившие патриархатные стереотипы и в то же время – наследие советского эгалитаризма и советской социализации. Однако в силу разных причин «идентичность сопротивления» той части женщин, которые ощущали свою неудовлетворенность патриархатными ограничениями и скрытым гендерным неравенством, не смогла найти достаточных возможностей репрезентации. Советская идеология равенства была дискредитирована, а заимствованный язык западного женского движения оказался недостаточно адекватным постсоветской ситуации. Феминизм, лишенный связи с практическими женскими инициативами и с политической жизнью, оказался маргинальным интеллектуальным направлением, получившим крайне ограниченную поддержку даже в академической среде. Соответственно феминистская идентичность имела мало шансов на то, чтобы стать (согласно Кагельсу) идентичностью проекта.

Настроения второй части женщин, ориентированных на традиционные гендерные роли, коррелировали с изменениями в политическом дискурсе конца 1980-х гг.: с началом перестройки возможность предоставления женщинам права выбора между семьей и работой активно обсуждалась экспертами, журналистами и политиками. В данном случае «свобода выбора» между двумя альтернативными вариантами женской самореализации оказалась созвучна набирающему популярности неолиберальному дискурсу. Вопрос о «праве выбора» между семьей и карьерой был напрямую связан с попытками перевести советскую экономику в режим интенсивного развития и с сокращением спроса на рабочую силу, а также с изменениями в демографической политике. Одновременно западные стандарты потребления, проникающие в советское общество, порождали у обычных женщин все возрастающее чувство неполноценности. Недоступность западных стандартов потребления еще более подчеркивала исключительный статус тех, кто имел к ним доступ, – жен номенклатурных чиновников и валютных проституток¹⁸. Появление в массовом сознании эпохи перестройки привлекательного образа проститутки – «пионера рыночной экономики» – лучше всего характеризует смену не только идеологических приоритетов, но и механизмов формирования гендерной идентичности: от прямого идеологического воздействия партии и государства на процесс социализации до массового производства женских образов, предлагаемых в качестве моделей для подражания в сфере потребления.

5. Общество потребления и новые идентификационные модели

Гендерный контракт «работающей матери», служивший основой для самоидентификации большинства советских женщин, был расторгнут с распадом советской системы. Демократизация общества создала возможности для возникновения новых женских идентичностей, и их спектр, на первый взгляд, представляется достаточно широким. Однако в условиях переходного общества формирование этих новых коллективных идентичностей оказывается опосредованным рынком и основывается, как правило, на готовых моделях, предлагаемых массовой культурой и рекламной индустрией. Поэтому их кажущееся разнообразие может быть сведено в действительности к двум моделям – двум полюсам этого спектра: «деловая женщина» и «домохозяйка».

«Идентичность домохозяйки» коррелирует с эссенциалистской идеологией женского предназначения и основывается на традиционалистском понимании женской гендерной роли как главным образом жены и матери. Привлекательность этого типа идентичности является не просто следствием «патриархатного ренессанса»¹⁹ в постсоветском обществе, и рассматривать ее только негативно было бы неправильно. Появление «идентичности домохозяйки» было очевидной реакцией на определенную репрессированность «традиционной женственности» в условиях социализма, протестом против издержек навязанного сверху эгалитаризма. Первые его ростки были связаны с ослаблением идеологического пресса в середине 1980-х гг. и возрастанием автономии приватной сферы, переоценкой роли семьи. С началом экономических реформ и возникновением безработицы тема возвращения женщины к домашнему очагу стала особенно популярной в СМИ. Эти процессы имели место практически во всех постсоциалистических странах, с поправкой на особенности национальных и культурных традиций.

В украинском обществе появление «идентичности домохозяйки» было связано с обращением к традиционным ценностям украинской культуры и их мифологизацией в процессе возрождения украинской государственности (см. об этом главу «Старая идеология новой семьи»). В националистическом дискурсе особое место занимает миф об украинском матриархате, в соответствии с которым в прошлом «женщины традиционно играли важные социальные и экономические роли и обладали равенством в различии»²⁰. Поэтому неудивительно, что некоторые представители женского движения рассматривают возвращение женщины к традиционной роли в семье не только как условие возрождения украинской нации, но и как способ укрепления собственно женских позиций. В рамках этого типа дискурса женская идентичность конструируется путем новой интерпретации древнего языческого образа Березины – богини-хранительницы домашнего очага. Тем самым заимствуемая вместе с западной

культурой потребления «идентичность домохозяйки» получает дополнительную опору в традиционалистских ценностях украинской культуры.

В рамках рыночной идеологии «возвращение к женственности» оказалось неразрывно связанным со становлением общества потребления, проникновением в украинское общество западных стандартов потребления и стилей жизни. Многократное возрастание возможностей выбора товаров и услуг, новые специализированные журналы для женщин, теле- и радиореклама радикально изменили ситуацию в сфере потребления. Организация внутрисемейного потребления, досуга, воспитания детей в условиях постоянно расширяющегося выбора делают роль домохозяйки куда более привлекательной, чем в советские времена. Домашнее хозяйство и семья представляются самодостаточными с точки зрения реализации личности сферами женской активности. Через приобщение к потреблению как особому искусству, требующему знаний, опыта и таланта (механизм, описанный еще сорок лет назад Бетти Фридан применительно к американскому обществу) украинская женщина учится быть «подлинной» матерью, женой и хозяйкой.

Трудности и противоречия становления «идентичности домохозяйки» в постсоветскую эпоху рассматриваются в статье российской исследовательницы Елены Здравомысловой. По мнению автора, «советская гендерная культура является источником проблем, связанных с принятием роли домохозяйки»²¹. Одна из особенностей этой гендерной культуры состояла в том, что домашняя работа не рассматривалась как труд, требующий затрат времени и энергии, поскольку участие женщины в общественном производстве имело первостепенное значение. Поэтому принятие гендерной роли домохозяйки и формирование соответствующей идентичности существенно отличаются у представителей разных поколений. Если женщины старше 35 лет, имеющие стаж работы и профессиональный опыт, испытывали серьезные психологические трудности и переживали внутренний конфликт, молодые женщины с небольшим трудовым стажем или без такового сравнительно легко осваивали новую роль домохозяйки (особенно если этот переход был результатом выбора женщины и сопровождался ростом доходов мужа).

В то же время выбор в пользу «идентичности домохозяйки» связан не просто с изменением стиля жизни, но и с перераспределением гендерных ролей в семье и возникновением новой патриархатной идеологии. В основе этой идеологии, оправдывающей новое разделение труда внутри семьи, лежит представление о том, что «существуют особенности (биологические или «естественные»), связанные с полом, которые предопределяют гендерные роли в обществе и которые были поставлены под сомнение в ходе социалистического эксперимента»²². Эта новая гендерная идеология находит сегодня поддержку в переходном обществе на уровне официального политического дискурса, поскольку способствует адаптации женщин к новой социально-экономической ситуации

и служит одной из форм их включения в рыночное общество. В то же время она связана с возникновением новых форм гендерного неравенства и социального исключения, которые общество еще не научилось распознавать.

Второй тип идентичности – «идентичность деловой женщины» – в условиях современной Украины представляет собой сочетание противоречивых элементов. Как уже отмечалось, идеология «свободного рынка» и связанная с ней идентификационная модель «независимого предпринимателя» имеет скрытый гендерный подтекст. Она ассоциируется с ролью «кормильца семьи» и неявно предполагает возвращение к традиционному распределению гендерных ролей. Поэтому женщина-предприниматель в украинском обществе неизбежно сталкивается с необходимостью двойного сопротивления. Она вынуждена реализовывать свои инициативы в условиях риска, отсутствия правовых гарантий, политической и экономической нестабильности. В то же время ей приходится противостоять не только бюрократической системе, блокирующей ее инициативу как предпринимателя, но и патриархатным стереотипам, гендерной дискриминации в мужской деловой среде. В этом смысле «идентичность деловой женщины» в условиях современного украинского общества может рассматриваться как форма «идентичности сопротивления». В то же время она не исключает принятия традиционных гендерных ролей, и «деловая женщина» нередко противопоставляет себя феминизму и женскому движению. В среде женщин-предпринимателей (и в их организациях) задачи защиты и поддержки бизнеса рассматриваются как первостепенные по отношению к интересам и правам женщин.

В то же время «идентичность деловой женщины» в условиях становления рыночной экономики и капитализма в Украине представляет собой форму легитимирующей идентичности. Образ успешной женщины-предпринимательницы, внедряемый через средства массовой информации, выполняет функцию легитимации нового социального порядка, подобно тому как образ счастливой советской работницы использовался коммунистической пропагандой для легитимации советской системы. Единичные случаи успешной женской карьеры в бизнесе не угрожают стабильности нового постсоветского патриархата, а скорее укрепляют веру в универсальность и справедливость социального порядка, основанного на рыночной экономике.

При этом представление об «особой роли» женского предпринимательства в Украине часто согласуется с консервативной идеологией «женского предназначения» и оказывается вписанным в проект «возрождения украинской нации». Национальный архетип Березини определяет место женщины в современном украинском политическом дискурсе. Например, в выступлениях участников первой всеукраинской конференции «Женщина и предпринимательство» в Донецке в сентябре 1997 г. говорилось об особой миссии женщины в бизнесе и политике, которая состоит в том, чтобы исполнить «традиционно женское пред-

назначение – выпестовать младенца, имя которому украинское государство», решить задачу «воссоздания нравственных ценностей, духовного потенциала нации, восстановления мотивации к труду, внесения в сферу бизнеса этических норм и ценностей»; утверждалось, что «задачей женского предпринимательства является благотворительность, возрождение интеллектуального и научно-технического потенциала нации». При этом участницы конференции не устали напоминать друг другу об обязанностях биологического воспроизводства и сохранения семьи. Такое вменение женщине ее «естественного» предназначения как на уровне семьи, так и на уровне нации, навязывание особой роли Березини – хранительницы моральных устоев бизнеса и общества – формирует гендерные основы идеологии «свободного рынка» и рыночного общества. Механизмы дискриминации, действующие на уровне политического дискурса, меняют женщине-предпринимательнице особую «моральную» функцию, на деле выталкивая ее в маргинальные экономические ниши.

Поощрение активного участия женщин в бизнесе, обеспечение равного доступа к экономическим ресурсам общества является, как известно, политикой западного либерального феминизма. Именно под его влиянием в украинском женском движении была сформулирована стратегия «адаптации женщин к условиям рынка», предполагающая различные программы информационной, образовательной и технической поддержки для женщин-предпринимателей. Однако адаптация предполагает не критическое принятие политики неолиберальных реформ с ее социальными издержками и отношение к рынку как к «естественной» среде, к которой можно только приспособиться. Тем самым в условиях рыночной экономики воспроизводится маргинальный и зависимый статус женщины.

Оказывается, что, несмотря на кажущуюся противоположность, и «идентичность деловой женщины», и «идентичность домохозяйки» являются продуктом рыночной идеологии и воспроизводства гендерных стереотипов в сфере потребления. Выбор новой идентичности строится во многом на основе моделей, предлагаемых западной культурой, которые в то же время вписываются в символическую систему украинского общества. Рыночная мотивация, консьюмеризм, патриархальные стереотипы, элементы традиционализма и национализма служат основой для идентификационных моделей «деловой женщины» и «домохозяйки». Рынок, предлагающий вместе с разнообразием товаров определенный набор жизненных стилей и идентичностей, подтверждает их социальную значимость соответствующей рекламой. С этой точки зрения идентичности «деловой женщины» и «домохозяйки» отличает только набор товаров, задающий с помощью сопутствующей рекламы тот или иной стиль жизни и желаемые социальные качества (деловитость, профессионализм, компетентность или хозяйственность, женственность, сексуальность). В западной феминистской литературе эти механизмы хорошо изучены. Однако в переходном обществе

эта взаимосвязь формирования идентичности и практик потребления далеко не очевидна, ибо расширение свободы потребительского выбора рассматривается с точки зрения неолиберальной идеологии как одно из условий освобождения личности от коммунистической идеологии, преодоления тоталитаризма.

6. Проблема экономического выживания и женская идентичность

Становление общества массового потребления в Украине 1990-х гг. происходило на фоне быстрого социального расслоения и растущей маргинализации значительных групп населения, а также крайне медленного формирования среднего класса. В условиях экономического кризиса первые ростки общества потребления соседствовали с примитивными формами экономики выживания (стихийные уличные рынки, «неформальный бизнес», натурализация домашнего хозяйства и возрастание объемов домашнего труда). Западные стандарты массового потребления были доступны только узкому слою населения, в то время как его основная часть оказалась исключена из нового потребительского рая. Это несоответствие обнажило существующий зазор между идеологией «свободного рынка» и реальностью переходного общества, решающего повседневные проблемы выживания.

Хотя на уровне публичного дискурса украинским женщинам были предложены две основные идентификационные модели – «домохозяйка» и «деловая женщина», они практически не нашли опоры в повседневной жизни переходного общества. «Домохозяйка как профессия», так же как карьера деловой женщины, была в первое постсоветское десятилетие доступна немногим. Реальная экономическая ситуация, а именно высокий уровень скрытой безработицы, снижение жизненного уровня населения, многомесячные задержки с выплатой заработной платы, пенсий и пособий, банкротство государственных предприятий и отсутствие условий для развития легального малого бизнеса вынуждали многих женщин искать возможности занятости в неформальном секторе. Следствием этой критической ситуации стало также вынужденное обращение многих женщин к домашнему хозяйству как главному ресурсу экономического выживания семьи (использование подсобного хозяйства даже городскими семьями в целях обеспечения необходимыми продуктами). Типичным для украинской семьи в 1990-е гг. стало совмещение различных видов различного мелкого бизнеса с расширением функций домашнего хозяйства. Эта модель домохозяйства отличается от западной семьи как преимущественно потребительской единицы большим удельным весом производственных форм деятельности в бюджете времени. Поэтому и постсоветская «идентичность домохозяйки» имеет мало общего с западным образцом как атрибутом общества потребления.

Некоторые виды неформальной экономической деятельности могут быть смело названы женскими (уличная торговля, челночный бизнес). Создавая дополнительный, а часто и основной доход семьи, они тем не менее остаются социально не признанными и экономически маргинальными. Риск, нестабильность, отсутствие перспектив профессионального и личностного роста непосредственно влияют на профессиональную и гендерную идентичность женщин, вовлеченных в эти виды деятельности. Результаты проводимого мною исследования показали, что женщины, занятые неформальным мелким бизнесом, как правило, не видят себя предпринимателями: их мотивацией является скорее забота о нуждах семьи в целом, чем абстрактное желание заработать деньги²³. Они определяют себя как обычных женщин, вынужденных предпринимать дополнительные усилия для экономического выживания семьи, улучшения условий жизни, создания домашнего уюта или решения конкретной задачи (например, крупной покупки, оплаты обучения ребенка или предстоящей свадьбы). Однако для многих из них приобретение новых знаний и навыков, расширение границ коммуникации приводят к трансформации идентичности и пересмотру ролей в семье. Женщины, занятые мелким неформальным бизнесом, отнюдь не являются пассивными жертвами обстоятельств, они мобилизуют имеющиеся ресурсы и социальный капитал для создания сетей взаимной поддержки и выстраивания альтернативных бизнес-стратегий, находят и обживают экономические ниши, неинтересные «нормальному» бизнесу.

Изменения идентичности женщин, занятых в неформальной экономике, в значительной степени зависят от их прошлого социального статуса, профессии, стажа и возраста. Женщины без высшего образования и с опытом работы, связанной с выполнением второстепенных или обслуживающих функций, адаптируются к этим видам деятельности лучше всего, поскольку не имеют амбиций профессионального и личностного роста. Возраст также является существенным фактором: молодые женщины, особенно безработные и домохозяйки, как правило, не переживают внутреннего конфликта и кризиса идентичности, связанных с обращением к этой деятельности. Однако для женщин, вынужденных оставить свою постоянную работу, не приносящую достаточного заработка, но предоставляющую возможность самореализации (например, преподавательская деятельность), обращение к неформальному бизнесу оказывается не только крушением профессиональных и личных планов, но и часто ведет к кризису идентичности. Существенным фактором является степень успешности бизнеса. Успех, чувство уверенности в себе, достижение новых материальных стандартов влияют на самоидентификацию женщины и способствуют принятию изменений, произошедших в ее жизни. Однако даже в этом случае общая социальная и экономическая нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне снижают ее удовлетворенность своими достижениями.

В украинской литературе по гендерным проблемам существует точка зрения, что современная экономическая ситуация способствует мобилизации исторического потенциала «женского семейного лидерства», присущего украинской культуре. Лидирующая роль женщины в семье, готовность взять на себя ответственность за ее выживание и благополучие и большая, чем у мужчин, способность адаптироваться к изменениям имеют исторические корни²⁴. Эта точка зрения, требующая дополнительных исследований, имеет под собой определенные основания. В XIX в. Украина была преимущественно аграрной страной; многие мужчины вынуждены были работать сезонно вдали от дома. К началу XX в. городской пролетариат состоял главным образом из недавно прибывших из села крестьян. В результате многие крестьянские хозяйства временно или постоянно управлялись женщинами. Эти тенденции были усилены экономической и политической эмансипацией женщин после революции 1917 г. В условиях значительной убыли мужского населения после войн и репрессий роль женской рабочей силы в экономике, как и степень экономической независимости женщин, существенно возросла. Значительная часть послевоенного поколения воспитывалась в неполных семьях. В позднесоветскую эпоху женщины, как правило, несли на себе основное бремя семейных обязанностей и ответственности, в то время как мужчины обладали скорее номинальным авторитетом в семье. В то же время в экономике и в обществе в целом, несмотря на официальную политику равенства полов и социальную поддержку государства, женщины были практически лишены доступа к принятию решений. Поэтому рыночные реформы, которые лишили женщин формальных завоеваний социализма, в то же время имели и другой эффект – исторически сложившаяся модель «неформального женского лидерства» внутри семьи была востребована в новых условиях. Таким образом, украинская реальность в 1990-е гг. оказалась далека от обоих полюсов, воплощенных в женских символах «свободного рынка»: успешной бизнес-леди и счастливой домохозяйки, удовлетворенной своей ролью жены и матери.

***Заключение:
возможности «идентичности сопротивления»
и перспективы украинского феминизма***

Некоторые исследователи уже указывали на существование «парадокса восточноевропейского (анти)феминизма»: утрата социальных прав и гарантий занятости, которыми женщины обладали при социализме, не привела к появлению массового независимого женского движения²⁵. Украинские женские организации, возникшие после провозглашения независимости в 1991 г., за редким исключением, ищут поддержку у влиятельных политических сил и не имеют особого влияния на широкие женские массы. Несмотря на количественный рост, женское движение не стало самостоятельным политическим фак-

тором в постсоветской Украине. Используя цитированное выше определение Кастельса, можно сказать, что новые женские идентичности в Украине являются прежде всего легитимирующими идентичностями, которые в целом поддерживают и оправдывают переход к новому социальному порядку. Общеполитические приоритеты украинского женского движения – рыночные реформы, демократизация, национальное и государственное строительство – доминируют над собственно женскими интересами и целями, а «женское» традиционно сводится к сфере семьи и материнства.

Как отмечала Пегги Ватсон, западный феминистский дискурс основан на допущении, что «политические идентичности, которые в действительности специфичны для каждого исторического периода, скорее предшествуют демократизации, чем являются ее результатом. Именно это универсализирующее допущение предопределяет видение демократии как предоставляющей свободу для выражения для уже существующих политических идентичностей, включая как феминистскую, так и национальную идентичности, которые коммунизм просто “подавлял”»²⁶. Женские «идентичности сопротивления», предполагающие вызов традиционным ценностям и институтам патриархата, являются скорее исключением в современном украинском обществе. Как было показано выше, новые идентичности, связанные с рыночной либерализацией и доминирующей идеологией свободного рынка, основываются, как правило, на традиционном понимании гендерных ролей, приспособленных к новой ситуации.

Заимствуя теоретические конструкции западного феминизма для анализа ситуации в Украине, очевидно, следует принимать во внимание особенности организации отношений власти и место в них гендера. Государственный социализм воспроизводил не только «советских женщин», но и «советских мужчин», хотя механизмы социального конструирования полов были различными. И хотя неравенство и иерархия полов сохранялись, советская система не может быть адекватно описана в терминах патриархата. Именно переход к рыночной экономике и либеральной демократии (приватизация государственных предприятий и развитие частного бизнеса, возрастание роли семьи и ее автономии от государства, закрепление раздела на публичную и приватную сферы) создал экономические и политические предпосылки патриархата и, соответственно, возможности сопротивления новой системе господства. В то же время ряд особенностей «переходного общества» не способствовал осознанию женщинами своих социальных и экономических интересов как групповых, отдельных или противостоящих интересам мужчин. На протяжении первого постсоветского десятилетия, когда скорее семья, чем отдельная личность, оказалась единицей экономического выживания и адаптации к рынку, отсутствие поддержки идей феминизма среди женщин вполне объяснимо. Призывы к защите женских прав даже внутри женского движения часто воспринимаются как проявление феминистской агрессии против мужчин, разделяющих вместе со своими семьями тя-

готы перехода к рынку и взявших на себя роль кормильца в условиях «дикого капитализма».

Неудивительно, что в Украине оказался востребован скорее миф о традиционном для национальной культуры матриархате, в соответствии с которым женщина в этом обществе исторически обладала высоким статусом в семье, а материнство окружалось почетом и уважением. Поэтому возрождение исторических традиций и ценностей, возвращение к национальным истокам представляется для большей части женского движения более приемлемой стратегией решения проблем женщин, чем заимствованный на Западе либеральный феминизм.

Таким образом, неолиберальная идеология рыночных реформ, легитимирующая переход от социализма к капитализму, и, соответственно, разрыв гендерного контракта «работающей матери», предлагает женщинам в основном две новые модели для идентификации: домохозяйка и деловая женщина. Тиражирование этих образов посредством масс-медиа, рекламы и других культурных механизмов мобилизует в Украине мифы «матриархата» и Березини – хранительницы очага. Тем самым возможности альтернативного женского политического дискурса, как и перспективы «идентичности сопротивления», для украинских женщин оказываются ограниченными. На уровне семьи интересы женщин подчинены, как правило, целям экономического выживания и адаптации к условиям рынка. Женщины, зачастую вынужденные совмещать традиционные женские роли и мужскую функцию кормильца, вынужденно жертвуют своими индивидуальными интересами ради семьи. В то же время на национальном уровне задача возрождения украинской нации и государственного строительства доминирует над такими «второстепенными» проблемами, как гендерное неравенство и права женщин. Преодоление государственного патернализма через участие женщин в рыночной экономике, так же как обретение ими власти посредством мобилизации традиций матриархата, представляется не более чем иллюзией.

2001

Примечания

- ¹ Ricoeur, P. Lectures on Ideology and Utopia / P. Ricoeur. NY, 1986.
- ² Ibid. P. 186.
- ³ Castells, M. The Information Age. Economy, Society and Culture. Volume 2. The Power of Identity / M. Castells. Oxford, 1997. P. 6.
- ⁴ Ibid. P. 8.
- ⁵ Andor, L. Market Failure: A Guide to the Eastern European “Economic Miracle” / L. Andor, M. Summers. London, 1998. P. 32.
- ⁶ Ibid. P. 35.
- ⁷ Радаев, В. Экономическая социология / В. Радаев. М., 1998. С. 322.

- ⁸ Мельвиль, А. Демократический транзит в России – сущностная неопределенность процесса и его результата / А. Мельвиль // Альманах “Космополис”. М., 1997. С. 60.
- ⁹ Fukuyama, F. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* / F. Fukuyama. Penguin Books, 1995.
- ¹⁰ *Women in Russia: A New Era in Russian Feminism* / ed. by A. Posadskaya, London; NY, 1994; *Women in Russia and Ukraine* / ed R. Marsh. Cambridge, 1996; Einhorn, B. *Cinderella Goes to Market: Citizenship, Gender and Women’s Movements in East Central Europe* / B. Einhorn. London, 1993; Funk N. *Gender Politics and Post-Communism* / N. Funk, M. Mueller. NY; L., 1993.
- ¹¹ Einhorn, B. *Ironies of History. Citizenship Issues in the New Market Economies of East Central Europe* / B. Einhorn // *Women and Market Societies: Crisis and Opportunity* / eds. B. Einhorn, E. J. Yeo. Aldershot; Brookfield, 1995. P. 217–233.
- ¹² Watson, P. (Anti)feminism after Communism / P. Watson // *Who’s afraid of Feminism?* / ed. by A. Oakley, J. Mitchell. NY, 1997. P. 146.
- ¹³ Heilbroner, R. *Behind the Veil of Economics* / R. Heilbroner, NY, 1989. P. 185–199.
- ¹⁴ Здравомыслова, Е. Социальная конструкция гендера и гендерная система в России / Е. Здравомыслова, А. Темкина // *Материалы Первой Российской летной школы по женским и гендерным исследованиям “Валдай-96”*. М., 1997. С. 85.
- ¹⁵ Mezentseva, Y. *Equal Opportunities or Protectionist Measures? The Choice Facing Women* / Y. Mezentseva // *Women in Russia* / ed. by A. Posadskaya. С. 109–122.
- ¹⁶ Barrett, M. *The Anti-Social Family* / M. Barrett, M. McIntosh. London, 1994. С. 40.
- ¹⁷ Здравомыслова, Е., Темкина, А. Социальная конструкция гендера... С. 87.
- ¹⁸ Lissyutkina, L. *Soviet Women at the Crossroads of Perestroika* / L. Lissyutkina // *Gender Politics and Post-Communism* / eds. N. Nanette, M. Mueller. NY; London, 1993. P. 274–286.
- ¹⁹ Posadskaya, A. *Introduction* / A. Posadskaya // *Women in Russia*. P. 4.
- ²⁰ Rubchak, M. *Christian Virgin or Pagan Goddess: Feminism Versus the Eternally Feminine in Ukraine* / M. Rubchak // *Women in Russia and Ukraine* / ed. R. March. Cambridge, 1996. P. 315–316.
- ²¹ Здравомыслова, Е. *Problems of Becoming a Housewife* / E. Zdravomyslova // *Women’s Voices in Russia Today* / eds. A. Rotkirch, Haavio-Mannila. Brookfield; Dartmouth, 1996. P. 34.
- ²² Ibid. P. 45.
- ²³ См. главу “Женщины в челночном бизнесе: между эмансипацией и самоэксплуатацией”.
- ²⁴ См.: Rubchak, M. *Christian Virgin*...
- ²⁵ Watson, P. (Anti)feminism... P. 144–161.
- ²⁶ Ibid. P. 45.

ЖЕНЩИНЫ В ЧЕЛНОЧНОМ БИЗНЕСЕ: МЕЖДУ ЭМАНСИПАЦИЕЙ И САМОЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

Существенной тенденцией переходной экономики Украины в 1990-е гг. стал быстрый рост занятости населения в неформальном секторе, появление маргинальных форм экономической деятельности (мелкая торговля, шопинг-туризм, различного рода частные услуги и т.д.). Особая роль в неформальной экономике принадлежит женщинам. Они несут на себе основную тяжесть социальных издержек рыночных реформ и вынуждены вырабатывать альтернативные экономические стратегии исходя из своих ограниченных возможностей. Некоторые маргинальные формы экономической активности можно смело назвать «женскими». Зачастую они требуют не меньшей выносливости, предприимчивости и готовности к риску, чем традиционно мужские, и в то же время представляют собой стихийно возникшие «ниши» в экономической системе переходного общества, в силу ряда причин (низкой доходности, малой капиталоемкости) доступные женщинам.

К таким новым видам экономической деятельности, возникшим в результате экономической либерализации, относится челночный бизнес. Его развитие стало возможным в связи с открытием границ, возрастанием свободы передвижения в постсоветском обществе, либерализацией экономики и разрешением свободы частной торговли. В 1990-е гг. «челноками» стали называть людей, совершающих регулярные коммерческие поездки в другие страны (города) с целью покупки и последующей перепродажи товаров на местном рынке. Согласно оценкам специалистов и данным прессы, женщины составляют 60–70% челноков. Женщины-челночницы занимают весьма неустойчивую промежуточную позицию между старой и новой экономическими системами, пытаясь воспользоваться преимуществами рыночной свободы и в то же время испыты-

вая на себе основную тяжесть проблем переходной экономики. Иными словами, они не побоялись радикально изменить свою жизнь, избрав новую рискованную модель экономического поведения, но в то же время не обладают достаточными ресурсами и социальным капиталом, чтобы покинуть маргинальную нишу челночного бизнеса.

В данной статье предпринимается попытка анализа феномена женского участия в челночном бизнесе, главным образом с точки зрения мотивации, выбора стратегии, трансформации гендерных ролей¹. Один из моих главных тезисов состоит в том, что риск, нестабильность, социальная и правовая незащищенность, а также сохраняющаяся стигматизация этого вида деятельности как «спекуляции» оказывают влияние на личную и профессиональную идентификацию женщин, постоянно или эпизодически занимающихся челночным бизнесом.

1. Методология исследования

Статья основывается на материалах исследования, проведенного мною в г. Харькове (Украина) в 1996–1997 гг. Харьков – один из крупнейших городов Украины с населением около полутора миллиона человек, промышленный и научный центр. В 1990-е г. женская безработица оказалась здесь серьезной проблемой в связи с реструктуризацией государственного сектора, экономическим кризисом и проблемами с финансированием бюджетной сферы (образование, здравоохранение, культура). В то же время в Харькове функционирует несколько вещевых рынков, в том числе Барабашово – один из крупнейших оптовых рынков Украины. Бурно развивающаяся сфера торговли предлагает женщинам новые возможности трудоустройства и частной инициативы.

Исследование проводилось с использованием качественных методов – была проведена серия биографических интервью с женщинами-челночками. В процессе исследования было проинтервьюировано 12 женщин, имеющих различный жизненный опыт, социальное положение, семейный статус, возраст и стаж работы в челночном бизнесе. Возраст интервьюируемых колебался от двадцати четырех до сорока семи лет. Семь из двенадцати женщин были замужем, девять имели детей (как правило, одного, реже двух), четверо были матери-одиночками. Половина женщин имели высшее образование (одна из них – даже степень кандидата наук). Стаж работы в челночном бизнесе колебался от одного года до семи лет. Для одной трети интервьюируемых женщин челночный бизнес был главным занятием. Другие занимались этим эпизодически и сочетали с основной профессиональной деятельностью. Большинство имели профессии учителя, инженера, технолога или экономиста, однако на момент интервью многие находились в неоплачиваемом отпуске или были без работы. Двое имели

предшествующий опыт работы в государственной торговле. Все интервьюируемые были жительницами Харькова.

Биографическое интервью было избрано в качестве основного метода исследования. Каждой из респонденток была объяснена цель исследования, определено время для интервью и сформулирован основной вопрос: «Каков Ваш опыт участия в челночном бизнесе?» В конце рассказа респонденткам были заданы дополнительные вопросы для уточнения некоторых моментов. В ходе интервью и последующего анализа записей основное внимание было уделено следующим моментам: причины, вынуждающие женщин обращаться к челночному бизнесу, проблемы, с которыми они сталкиваются, челночный бизнес и гендерные роли, социальное самочувствие, личные и профессиональные перспективы респонденток. Характерно, что реакция интервьюируемых на мои вопросы была, особенно в начале разговора, довольно сдержанной, отражая их опыт работы в полуправовой сфере, правовой и социальной незащищенности.

Не следует забывать, что положение женщин в украинской академической науке в середине 1990-х гг. было немногим лучше положения женщин-челноков. Падение престижа академической науки, кризис финансирования и постоянные задержки с выплатой заработной платы и в то же время появление новых альтернативных источников финансирования и возможностей зарубежных поездок поставили университетских женщин перед похожими вызовами. Поэтому моя ситуация как исследователя и жизненные ситуации интервьюируемых женщин имели много общих точек соприкосновения: социальная незащищенность, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, а также необходимость действовать гибко и инновативно, с учетом имеющихся ресурсов. Это создавало условия для взаимопонимания и неформального общения, не только облегчая контакт, но также позволяя обсуждать вопросы, которые не являются пока частью публичного и академического дискурса² (особенно в Украине).

В то же время разница в стилях жизни и моделях профессионального и жизненного успеха обусловила определенные коммуникационные проблемы. Женщины, имеющие многолетний опыт челночного бизнеса, и особенно те, кто сумел добиться определенного материального успеха в этой сфере, занимали зачастую покровительственную позицию по отношению к интервьюеру. Однако общение с ними было все же не столь проблематично, как с теми женщинами, кто имел высшее образование и еще недавно – достаточно высокий социальный статус. Они были склонны рассматривать карьеру челнока скорее как свидетельство личного и профессионального поражения и испытывали чувство фрустрации. Ситуация интервью и статус интервьюируемой, особенно в качестве челнока, вызывали у них особый дискомфорт. Такие аспекты, как власть и социальный престиж, невозможно исключить из контекста исследования, однако в тех случаях, когда интервьюируемый и интервьюер имеют одинаковое

социальное происхождение и образование, но разный социальный статус, они играют особую роль.

2. Проблема экономической маргинальности

Хотя маргинальные формы бизнеса занимают особое место в постсоветской переходной экономике, в научном экономическом и социологическом дискурсе переходного общества они практически не представлены. При этом положение женщин в этой сфере, их опыт самостоятельной предпринимательской инициативы и новые формы дискриминации, с которыми им приходится сталкиваться, – все эти вопросы подвергаются двойному замалчиванию, и женщины-челноки остаются «невидимыми» в системе социального знания.

В западной научной литературе существует несколько критериев определения маргинальной экономической деятельности: 1) это экономическая деятельность, не учитываемая в валовом национальном продукте; 2) деятельность, уходящая из-под налогообложения; 3) деятельность, протекающая вне регулируемой рыночной системы, вне сферы государственного законодательства, иногда – запрещенная законодательством. Очевидно, следует добавить сюда четвертый критерий, имеющий особое значение для переходного общества, – это деятельность, не являющаяся социально признанной, маргинальная для господствующего публичного дискурса.

В литературе, посвященной проблемам неформальной экономики, отмечалось, что сама эта категория несет в себе политическое и идеологическое содержание, определяющее ежедневные интерпретации проблем бедности и безработицы и оказывающее влияние на экономическую политику³. Поэтому весьма показателен выбор понятий, наиболее часто используемых для обозначения маргинальных форм экономической деятельности. Уже подбор эпитетов, которые характеризуют эту сферу экономической деятельности (скрытый, черный, нелегальный и пр.), позволяет судить о предвзятом отношении к этому явлению как со стороны массового сознания, так и научного сообщества. Социально обусловленные конструкции языка и понятийного аппарата науки содержат скрытую посылку, позволяющую считать «неформальную» экономику частью социальной реальности, отличительные особенности которой противопоставляют ее «нормальным» экономическим отношениям.

При этом бросается в глаза существенная разница в том, как терминологически определяется это явление в западных и в постсоциалистических странах. Наиболее часто употребляемое в западной литературе понятие – *informal economy*, которое указывает главным образом на неофициальный статус такого рода деятельности, неподконтрольность ее государству, а также *self-employment*, подчеркивающее независимость и личную инициативу экономического агента, – редко встречаются в украинской литературе. Вместо него преобладает

понятие «теневая экономика», неизбежно связанное с криминализацией всех попадающих под это определение форм экономической активности, ассоциирующееся с насилием и организованной преступностью. И хотя криминал в постсоветской экономике действительно имеет место, это не снимает вопроса о том, почему самые различные экономические явления (финансовые махинации, подпольное производство, мелкая торговля, семейный бизнес) рассматриваются недифференцированно в категориях «теневой экономики». По-видимому, поверхностная рыночная политическая риторика отнюдь не исключает того, что публичный дискурс постсоветского общества по-прежнему во многом определяется бессознательным недоверием к любой несанкционированной властью частной инициативе.

Хотя понятие «неформальной экономики» связано прежде всего с опытом экономического развития и урбанизации в странах третьего мира⁴, масштабы неформального сектора также велики в переходной постсоциалистической экономике. Согласно различным источникам, неформальный сектор составляет от 40 до 60% ВВП, а за его счет в той или иной степени живет до 70% населения Украины. Часто маргинальная экономическая деятельность становится основной формой занятости и единственным источником дохода, хотя женщина или мужчина формально числятся работающими на государственном предприятии. Кроме того, она может носить как рыночный, так и нерыночный характер (что особенно характерно для женского труда) или принимать переходные формы (например, продажа излишков продукции, выращенной на подсобном участке для внутреннего потребления семьи).

В постсоциалистической экономике маргинальная экономическая деятельность занимает особое место по сравнению как с западными странами, так и с третьим миром. Это связано со слабостью правового государства, с исторически сформировавшимся асинхронизмом между законодательной системой и экономической реальностью, а также с форсированной приватизацией и реструктуризацией еще недавно доминировавшего государственного сектора. Тем не менее постсоциалистическую экономику объединяют с постколониальной общие особенности: тенденция к перераспределению национального богатства в пользу привилегированной элиты и бюрократия, блокирующая частную инициативу граждан.

Чтобы правильно оценить роль маргинальной экономической деятельности в современной украинской экономике, следует признать, что неформальный сектор существовал в Украине, как и во всем СССР, и до начала рыночных реформ. Понятие «теневая экономика» в позднесоветский период объединяло совершенно разнопорядковые экономические явления (подпольное цеховое производство, валютная спекуляция, шоппинг-туризм, махинации в сфере государственной торговли и услуг, мелкая частная торговля, частные услуги). Большинство этих явлений, постоянно воспроизводимых в условиях экономики де-

фицита и в то же время жестко пресекаемых государством, квалифицировалось как экономические преступления. Такие формы маргинальной экономической деятельности, как сезонная работа, «шабашка», оказание различных платных услуг или мелкая торговля, хотя и не были запрещены государством непосредственно, однако рассматривались как нежелательные и подлежащие постепенному искоренению. В последние годы существования советского режима исключение составляла только лишь деятельность на принадлежащих горожанам приусадебных участках, поощряемая как одна из мер, направленных на решение продовольственной проблемы. Общей политикой в отношении неформальной экономики было ее полное игнорирование в научных исследованиях и прессе (за исключением криминальной составляющей). На рубеже перестройки широкомасштабная кампания по борьбе с «нетрудовыми доходами» стала последней попыткой советского режима поставить частную инициативу под контроль государства.

Очевидно, пора сделать вывод о том, что рыночные реформы в условиях постсоциализма не вызывают к жизни частный бизнес «западного образца» автоматически, а во многом воспроизводят в модифицированном виде массовые предпринимательские практики, характерные для экономики государственного социализма. Маргинальная экономическая деятельность в современной украинской экономике восходит корнями к этим предпринимательским практикам.

Можно предположить, что в той мере, в какой маргинальная экономическая деятельность была индивидуальным предприятием «на свой страх и риск» и не входила в серьезные противоречия с законом, она была доступна женщинам, особенно в области традиционных для них услуг (например, пошив одежды, присмотр за детьми, услуги домработницы). Эти виды деятельности представляли собой экономические ниши для женщин, ограниченных в других, доступных мужчинам возможностях частной инициативы и дополнительного заработка. Женские формы участия в неформальной экономике тем более не находили отражения в научных исследованиях. В советской социологии исследования, связанные с женской проблематикой, касались в основном традиционных форм занятости женщин в государственном секторе, соотношения их профессиональной деятельности и семейных обязанностей. Все формы экономической деятельности, выходящие за рамки формальной занятости в государственном секторе, игнорировались официальной наукой. Быстрое развитие неформального сектора и преимущественное участие в нем женщин до сих пор не нашли отражения в украинской научной литературе. Если старая марксистская парадигма в социальных науках игнорировала проявления частной инициативы, то новая нелиберальная парадигма «рыночной экономики» рассматривает неформальный сектор в качестве переходного, временного явления. В связи с этим социология склонна изучать скорее участие женщин в бизнесе, чем в неформальной экономике, хотя масштабы последнего несомненно значительно больше.

Обращение к маргинальным формам экономической деятельности в Украине 1990-х гг. связано в первую очередь с возрастанием безработицы и резким падением жизненного уровня вследствие экономического кризиса. При этом предприятия, в первую очередь остающиеся пока в государственной собственности, предпочитают предоставлять неоплаченные отпуска и задерживать выплату заработной платы, чем оплачивать пособие по безработице. Поэтому официально зарегистрированных безработных в 1996 г. насчитывалось всего 1,27%, зато в долгосрочных неоплачиваемых отпусках побывало 20% работающих на госпредприятиях. Этот контингент формально занятых, но фактически имеющих свободное время женщин и мужчин можно рассматривать как потенциальных челноков.

Наличие гендерных диспропорций на рынке труда подтверждают данные: в 1996 г. 67 из 100 безработных в Украине составляли женщины. Не секрет, что полная занятость в социалистической экономике обеспечивалась во многом за счет неэффективного и необоснованного экономического создания дополнительных рабочих мест. Заложницами этой политики обеспечения полной занятости и оказались прежде всего женщины⁵. Именно они составляли в советской экономике большую часть низшего и среднего управленческого персонала, основную массу рядовых инженеров, конструкторов, экономистов, технических работников. В структуре занятости они занимали те рабочие места, по которым прошелся основной удар безработицы последних лет⁶. В тяжелом положении оказалась также бюджетная сфера (здравоохранение, образование). Постоянные сокращения рабочих мест и многомесячные задержки выплаты заработной платы привели к обнищанию работников государственной сферы и их семей (учителя, врачи, воспитатели детских садов – главным образом женщины). Даже в шахтерских регионах, переживающих экономический кризис, большинство безработных составляют женщины. Мужчины зачастую находят работу в соседней России, но вот женщины теряют работу окончательно: вместе с остановкой шахты перестает функционировать вся зависящая от нее социальная инфраструктура, а значит, исчезают женские рабочие места.

В то же время возможности развития легального малого бизнеса, частной предпринимательской инициативы ограничены для украинских женщин по целому ряду причин. Во-первых, это закрытый характер украинского бизнеса, строящегося в первую очередь на кровно-родственных, клановых отношениях, на использовании потенциала бывших партийных и комсомольских связей. Во-вторых, жесткий, силовой характер взаимоотношений и способов разрешения конфликтов⁷, слабость правовых и моральных регуляторов в деловой сфере, полукриминальный характер значительной части украинского бизнеса ставят женщину-предпринимателя в исключительно сложные условия, навязывая мужские правила игры. В-третьих, маскулинизация украинского бизнеса связана с общей культурной тенденцией «ренессанса патриархата» в посткоммунисти-

ческих обществах, тяготения к традиционным гендерным ролям; массовым сознанием бизнес воспринимается как преимущественно мужское занятие. В-четвертых, препятствием является отсутствие институциональных условий для развития женского бизнеса: практически полное отсутствие поддержки со стороны государственных органов и негосударственных организаций, неблагоприятное налоговое законодательство, сложность процедуры регистрации, отсутствие доступа к кредитам, информации, возможности влиять на законодательный процесс.

Итак, обращение к альтернативным формам экономической деятельности в неформальном секторе экономики является одной из наиболее доступных стратегий адаптации населения (и в первую очередь женщин)⁸ к условиям переходной экономики.

3. Челночный бизнес как женский: преимущества и риски

Челночный бизнес занимает особое место в неформальном секторе Украины. В переходной экономике в условиях спада производства, разрыва хозяйственных связей, массовой безработицы челночный бизнес выполняет важные экономические функции: обеспечивает значительную долю вещевого товарооборота (30–50%, по оценкам специалистов); удовлетворяет потребности наименее обеспеченных слоев населения в силу относительной дешевизны ввозимых товаров за счет экономии на таможенных пошлинах, налогах; является важным, а часто единственно возможным источником самозанятости в условиях массовой безработицы для малообеспеченных слоев населения, представляет собой альтернативную стратегию выживания и реализации предпринимательского потенциала в условиях переходной экономики; часто является первым этапом на пути создания легального малого бизнеса.

В настоящее время челночный бизнес открывает наибольшие возможности реализации стратегий адаптивного поведения в условиях переходной экономики. Учитывая репрессивную налоговую политику, отсутствие законодательных гарантий частного бизнеса, экономической и политической нестабильности, челночный бизнес в силу быстрого товарооборота, мобильности и гибкости является чуть ли не единственной реально доступной широким слоям населения формой предпринимательской деятельности.

В силу своей доступности и демократичности, относительно небольших размеров требуемого стартового капитала этот вид бизнеса привлекает женщин, ищущих возможности улучшить свое материальное положение, но не обладающих связями и стартовым капиталом, требуемым для серьезного легального бизнеса. Мелкий челночный бизнес представляет для женщины своего рода «экономическую нишу» – пространство, в котором можно закрепиться и относительно преуспеть.

Челночный бизнес носит полулегальный характер, он связан с риском и опасностью для здоровья. Основные факторы риска, особенно влияющие на физическое, психическое и моральное состояние женщин-челночниц, следующие:

1) значительные физические нагрузки, связанные с регулярными передвижениями на большие расстояния, переноской тяжелых грузов, напряженным ритмом, неудовлетворительными условиями для отдыха;

2) психические перегрузки и стрессы, связанные с невозможностью обеспечить полностью собственную безопасность и безопасность груза в пути, который часто проходит через горячие точки, произвол таможенных, пограничных служб, милиции, часто занимающихся вымогательством;

3) реальная угроза рэкета и столкновения с криминальными элементами, реальная угроза физического и сексуального насилия;

4) крайне неблагоприятные для здоровья условия торговли на открытых, как правило, рынках;

5) злоупотребление алкоголем, часто провоцируемое не только стрессами и физическими перегрузками, но и неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь зимой.

Об уровне риска в челночном бизнесе свидетельствует статистика наиболее громких происшествий и несчастных случаев. Так, в 1992 г. во время приднестровского вооруженного конфликта на шоссе Рыбница – Дубоссары в Молдавии был обстрелян автобус с харьковскими туристами-челноками. 2 человека погибли. В 1996 г. в Черном море чеченскими террористами было захвачено судно с российскими и украинскими туристами. Жертв удалось избежать. В ноябре 1996 г. во время пожара в отеле «Тобзей» в Стамбуле (Турция) погибло 18 человек. Еще десятки человек получили ожоги и отравления угарным газом. Почти все пострадавшие были украинскими челноками.

На женщин и мужчин, занятых в челночном бизнесе (как и в целом в неформальном секторе), не распространяется даже тот минимум социальных гарантий, который обеспечивается занятым на государственных и частных предприятиях. Они лишены ежегодного оплачиваемого отпуска, оплаты временной утраты нетрудоспособности, работают ненормируемый рабочий день. Кроме этого, женщины лишены декретного отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком. Их жизнь, здоровье, товар и оборотные средства не застрахованы и подвергаются постоянному риску в случае непредвиденных обстоятельств или болезни. Они практически лишены правовой защиты, поскольку формальный статус туриста не позволяет им официально проводить коммерческие партии товара. Риск, нестабильность и неуверенность в завтрашнем дне, характерные для современной ситуации в украинском обществе, особенно тяжело отражаются на положении челноков. Отсутствие социальной

защиты, медицинского страхования, социальных гарантий ставит в крайне тяжелую ситуацию женщин, имеющих детей, особенно одиноких матерей.

Сами челноки – и женщины, и мужчины – ввиду полуполюгального характера своего бизнеса не хотят привлекать внимание к себе и своим проблемам, предпочитая решать их в одиночку. Они не ждут поддержки и не пытаются получить помощь ни от правительства, ни от местных органов власти, ни от бизнес-структур и общественных организаций. Какие-либо солидарные действия по защите своих прав с их стороны весьма проблематичны, поскольку челноки не поддерживают постоянных деловых контактов, работая в лучшем случае с одним-двумя напарниками. Первым примером коллективного организованного действия стала забастовка уличных торговцев (лоточников), главным образом реализующих доставляемые челноками товары. Волна забастовок прокатилась по городам Украины в июне 1996 года в ответ на постановление Кабинета Министров Украины о введении лицензирования мелкой торговли, сопровождающегося грабительскими сборами за выдачу лицензий.

Главная причина, по которой челноки обречены оставаться в неформальной сфере, – слишком высокие издержки, связанные с легализацией бизнеса. Оплата лицензий, патентов, разрешений, а также пошлины и налоги составляют иногда до 90% прибыли, кроме того, требуется декларировать вложенный в дело капитал и объяснить его происхождение. Человек, имеющий небольшой магазин, в условиях украинского бизнеса оказывается гораздо более уязвимым, чем торговец-челнок, «невидимый» для государственных контролирурующих инстанций и вкладывающий капитал в разовые торговые операции.

Все это свидетельствует о том, что освоение женщинами новых экономических ролей, новых моделей экономического поведения сталкивается со значительными трудностями. Однако эта тема все еще исключена из проблемного поля социологии, а это не дает полного представления о реальной картине украинской экономики. Участие в челночном бизнесе, в отличие от легального частного бизнеса и традиционных форм занятости, совершенно по-особому определяет экономическое поведение, социальный статус, жизненные ожидания и идентичность женщин-челноков. Будучи «пионерами» новых рыночных отношений, избрав активную стратегию экономического поведения, они тем не менее оказываются в ситуации маргинальности, что обуславливает их неустойчивую, противоречивую, кризисную идентификацию.

4. Домохозяйка или бизнес-леди?

Полуполюгальный статус, неустойчивость и нестабильность этого вида бизнеса осознается большинством женщин, для которых это главным образом возможность выжить «сегодня», не заглядывая далеко в завтрашний день. У боль-

шинства челноков отсутствует ориентация на создание собственного частного легального бизнеса, долгосрочная стратегия и планы на будущее.

Челночный бизнес ограничивает возможности профессионального и личного роста, развития карьеры. Его целью является, как правило, расширение и улучшение внутрисемейного потребления. Потребности культурного и интеллектуального развития, профессионального и карьерного роста, личного самовыражения почти не находят удовлетворения в этой сфере деятельности. Они либо остаются нереализованными, либо переносятся в сферу основной профессиональной деятельности, которая временно отодвинута на задний план. В обоих случаях это ведет к кризису идентичности. Очень редко в процессе интервью женщина определяет себя непосредственно как «челночницу». Одни идентифицируют себя через свою основную или бывшую профессию (врач, учитель), другие – через семейные роли (мать, жена, домохозяйка) и только некоторые, наиболее успешные, – через принадлежность к малому бизнесу.

Традиционно именно женщина выполняет экономическую роль организатора потребления в семье. Поэтому, как правило, основной мотивацией женщины, занятой в челночном бизнесе, является не просто абстрактное желание «заработать деньги» – она хорошо знает, для чего они ей нужны. В случае челночного бизнеса не существует четкой границы между рыночной экономикой и домашним хозяйством: внутрисемейное потребление вписывается в производственный цикл. Именно через эту социальную роль – обустройства семьи, быта, обеспечения детей, создания материальной основы для домашнего уюта – наиболее органично идентифицирует себя челночница. Она видит себя не как женщину-бизнесмена, «предпринимательницу», а как «домоустроительницу».

Поэтому изменение гендерной идентичности женщин-челноков связано с особенностями их потребительского поведения. В конечном итоге именно задачи личного и внутрисемейного потребления, обеспечения семьи конкретными товарами и услугами решает женщина-челнок в первую очередь. Челночный бизнес – бизнес не столько ради денег самих по себе, сколько ради приобретения потребительских товаров. Одна из интервьюируемых женщин высказала такую мысль:

«Женщины более успешны в этой деятельности, потому что они хорошо знают, что нужно в дом, детям, мужу. Они лучше мужчин знают потребности семьи. Из каждой поездки я привожу что-то в дом, в хозяйство – потому что заработанные деньги часто просто незаметно расходятся».

С точки зрения преобладающей модели потребительского поведения, можно сделать вывод о наличии двух этапов в развитии челночного бизнеса.

Первая волна челночного бизнеса (сразу после либерализации экономики и открытия границ, 1989–1994) состояла в основном из женщин, которые и

раньше проявляли предприимчивость и даже авантюризм и поэтому немедленно воспользовались новыми возможностями. В условиях, когда падение уровня жизни еще практически не затронуло широкие массы населения, а заработная плата выплачивалась регулярно, основным стимулом было не столько непосредственное желание заработать деньги, сколько стремление увидеть «другую жизнь», приобщиться к западным практикам потребления, рекламируемым средствами массовой информации и культурной индустрией. Обращение к челночному бизнесу диктовалось желанием модно одеться, приобрести бытовую технику, почувствовать, что такое настоящий сервис, – всего этого советская семья была лишена в условиях экономики дефицита. Для многих представителей этой волны челноков характерна модель «демонстративного потребления», которая также свидетельствует о кризисе идентификации: в этом случае приобретение и потребление разнообразных материальных благ, модных и престижных товаров становится единственным смыслом этой деятельности, оправдывает физические и нервные издержки, отказ от профессиональных и культурных амбиций.

Вторая волна (1995–1997) связана скорее с экономическими причинами. Рост безработицы, падение уровня жизни, задержки с выплатой заработной платы вынуждают женщин, часто не склонных к подобной деятельности и образу жизни, обращаться к челночному бизнесу, чтобы прокормить семью. За последние несколько лет рыночная конъюнктура резко изменилась – потребительский рынок близок к насыщению, доходы населения падают, реализовать товар становится все труднее. Все чаще крупные поставщики оптовых партий товара вытесняют челноков. В этих неблагоприятных условиях большинство женщин вынуждены заниматься этой деятельностью в силу экономической необходимости. Их целью также является обеспечение личного потребления и потребления семьи. Однако модель здесь иная – речь идет об обеспечении потребительского минимума, сохранения жизненного уровня, решения срочных проблем.

5. Социальный статус, престиж и деньги

Именно пример челночного бизнеса показывает, что в переходном обществе тенденции восходящей и нисходящей социальной мобильности могут вмещаться в отношении одной и той же социальной группы, когда рост доходов и уровня потребления сопровождается снижением «порога» социальных и культурных устремлений, профессионального и социального статуса. Уровень доходов и, соответственно, уровень потребления значительной части женщин-челноков является довольно высоким в сравнении со средней заработной платой в Украине, а наиболее успешные из них одними из первых смогли приблизиться к западным потребительским стандартам. Однако престижность и социальный

статус этого вида деятельности остается низким. Это связано, в частности, с сохранившимся в обществе со времен социализма предубеждением по отношению к частной торговле как «спекуляции», с бытующими представлениями о том, что челночный бизнес связан с легким обогащением, не требует знаний и образования, является деятельностью, носящей полулегальный характер, связанной с сокрытием доходов от государства. Не только в Украине, но и в других странах «честный налогоплательщик» является врагом неформального сектора, полагая, что выиграет экономически от его искоренения⁹. Интересна и еще одна особенность: в случае, когда челночным бизнесом занят мужчина, окружающие, близкие и друзья склонны рассматривать его деятельность как серьезное дело, «нормальный бизнес»; когда той же деятельностью занимается женщина, – ее престиж и статус автоматически понижается. Этот момент четко зафиксирован в языке: слово «торговец» звучит нейтрально и вообще употребляется редко, слово «торговка» – уничижительно-презрительно и даже оскорбительно. Со второй половины 1990-х гг., когда секс-индустрия и торговля женщинами в Украине стали приобретать масштабы национальной проблемы, практически любая женщина, выезжающая за рубеж с целью заработка, рискует столкнуться с предубежденным отношением к себе со стороны украинских властей, органов охраны порядка, консульских работников других стран, а то и обычных попутчиков.

В то же время рыночные трансформации в украинском обществе создают качественно иную ситуацию, в которой понятия престижа, жизненного успеха, профессиональных достижений утрачивают стабильность и общезначимость. Статус и престиж профессии может быть достаточно высоким в одних социальных группах и низким в других, может по-разному оцениваться в зависимости от выбора критерия: доходность, интеллектуальный или творческий характер, соответствие работы полученным знаниям и квалификации. Поэтому для некоторых групп населения обращение к челночному бизнесу рассматривается как утрата социального статуса и крушение жизненных планов, для других – как приемлемая жизненная стратегия в сложившейся экономической ситуации, для третьих – как предпочтительный стиль жизни и удачная возможность решения материальных проблем. Соответственно и динамика формирования новой идентичности женщин-челноков является в этих случаях различной.

6. Челночный бизнес и гендерные роли

Идентичность женщины-челнока, как и любой женщины, формируется в значительной степени через семью и гендерные роли жены, матери, хозяйки. Социальный статус мужчины, как правило, определяется его собственными жизненными стратегиями, личным и карьерным ростом, во многом зависит от него самого. Социальный статус женщины определяется различным сочетанием

ее собственных жизненных стратегий и стратегий мужа, которые могут быть разнонаправленными – продвигающими и понижающими. Противоположная направленность этих стратегий может стать источником внутрисемейного конфликта или привести к сдвигам в сторону нетрадиционного распределения гендерных ролей. Именно в семьях женщин-челноков мужчины часто выполняют роль «хранителя домашнего очага», поскольку бизнес вынуждает женщин часто отсутствовать дома. С точки зрения распределения гендерных ролей возможно несколько вариантов женского челночного бизнеса.

Первый. Семейный бизнес, когда муж и жена занимаются этой деятельностью сообща, в команде. В этом случае обязанности распределяются по-разному, но очень часто лидером является именно женщина, как правило, в силу превосходства ее деловых качеств. В жесткой ситуации челночного бизнеса власть и привилегии в семье распределяются в зависимости от экономического вклада, даже если это противоречит традиционному распределению гендерных ролей. В тех случаях, когда лидирующая функция принадлежит мужчине, он принимает на себя гендерную роль кормильца семьи и стремится освободить женщину от необходимости зарабатывать деньги.

Второй. Матери-одиночки, вынуждаемые к этому виду деятельности экономической необходимостью. Многие из них определяют свою идентичность через социальную роль матери, понятие долга перед детьми, который понимают как необходимость обеспечить им приемлемый уровень потребления, возможность продолжить обучение или сыграть «достойную» свадьбу. Традиционно в украинском обществе родственники старшего поколения (бабушки) активно задействованы в воспитании детей. В том случае, когда челночница является разведенной одинокой матерью, она вынуждена передоверять своим родственникам уход за ребенком и воспитание. Такие челночницы работают, как правило, с постоянными напарницами-подругами группами по 2–3 человека. Фактор наличия хорошей подруги и надежной напарницы очень важен, он может в первую очередь, подтолкнуть к занятию челночным бизнесом. Идентичность этих женщин часто обусловлена двойной неудовлетворенностью своей жизнью: им не удалось состояться ни в семейной, ни в профессиональной сфере.

Третий. Некоторым активным и предприимчивым женщинам по душе роль добытчика. Их устраивает нетрадиционное распределение гендерных ролей. Благодаря превосходству своих деловых качеств они заняли лидирующее положение в семье. Решившись однажды на выбор нетрадиционной и рискованной экономической стратегии, они создали своим выбором разрыв между своей жизнью и жизнью мужа. Этот разрыв постепенно углубляется из-за накапливаемого жизненного и делового опыта, возникающих под влиянием челночной деятельности различий в образе жизни, предпочтениях и вкусах. Тем не менее такие семьи бывают часто устойчивыми: женщина, даже будучи материально независимой, стремится сохранять брак из соображений престижа и социаль-

ного статуса, который разведенная женщина частично утрачивает. Она мирится с пассивной ролью мужчины, который часто является хорошим помощником в домашних делах и «удобным» партнером в семейной жизни.

7. Три типа жизненных стратегий – три типа идентичности

Анализ интервью женщин-челноков позволяет выявить три основных типа жизненных стратегий:

1. «Профессионал».

«Уже несколько лет я арендную часть магазина, до этого работала в нем продавцом. Ездил в Турцию за пластмассовой посудой для нашего магазина. У меня там есть свои поставщики – заранее все договорено. Я привозила в одну поездку 20–30 ящиков посуды. Конечно, физически это тяжело, и проблемы могут быть непредвиденные. Главное – уметь договориться, установить личный контакт. Нужно уметь торговаться, все вопросы решаются по согласованию. Сейчас езжу редко – выгоднее брать товар на реализацию у тех, кто возит большие партии.

Главное – все просчитать, сколько надо вложить и какой будет доход. Хотя обычно редко получается так, как рассчитываешь. Часто возникают непредвиденные расходы. Надо знать многие вещи, уметь точно определить качество товара. Очень важно ориентироваться в ситуации на рынке и уметь просчитать ее наперед: какие вещи только входят в моду, какие уже никто не хочет покупать. Например, нет смысла в середине зимы закупать теплые куртки. Самое сложное сегодня – реализовать товар, людям ведь не платят зарплату. Хорошо, когда есть реализаторы или можешь договориться в магазине».

К этой группе относятся женщины, которые занимаются челночным бизнесом на «профессиональном уровне». Как правило, это женщины, обладающие инициативой, склонные к предпринимательству, к риску, но в то же время умеющие хорошо просчитывать свои действия. Многие из них еще в доперестроечную эпоху находили возможности для реализации этих качеств. Не обладающие в основном высшим образованием и профессиональными амбициями, они смогли адаптироваться к новой экономической ситуации и достаточно полно реализовать свои предпринимательские и деловые качества. Им удалось установить разветвленную систему деловых связей, изучить определенные сегменты рынка и приспособиться к постоянно изменяющейся конъюнктуре. Для многих из них челночный бизнес является промежуточным этапом, позволяющим накопить деловой опыт и капитал для перехода к легальным и более стабильным видам бизнеса (например, собственный магазин). Однако бывшие челноки по

мере необходимости периодически или «по случаю» возвращаются к этой деятельности, используя знание рынка и имеющиеся связи. Большинство этих женщин воспринимают эту деятельность как «нормальный бизнес», хотя и сетуют на физические тяготы, риск и нестабильность.

Женщины, принадлежащие к этому типу челноков, в большинстве удовлетворены своим социальным статусом, показателем которого для них служат прежде всего деньги. Разочарование, неудовлетворенность касаются каких-то отдельных сторон жизни или эпизодов, но не самой деятельности и избранной жизненной стратегии в целом.

2. «Хобби».

«Я очень общительная, люблю, когда толпа, много людей. Торговаться, покупать, продавать – это так увлекательно. Я могу весь день провести на базаре и получаю от этого удовольствие. Могу кого угодно уговорить купить какую-нибудь вещь.

Если бы не дети, не хозяйство, я бы с удовольствием этим занималась. Я люблю дорогу, новые впечатления, знакомства. Там другая жизнь, никто тебя не контролирует, сама себе хозяйка.

Когда я стала ездить в Турцию, там была совершенно другая жизнь, чем у нас. В магазинах все что угодно. Вечером можно пойти посидеть в кафе. Можно хорошо одеться, купить себе вещи, которых дома нет ни у кого».

Как правило, это женщины, для которых экономическая мотивация не является доминирующей, их привлекает сам стиль жизни. Экономическая мотивация после удовлетворения первоначальных потребностей часто сменяется заинтересованностью в самом процессе купли-продажи. Это, как правило, женщины, обеспеченные материально, часто имеющие преуспевающих мужей (как правило, занятых в смежных сферах бизнеса), но тяготящиеся однообразием жизни домохозяйки. Некоторые из них имеют образование и профессию, но иногда используют отпуска, отгулы, выходные для таких нерегулярных шоп-туров. Они готовы мириться с тяготами челночного бизнеса ради удовольствий, недоступных в повседневной рутинной домашней жизни, ради новых впечатлений, смены образа жизни. Иногда это возможность вырваться из замкнутого круга семьи и домашнего хозяйства, найти новых подруг, удовлетворить потребность в общении. Экономический аспект, как правило, интересует их ровно настолько, чтобы окупить поездку, т.е. компенсировать расходы, привезти подарки близким, обновить свой гардероб. Большинство этих женщин идентифицируют себя со своей семейной ролью или профессией и не причисляют себя к челнокам.

3. «Выживание».

«Я всегда подрабатывала. Брала домой чертежные работы – я архитектор по образованию. Надо же как-то кормить детей. Когда я осталась одна с двумя детьми, было очень тяжело, одно время мы даже пустые бутылки собирали на улице. Государство меня всегда обманывало. И сейчас в институте зарплату не платят уже несколько месяцев. Я не стыжусь того, чем вынуждена заниматься, – пусть им там в правительстве будет стыдно. Я кандидат наук, у меня лекции в институте и еще научная работа, а дома мама-пенсионерка и двое детей. Конечно, тяжело, но можно спланировать свое время и все успеть. Другое дело, что мне не нравится этим заниматься. Люди, с которыми приходится общаться, – у них такой низкий уровень! Научную работу я никогда не брошу. Наука и преподавание – это любовь, а базар – это жизнь. Мама сначала была очень против, и друзья многие не понимали, как с высшим образованием можно торговать. Сейчас некоторые просят взять с собой, подсказать, с чего начать. Пока я не вижу другой возможности заработать “живые деньги”. Как в книге Льюиса Кэрролла про Алису: чтобы удержаться на месте, надо все время бежать вперед».

Эти женщины представляют значительную часть челноков, их опыт дает представление о социальных издержках рыночной модернизации экономики. Они были вынуждены заняться этой деятельностью под давлением экономической необходимости, либо потеряв работу, либо в связи с неоплачиваемыми отпусками и задержками зарплаты, либо потому, что зарплата не обеспечивает прожиточного минимума. Экономически они находятся в самом невыгодном положении, ибо занялись этим бизнесом от безысходности и не обладают соответствующим опытом, навыками и склонностями, не имеют достаточного оборотного капитала. Не будучи специалистами, они не всегда могут учесть изменения конъюнктуры и поэтому с коммерческой точки зрения больше рискуют. Они лучше других осознают переходность и неустойчивость своего положения. Женщины, перешедшие к челночному бизнесу из социально-престижных в прошлом, а сегодня переживающих кризис профессий (преподаватель, врач, инженер), переживают потерю социального статуса как личную жизненную драму. Они хотели бы вернуться к своей профессии, если бы она лучше оплачивалась. Женщины, не имеющие предшествующего опыта другой профессиональной деятельности, воспринимают профессию челнока более естественно. Тем не менее все они испытывают чувство неудовлетворенности и разочарования, не видят для себя возможности или не хотят стать «профессиональными» челноками.

Заключение. Есть ли будущее у женщин-челноков?

Вполне вероятным будущим для многих из них может стать поражение, сопровождаемое чувством разочарования, жизненной неудачи. Челночный бизнес является все же временной, переходной формой, которая возникла в определенных социально-экономических условиях. Уже сегодня большинство челноков говорят о резком снижении рентабельности их бизнеса, что связано с насыщением потребительского рынка, падением доходов населения, ужесточением мер таможенного контроля и налоговой политики. В будущем широкое развитие частного торгового бизнеса, подъем отечественной легкой промышленности могут окончательно вытеснить челночный бизнес.

В то же время, если налоговый пресс на частный бизнес будет ослаблен и правительству удастся создать благоприятный предпринимательский климат, накопленные челноками капитал, опыт и связи могут стать для них основой развития самостоятельного легального бизнеса.

Очевидно, что челноки являются социальной группой, которая относится к наиболее динамичной части населения. Приобретя навыки предпринимательства и соответствующий опыт, эти женщины (по крайней мере наиболее успешные из них) едва ли захотят вернуться к работе в государственном секторе. Они представляют собой социальную базу поддержки рыночных реформ, являются последовательными сторонниками либерализации экономики, несмотря на то, что как женщины они несут на себе основные тяготы переходного периода.

При этом полулегальный статус, сокрытие доходов и уклонение от налогов являются не столько результатом правового нигилизма, свойственного постсоветской культуре, сколько вынужденной стратегией выживания в условиях, когда государство не имеет четкой политики в отношении неформального сектора и рассматривает его как неизбежное зло.

Пример челночного бизнеса и особенно женского участия в нем вообще является показательным не только для социальной реальности переходного общества, но и для ситуации, сложившейся в социальных науках. Он дает основания для критики рыночного романтизма. Либерализация экономики действительно предоставила населению экономическую свободу и возможности частной инициативы, немислимые в прежней системе, однако воспользоваться ими смогли прежде всего те, кто к началу реформ уже обладал определенным социальным капиталом (связями и знакомствами, навыками самостоятельного действия без оглядки на государство). Женщины, как правило, оказались в худшей ситуации и были вынуждены занять малоодоходные и низкоконкурентные ниши.

Широкое распространение маргинальных форм экономической деятельности, стремление уйти из-под контроля государства свидетельствуют о том, что цели политики реформ еще не достигнуты: предоставленная свобода яв-

ляется скорее «свободой от», чем «свободой для». Институциональные условия легального частного бизнеса в Украине по-прежнему оставляют желать лучшего. Широкое участие женщин в неформальной экономике, требующее от них предприимчивости, смелости, готовности к риску и физическим нагрузкам, весьма показательно диссонирует с доминирующим в современной культуре образом обеспеченной мужем счастливой домохозяйки, говорит о неудовлетворенности женщин своим экономическим положением и сдвигах в традиционном распределении гендерных ролей.

1999

Примечания

- ¹ В 1998 г., когда была написана эта статья, литературы, посвященной маргинальным формам экономической активности женщин в постсоветских странах, практически не было. С тех пор ситуация изменилась незначительно. Основная часть публикаций посвящена участию женщин в “обычном” бизнесе (назовем только некоторые): Чирикова, А.Е. Женщина во главе фирмы / А.Е. Чирикова. М., 1998; Ее же. Деловая женщина в экстремальной ситуации // Социологические исследования. 1998. № 10. С. 68–76; Барсукова, С.Ю. Женское предпринимательство: специфика и перспективы / С.Ю. Барсукова // Социологические исследования. 1999. № 9. С. 75-84; Заславская, Т.И. Авангард российского делового сообщества: гендерный аспект / Т.И. Заславская // Социологические исследования. 2006. № 4. С. 26–37; Исакова, Н. Предприниматели-женщины в Украине: путь в бизнес / Н. Исакова [и др.] // Социология: теория, методы, маркетинг. 2004. № 2. С. 146–155. Теме участия женщин в неформальной экономике посвящены публикации Зои Хоткиной: Хоткина, З. Женская безработица и неформальная занятость в России / З. Хоткина // Вопросы экономики. 2000. № 3. С. 85-93; Ее же. Гендерный подход к исследованию неформальной экономики // Гендер и экономика: мировой опыт и экспертиза российской практики / отв. ред. и сост. Е.Б. Мезенцева. М., 2002. См. также: Мезенцева, Е. Гендерные аспекты деятельности в неформальной экономике / Е. Мезенцева // Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций. М., 2001. С. 163–185. В последние годы появились исследования, посвященные женской нелегальной трудовой миграции и ее социальным последствиям для украинского общества. См., например: Shostak, N. Through Networks and Ordeal Narratives, Or Making Meaning of One’s Displacement: Recent Labour Migration from Western Ukraine / N. Shostak // Spaces of Identity. Volume 4. Issue 3. December 2004.
- ² Reinharz, S. Feminist Methods in Social Research / S. Reinharz. Oxford, 1992. P. 23.
- ³ Connolly, P. The Politics of the Informal Sector: A Critique / P. Connolly // Beyond Employment, Household, Gender and Subsistence / N. Redclift, E. Mingione. Oxford, 1985. P. 55–91.

- ⁴ De Soto, H. *The Other Path: the Invisible Revolution in the Third World* / H. De Soto. New York, 1989.
- ⁵ Мезенцева, Е. Равенство возможностей в занятости или “защитные меры”: женщины перед лицом выбора // Женщины и социальная политика (гендерный аспект). Под ред. А. Посадской. М., 1992.
- ⁶ Журженко, Т. Женская занятость в условиях переходной экономики: адаптация к рынку или маргинализация? / Т. Журженко // *Femina Postsovietica*. Украинская женщина в переходный период: от социальных движений к политике / под ред. И. Жеребкиной. Харьков, 1999.
- ⁷ Волков, В. Силовое предпринимательство / В. Волков. СПб; М., 2002.
- ⁸ В западной литературе мнения относительно преобладающего женского участия в неформальной экономике расходятся. Большинство исследователей полагают, что определяющим фактором в пользу занятости в неформальном секторе являются домашние обязанности женщин, в частности обязанности по воспитанию детей. Некоторые при этом считают, что неформальный сектор позволяет легче совмещать оплачиваемый и неоплачиваемый труд, и поэтому государство должно улучшать условия занятости в неформальном секторе для женщин (Berger, M. *Women's Ventures: Assistance to the Informal Sector in Latin America* / M. Berger, M. Buvini. West Hartford, 1989). Другие полагают, что занятость в неформальном секторе является вынужденным выбором, потому что формальный сектор не может обеспечить женщине условий для совмещения оплачиваемой работы с домашними обязанностями (Beneria, L. *The Crossroads of Class and Gender: Industrial Homework, Subcontracting, and Household Dynamics in Mexico City* / L. Beneria, M. Roldan. Chicago, 1987).
- ⁹ Neitzert, M. *Marginal Notes: Women In Canada's Underground Economy* / M. Neitzert // *Economic Equality Workshop, Summary of Proceedings*. Ottawa, 1993. P. 20–21.

III. СЕМЬЯ КАК РЕСУРС И КАК СИМВОЛ

СТАРАЯ ИДЕОЛОГИЯ НОВОЙ СЕМЬИ: ПОСТСОВЕТСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

В большинстве посткоммунистических стран политические и экономические трансформации 1990-х гг. в той или иной степени сопровождались возрождением традиционалистских ценностей и серьезными изменениями в официальной идеологии семьи и семейной политики. Украина не стала в данном случае исключением. В средствах массовой информации, в политических и академических дискуссиях, даже в документах женского движения подчеркивается возрастание социальной значимости традиционных женских ролей жены и матери, возвращение мужчине экономической ответственности за обеспечение семьи, важная роль «традиционно крепкой» украинской семьи в процессах консолидации и возрождения нации, значение женской репродуктивной функции для усиления позиций украинского этноса. Возврат к традиционной семье рассматривается как одна из стратегий «обновления» общества и избавления от коммунистического тоталитарного наследия. При этом под «традиционной семьей» понимается нечто среднее между идеализированной украинской семьей досоветского прошлого и образцовой семьей американского среднего класса 1950-х гг. Идеализация «традиционной семьи» предполагает дистанцирование от коммунистического опыта и навязанного государством формального эгалитаризма, возврат к «естественным» гендерным ролям. В этой статье рассмотрена постсоветская идеология семьи и ее проявления в различных типах дискурса главным образом на примере Украины; сравнительный анализ позволяет сформулировать общие черты и особенности российского и украинского неотредактированного традиционализма.

1. Постсоветский традиционализм

Первые признаки смены господствующей идеологии в отношении семьи, роли женщины в обществе и участия государства в процессах социального воспроизводства наметились в СССР в начале 1980-х гг. Неуклонное снижение рождаемости (особенно в европейской части страны) заставило правительство принять комплекс мер, нацеленных на расширение льгот работающим матерям, удлинение отпусков по уходу за ребенком. Новые льготы и пособия были направлены, в частности, на поощрение семьи к рождению третьего ребенка; такая политика неизбежно предполагала ограничение производственной нагрузки женщин в пользу семейных обязанностей. Журналисты, социологи и экономисты впервые публично поставили вопрос о чрезмерной перегруженности женщин, совмещающих семейную роль с производственной, о необходимости предоставления женщине свободы выбора между профессиональной карьерой и семьей. Одним из путей обеспечения этой свободы виделся переход от двухдоходной семьи к однодоходной, т.е. повышение заработной платы мужчины с тем, чтобы он мог выполнять роль «кормильца». Собственно, одним из аргументов в пользу экономических реформ было повышение доходов семей, которое облегчило бы женщинам двойное бремя производственной и бытовой нагрузки. Кроме того, в прессе и в социологической публицистике заговорили об отсутствии отца в семье, о кризисе маскулинности, о недостатках материнского воспитания, даже о матриархатности современной семьи. Эти изменения были не просто реакцией на официальную идеологию эгалитаризма и проявлением подспудных тенденций «ренессанса патриархата», и ранее присутствовавшего на уровне массового сознания. Они отражали кризис социалистического «государства благосостояния», завуалированное признание социальной неэффективности проводимой им семейной политики и стремление вернуть семье ее экономические полномочия и ответственность за воспитание детей.

С распадом советской системы и отказом от официальной коммунистической доктрины смена идеологии в отношении семьи приобрела радикальный характер. Советские достижения в области гендерного равенства утратили свою легитимность вместе с окончательным крахом коммунистического проекта. Как в России, так и в Украине феминизм практически не вышел за рамки элитарных интеллектуальных кругов и в качестве массовой идеологии оказался недостаточно влиятельным, чтобы обеспечить эту легитимность на новой основе. Только часть женских организаций отдала приоритет гендерному равенству перед «защитой семьи». Пожалуй, заметным фактором модернизации гендерной идеологии в постсоветских обществах стали западные идеи демократии и прав человека, репрезентируемые в деятельности международных организаций и благотворительных фондов, в инициируемых Западом образовательных и научных проектах. Однако «антизападный» вектор массового сознания, особенно

к концу 1990-х гг. оказался значительно сильнее. Практически единственным оправданием принципов гендерного эгалитаризма стала экономическая реальность: даже в период промышленного спада и роста безработицы женщины оставались важнейшим ресурсом рабочей силы, а для большинства семей их заработок был необходимым и часто решающим вкладом в домашний бюджет. Однако эта реальность обычно интерпретировалась как результат экономического кризиса или наследие коммунистической системы, как явление, нежелательное в принципе. По сути, постсоветский традиционализм (в его различных вариациях) стал господствующей формой гендерной идеологии в переходном обществе. Он находит проявление как в публичном, так и в академическом дискурсе и имеет ряд существенных характеристик, общих как для Украины, так и для России.

Во-первых, это абсолютизация семьи как одной из высших социальных ценностей, идеализация этого социального института как формы социальной связи между людьми, однозначное противопоставление семьи как социальной нормы девиантным «несемейным» формам организации жизни, «осколочным семьям». Приведем характерную цитату российских социологов А.И. Антонова и В.М. Медкова:

«Нет ни одного индикатора социальной жизни, где бы члены счастливых семей ни обнаруживали свое преимущество перед одиночками-холостяками, на которых распространяется почти вся социальная патология, весь негатив так называемой моральной статистики... Известно, что разводимость в семьях с несколькими детьми в несколько раз меньше, чем в двухдетных и однодетных семьях, и что, наоборот, в малодетных семьях вероятность заболеваний репродуктивной сферы выше, чем в семьях с тремя и более детьми. То же самое относится и к средней продолжительности жизни, причем если сравнивать продолжительность жизни мужчин и женщин без учета семейности, то и тогда большая идентификация женщины с ребенком и с семьей в силу ее функции материнства удлиняет срок жизни женщин в сравнении с мужчинами на несколько лет»¹.

Тем самым семья приобретает статус морального абсолюта: все, что исходит от семьи, по определению является позитивным, все негативные явления связаны с внешними воздействиями на семью со стороны общества и государства. Кризис семьи как социального института (снижение рождаемости и уменьшение количества заключаемых браков, рост числа разводов, распространение неполных семей и внебрачных форм сожительства) рассматривается с этой точки зрения как кризис всего общества и, более того, цивилизационный кризис. Возврат к семейным ценностям, семейному укладу, семейному воспитанию, семей-

ному производству видится поэтому как магистральный путь решения проблем переходного общества.

Во-вторых, все формы постсоветского традиционализма характеризует резко негативное отношение к практике и результатам советской семейной и гендерной политики. Как пишет украинский социолог Ю.М. Якубова,

«...деформация функций семьи в последние десятилетия... лишение семьи частной собственности, средств производства и возможностей свободной реализации продукции... пролетаризация населения... особенно сказались на воспитательной функции, что проявилось в отчуждении отцов и детей, национальном нигилизме, духовном обнищании молодежи, утрате высоких идеалов украинской семейной педагогики»².

По словам Ю.А. Гаспаряна, «причина нынешнего кризиса семьи – в систематическом, последовательном и целенаправленном отстранении семьи от воспитания детей с целью передачи их в руки общества, для формирования из них так называемого “нового” советского человека»³. Антонов и Медков делают акцент на «суперэгатизации семьи»:

«...“естественный” процесс трансформации семьи, процесс “перехвата” ее социальных функций другими институтами, процесс вытеснения из семьи на арену рыночной экономики практически всех ее членов одного за другим был насильственно ускорен и стимулирован всей мощью тоталитарного государства... <более того> семейные функции «перехватывались» именно государством или его органами, а не какими-то иными социальными институтами»⁴.

Разрушение государством экономической автономии семьи имело, по их мнению, нравственные последствия:

«...“совковость”, о которой часто говорят, в большой мере сформирована тем иждивенчеством-потребительством, которое вырастает на почве наемничества, батрачества-холуйства и имитации вкальвания во внесемейном производстве, т.е. не на себя, а на нечто отчужденное... Монополизация государством народного хозяйства ставит всех членов семей... в положение просителей милостей у чиновников госучреждений»⁵.

Разрушение моральной автономии семьи, замена семейной социализации внесемейной⁶ (в находящихся под контролем государства детских коллективах), расщепление единого прежде авторитета семьи на часто противоречащие друг другу авторитеты матери и отца создали источник постоянных конфликтов, породили детскую преступность и другие молодежные проблемы.

В-третьих, постсоветский традиционализм характеризует фактическое сведение семьи к репродуктивной функции, к задачам деторождения и социализации детей. Отношения супругов рассматриваются как производная от их функции родительства, семья без детей некоторыми социологами даже не рассматривается как семья (а только как «семейная группа»). Естественно, что получившая широкое распространение малодетная (и в особенности однодетная) семья оценивается как крайне негативное явление и на макро-, и на микроуровне. С точки зрения общества это означает тревожную тенденцию к снижению рождаемости и депопуляцию. С точки зрения семьи – ухудшение возможностей воспитания ребенка:

«...массовая однодетность семьи, свидетельствующая об элиминировании стадии репродуктивного родительства и преобладании “контрацептивно-абортного” родительства, привязывает семейную социализацию к этапам взросления единственного ребенка и сводит ее к монополии наставничества родителей при отсутствии социализации в группе братьев-сестер»⁷.

Соответственно предлагаемые меры по выходу семьи из кризиса сводятся если не к пропаганде многодетности, то к мерам, направленным на «повышение потребности в детях»⁸. В качестве социального идеала традиционалистами предлагается только один тип семьи: с двумя родителями и как минимум тремя-четырьмя детьми; используемые модернистами понятия альтернативной семьи, альтернативного брака ими решительно отвергаются.

В-четвертых, возрождение моральной и экономической автономии семьи, ее достоинства и высокого статуса в глазах общества требует, по мнению традиционалистов, восстановления и расширения ее производственной функции. Современная модель семьи связана с разделением дома и работы, с системой наемного труда и преобладанием потребительской функции. Даже в развитых странах это приводит к возрастанию зависимости семьи от рынка товаров и услуг и от поддержки государства. Утрачивается семейная целостность, связь между членами семьи, определяемая совместной деятельностью и общностью целей и делающая естественное неравенство по полу и возрасту оправданным. «Профессиональная занятость членов семьи вне дома превращает эти редуцированные семейные роли и потребности в “бремя”»⁹. В условиях социализма эти тенденции были усилены отменой частной собственности как базы семейного производства и наследования и резким возрастанием роли государства в экономике в целом, в сфере услуг и организации быта, в воспитании детей. Поэтому возвращение к семейному производству позволит семье не только избежать унижительной зависимости от государства и обеспечить себя необходимыми ресурсами, но и создаст условия для возрождения семейного авторитета и семейного воспитания.

В-пятых, не случайно в эпицентре традиционалистской критики советского опыта оказались гендерные отношения в семье, а точнее, нарушение «естественного» разделения ролей, обязанностей и полномочий. Вот как эмоционально описывает эту тенденцию Ю.А. Гаспарян:

«Женщина-мать, массово вовлеченная в работу общественного производства, перестала дарить своему ребенку материнскую ласку, которая столь необходима в первые годы жизни и, по существу, перестала быть ему матерью. Она покинула семейный очаг, поддержание которого изначально было ее долгом»¹⁰.

Мужчину это обрекало на постепенное освоение женских ролей: стирать, убирать и... брать «отпуск по уходу за ребенком», и как результат – постепенная девальвация его значимости не только в семье, но и в обществе»¹¹.

По мнению Антонова и Медкова, первопричина этих негативных тенденций – индустриализация и вовлечение женщин в производство:

«Взамен взаимно дополняющих друг друга ролей матери и отца в системе семейного производства, взамен единства родительского авторитета и единства родительского влияния на детей и подростков, занятость женщин, понижающая уровень оплаты труда мужчин, привела к конкуренции мужей и жен на рынке труда. Подобная конфликтность не могла не сказаться и на семейных отношениях отцов и матерей, что, собственно говоря, и является причиной роста разводов. Но форма этого конфликта была перенесена с проблем внесемейной занятости на проблемы распределения домашних обязанностей мужей и жен. В рамках нуклеарной семьи общий семейный авторитет был раздроблен на два родительских авторитета, находящихся в противостоянии. Более того, произошло снижение авторитета отца и усиление авторитета матери»¹².

Исчезновение мужских видов домашнего труда в условиях урбанизации привело к возрастанию роли и влияния женщины в семье (вплоть до «матриархата»), а государственные льготы работающим женщинам содействовали его закреплению. Таким образом, очевиден дисбаланс ролей и обязанностей мужчины и женщины в семье, связанный с нарушением основного принципа семейного единства – взаимодополняемости. Самой большой ошибкой, по мнению традиционалистов, является перенесение принципов «демократии» (равенство, права человека) на внутрисемейные отношения, принципиально предполагающие неравенство, связанное с полом и возрастом его членов, неравенство, которое снимается в понятии семьи как целостной и гармоничной общности.

Наконец, в-шестых, показательной является позиция традиционалистов в отношении семейной политики. В отличие от «модернистов», формулирующих подходы в семейной политике с позиций интересов личности (например, феминистки акцентируют внимание на обеспечении репродуктивных прав,

расширяющих для женщин возможности выбора), традиционалисты определяют приоритеты семейной политики коллективными интересами семьи как недифференцируемой общности. Соответственно их отношение к проблеме репродуктивных прав колеблется от равнодушного к резко враждебному. При этом традиционалисты игнорируют разнообразие типов и моделей семьи, а также существование противоречивых интересов внутри нее. Критикуя суперэтизм советской системы, они тем не менее отстаивают активную позицию государства в сфере семьи, рассматривая в качестве программы-максимум «просемейную реформу общества». По словам Антонова и Медкова, семейная политика – это политика, ориентированная на «возрождение семьи, семейного образа жизни, утраченной на длительном историческом пути фамилистической культуры общества», «на изменение всего строя современной цивилизации, по существу антисемейной, враждебной семье, невосприимчивой к ее проблемам и болезням»¹³. Провозглашая принцип суверенности семьи («семья независима от государства и имеет право принимать любые решения, касающиеся ее жизни, совершенно самостоятельно», «право семьи на любой тип семейного поведения и на любой образ и стиль жизни»¹⁴), эти авторы одновременно настаивают на том, что государство должно защищать свои предпочтения в отношении типа и формы семьи. Семейная политика должна быть направлена на поддержку только одного социально желательного типа (семья из двух родителей и трех и более детей) и быть нейтральной по отношению к остальным.

Конечно, степень и формы проявления неотрадиционализма могут быть различными. Крайние традиционалисты пропагандируют многодетность и склоняются к насильственным методам регулирования рождаемости вплоть до ограничения права на аборт. Более умеренные рассматривают семью как важнейший институт, обеспечивающий адаптацию индивида к деструктивным и стрессовым последствиям социальных трансформаций, а семейное производство – как важный ресурс повышения благосостояния населения. Этот второй, более прагматический подход также должен быть отнесен к традиционализму, хотя в данном случае семье отводится скорее вспомогательная, компенсационная функция. Он предполагает, явно или неявно, сохранение традиционного разделения гендерных ролей (от которого семьи вынуждены отказываться только в силу экономических обстоятельств), а также возвращение семье производственной и воспитательной функций в возможно большем объеме. В Польше неотрадиционалистская реакция проявилась в попытках ограничения права на аборт, в России яростная дискуссия завязалась по поводу целесообразности школьных курсов по сексуальному воспитанию.

По нашему мнению, постсоветский традиционализм представляет собой реакцию не только на социалистический опыт огосударствления семьи и принудительного эгалитаризма, но и на последствия модернизационных процессов в целом. Ренессанс традиционализма является поэтому неизбежным спутником

поиска постсоветскими странами новых путей и моделей продолжения модернизации. Традиционалистская реакция на модернизацию общества, и в частности семейной сферы, по своим проявлениям аналогична в капиталистических и социалистических, «западных» и «восточных» обществах.

Один из аргументов в пользу этого тезиса – существование «советского традиционализма». Еще в 1960–1970-е гг. некоторые социологи и публицисты оценивали тенденции к снижению рождаемости и брачности, рост числа разводов и неполных семей как проявления «кризиса семьи». Не ставя под сомнение правильность советской семейной политики в целом, они подвергали критике эти тенденции скорее с моральных позиций. Так, например, А.Г. Харчев объяснял возрастание нестабильности браков нравственно-психологической неподготовленностью части молодежи к совместной жизни, снижением ответственности мужчин за судьбу создаваемой семьи, нежеланием супругов обзаводиться детьми¹⁵. Этот морализаторский дискурс не затрагивал основ «коммунистического проекта», более того, нарастающий консерватизм в отношении семьи и брака органично вписался в официальную идеологию. Российский демограф А. Вишнеvский связывает это с культурными традициями общинного уклада, все еще господствующими в массовом сознании:

«Запрет абортов, ограничение разводов, непризнание незарегистрированных браков, повышенное внимание к “моральному облику” при назначении на ответственные должности, вмешательство “общественности” в семейные дела, преувеличенное целомудрие официального искусства и многое другое хорошо вписывалось в традиционную систему представлений об идеальной, “добропорядочной” по деревенским меркам XIX в. семье и о методах социального контроля над нею»¹⁶.

«Советский традиционализм» отражал, таким образом, «догоняющий» характер и незавершенность процессов модернизации.

Второй аргумент – сравнение постсоветского традиционализма с идеологией *New Familialism*, получившей распространение в некоторых западных странах в 1980-е гг. В США его представители выступали с позиций коммунитаризма против утриванного либерального индивидуализма и его распространения на семейную сферу; в Великобритании *New Familialism* в значительной степени оказался направлен против социалистической идеологии и политики государства благосостояния. Однако главным оппонентом *New Familialism* на Западе были и остаются феминизм и женское движение. Именно их заслугой за последние десятилетия являются изменения отношений в семье в сторону большего гендерного равенства, а также рост терпимости общества к нетрадиционным семьям. Как отмечает Ю. Градскова, сравнивая «новую идеологию семьи» в России и США, защитники семьи в обеих странах провозглашают необходимость

возвращения к традиционной структуре семьи, повышения ее социального престижа, укрепления семейных уз и усиления родительской ответственности¹⁷. При этом нетрадиционная семья рассматривается как главный источник асоциального поведения молодежи. Сравнение показывает, что неотрадиционалистская реакция на последствия модернизации в семейной сфере развернулась параллельно в капиталистических и (пост)социалистических обществах и совпала не только по своим проявлениям, но и хронологически (с середины 1980-х г.). Однако, по мнению Градскойой, сила влияния и последствия новой волны неотрадиционализма, скорее всего, будут различными в России и США. «Наличие в общественном мнении Америки консенсуса в отношении базовых принципов свободы личности и мощных феминистских организаций, представляющих собой сильное политическое лобби, способствует тому, что *New Familialism* не произведет революционных изменений в повседневной жизни значительной части американцев»¹⁸, но в России эта идеология может привести к более глубоким и опасным последствиям. Являясь закономерной реакцией на тотальный контроль и вмешательство государства в жизнь семьи, *New Familialism* может привести к максимальному обособлению частной жизни и минимизации общественного влияния на детей (вплоть до отказа посылать детей в школу и защиты исключительно домашнего воспитания) при полном отсутствии каких-либо попыток пересмотра традиционных гендерных стереотипов в отношении распределения домашней работы и воспитания детей¹⁹.

Таким образом, до некоторой степени ренессанс традиционализма является общей тенденцией стран, столкнувшихся с противоречивыми последствиями процессов модернизации. Однако постсоветский традиционализм как спутник «догоняющей модернизации» имеет и свои существенные особенности: он апеллирует не только к «традиции», но и к «Западу», роль которого весьма амбивалентна в построениях традиционалистов. С одной стороны, «возвращение к традиционной семье» видится как движение к нормальному цивилизованному обществу, возвращение к естественному порядку, нарушенному коммунистической политикой разрушения семьи, с другой – издержки западного феминизма, либерализация секса и легитимация гомосексуальных отношений подвергаются суровой критике. Если первая позиция была характерна для традиционалистов в начале реформ, то вторая – более распространена сегодня. Можно, пожалуй, сделать вывод, что в позициях постсоветского традиционализма произошел сдвиг от «антикоммунистической» к «антимодернистской» ориентации. То же касается и рынка: в начале реформ он рассматривался в русле общей «антикоммунистической» парадигмы как союзник семьи в процессе ее освобождения от диктата государства и обеспечения «экономической независимости». Для рыночного традиционализма образцом для подражания была идеализированная западная семья, существующая в основном за счет независимых доходов ее главы. Позднее позиция традиционалистов стала в значительной степени «ан-

тирыночной», и критика оказалась обращена в основном против последствий рынка – социальной дифференциации и обнищания большинства семей, анти-семейной направленности массовой культуры.

Возрастание влияния религии на массовое сознание, особенно очевидное в отношении семьи и брака, также является существенным фактором постсоветского традиционализма. Во многом это влияние является пока поверхностным и связано с возрождением церковных ритуалов венчания, крестин и пр. Насколько христианские ценности влияют на жизнь современной семьи, это вопрос, который требует специальных исследований. С одной стороны, секуляризация массового сознания, произошедшая за годы советской власти, вряд ли обратима. Однако сама православная религия (и официальная позиция церкви) является достаточно ортодоксальной в отношении проблем семьи, положения женщины и распределения гендерных ролей, она не испытала таких мощных модернизационных воздействий, как западное христианство. Большинство положений православной системы семейных ценностей²⁰ отвечает массовым стереотипам о мужчине-кормильце и женском терпении как основе семейного благополучия, широко распространенным, несмотря на наследие советского эгалитаризма. Однако возрастание роли религии в школьном и дошкольном воспитании может иметь в перспективе серьезные последствия, учитывая активную позицию представителей церкви и их союзников среди традиционалистов. Так, на всеукраинском конгрессе женщин в 1998 г. прозвучали предложения о создании учебных программ, касающихся роли семьи в жизни человека и общества на основе «сотрудничества с традиционными на Украине христианскими церквями»²¹. С определенной точки зрения, пропаганду православных семейных ценностей можно рассматривать как позитивное явление для общества, оказавшегося в ценностном вакууме, однако нельзя не видеть в этом перспективу усиления морального осуждения любого поведения и стиля жизни, не вписывающегося в православную «норму». Как отмечает Ю. Градскова, при отсутствии традиций и навыков развития гражданских ассоциаций, способных представлять интересы меньшинств (а именно к ним должны относиться матери-одиночки, разведенные и одинокие женщины, занимающиеся профессиональной деятельностью), женщины в целом будут испытывать более жесткий (как по сравнению с их прежним положением, так и по сравнению с мужчинами) моральный контроль со стороны общества²².

Однако было бы упрощением утверждать, что неотрадиционализм однозначно предполагает возвращение к патриархальной (или традиционной) модели семьи. Идеалом постсоветских традиционалистов является, скорее, некий гибрид традиционной и детоцентристской семьи (если использовать классификацию С.И. Голода). Восстановление традиционных гендерных ролей является не столько самоцелью, сколько средством для достижения другой цели: обеспечения деторождения и надлежащей социализации детей в рамках семьи.

В условиях индустриального общества восстановление патриархальной семьи является утопией: модернизация, во-первых, превратила процесс социализации детей в самостоятельную и крайне важную функцию семьи, а во-вторых, сделала неизбежной внесемейную социализацию. Поэтому, призывая семью сосредоточиться на задачах деторождения и социализации, неотрадиционалисты утверждают, в сущности, детоцентристскую модель. Однако в своих требованиях преодоления малодетности они не учитывают ограничения, заложенные в самой этой модели: даже в развитых западных странах возрастание «цены ребенка» (в сущности, издержек социализации) стало важнейшим фактором сокращения рождаемости.

Именно поэтому перспективы неотрадиционализма оказываются ограниченными, с одной стороны, неадекватностью патриархальной модели для нужд современного общества, а с другой – неоправданной идеализацией этой модели. Проведем еще одну параллель с западным неотрадиционализмом. Как показал социолог Энтони Гидденс, ностальгия по традиционной семье, свойственная неоконсерваторам, не учитывает целого ряда обстоятельств: неполные семьи были довольно частым явлением и в XIX в. в силу не только разводов, но смерти супруга; отношения в семье не были столь индивидуализированы, в основе их лежали отношения родства и экономические соображения: семья основывалась на гендерном неравенстве и отсутствии прав у женщин и детей, двойном моральном стандарте и многодетности как норме²³. По мнению Гидденса, правые критики, говорящие о традиционной семье, в действительности имеют в виду не традиционную семью, а переходное состояние семьи в послевоенный период – (идеализированную) семью 1950-х гг. Традиционная семья к этому моменту практически исчезла, но женщины еще не вышли на рынок труда в массовом масштабе, и гендерное неравенство оставалось значительным²⁴. В нашем случае, учитывая историческую дистанцию, отделяющую идеализированную традиционную семью от современной, а также наследие «реального эгалитаризма» в постсоветских обществах, очевидно, что для реставрации традиционной семьи имеющихся социокультурных (и экономических) ресурсов явно недостаточно.

2. Неотрадиционализм в России и в Украине

Неотрадиционализм в бывших советских республиках приобретает сегодня особые оттенки, связанные с национальной, религиозной, геополитической спецификой. Он, безусловно, различается в России, в государствах Кавказа, в среднеазиатских республиках. Однако различия заметны и в отношении таких близких по своим культурным и религиозным традициям обществ, как Россия и Украина. Упрощая, можно было бы сказать, что российский неотрадиционалистский дискурс в большей мере определяется этатизмом и рационализмом,

тогда как украинский – идеологией национализма и национальной мифологией.

Российские демографы и социологи традиционалистской ориентации обычно связывают «кризис семьи» с депопуляцией (уменьшением численности населения), т.е. кризис, с их точки зрения, проявляется, главным образом, в угнетении репродуктивной функции семьи. За разговорами о демографической катастрофе, крахе, опасности депопуляции отчетливо просматривается интерес государства, который отдельная личность или семья должны «осознать». «Мы должны просвещать население, убеждать, что самая высокая ценность – это человек, семья, дети», «добиться осознания значимости демографических процессов», «повысить престиж брачно-семейного образа жизни» – эти и подобные призывы звучали на заседании круглого стола по депопуляции²⁵. В рамках этого типа дискурса снижение численности населения означает ослабление государства и его геополитических позиций. Кризис семьи, депопуляция и ослабление позиций Российского государства оказываются связанными в одну причинно-следственную цепочку.

Так, О. Захарова и Л. Рыбаковский в статье «Геополитические аспекты депопуляции в России»²⁶ приводят две точки зрения на проблему депопуляции. Одна состоит в оценке депопуляции как достаточно нейтрального явления, возникновение которого представляет собой исключительно следствие объективного хода демографической эволюции. Она, по мнению авторов, рождена в недрах ООН и ориентирована на универсальные нужды стран, находящихся лишь на стадии демографического перехода. Такой подход в принципе не учитывает национально-государственных особенностей (историю, традиции, менталитет), и в частности «особенностей демографического развития России, а тем более ее статуса, геополитического положения и интересов в мире в настоящем и будущем»²⁷. Сторонники второй позиции, с которой солидаризируются авторы статьи, рассматривают депопуляцию как «долгосрочный кризис, чреватый угрозой этим геополитическим интересам, и считают недопустимым сокращение численности населения как стратегической линии демографического развития страны»²⁸. Водораздел между этими позициями, как пронизательно отмечают авторы, – в самом критерии оценки существующих демографических тенденций. Во втором случае «в качестве такового выступает не большая или меньшая степень соответствия мировым тенденциям демографического перехода, а совокупность геополитических интересов конкретной страны, осуществление которых тесно связано с ее демографическим благополучием»²⁹. Поскольку «важнейшей стратегической задачей России, вытекающей из ее геополитического положения, является поддержание и упрочение статуса великой державы, унаследованного от СССР»³⁰, она должна ориентироваться на динамику численности населения в странах аналогичного с ней статуса (США, Великобритания, Франция, Китай), где в ближайшие десятилетия прогнозируется рост населения.

По мнению авторов статьи, первоочередная задача возрождения экономического потенциала страны может быть решена при условии не только повышения качества, но и количественного роста населения. Другие геополитические приоритеты России – укрепление ее позиций в СНГ и в славянском мире – также во многом зависят от преодоления демографического кризиса.

Как подчеркивают авторы статьи, депопуляция – это этническая проблема, затрагивающая основной, государствообразующий этнос – русских (хотя некоторые другие народы России имеют аналогичные показатели воспроизводства). Прирост этнических русских за последние годы обеспечивается их массовым миграционным притоком из ближнего зарубежья. Поэтому на фоне растущей концентрации русского этноса на территории России, на постсоветском пространстве в целом численность русских сократилась, что, с точки зрения авторов, является фактором ослабления Российского государства. Растущая иммиграция из центральноазиатских и закавказских государств на фоне сокращения численности собственного населения «приведет к тому, что Россия в скором времени может оказаться перед лицом необратимых изменений этнического состава населения»³¹.

Ряд других факторов, по мнению авторов, связывает депопуляцию с государственными интересами России. Слабая заселенность и невозможность обеспечить достаточную плотность населения в приграничных районах обуславливает многочисленные территориальные претензии со стороны других государств на некоторые территории (Дальний Восток, Калининградская область). Кроме того, снижение рождаемости ведет к значительному сокращению численности призывных контингентов в условиях, когда Варшавский пакт перестал существовать, а НАТО усиленно приближается к границам России. И, наконец, проблема внешнего долга, унаследованного от СССР и существенно возросшего за годы реформ, также оказывается непосредственно связанной с депопуляцией. «Депопуляция приведет к тому, что сумма задолженности в расчете на душу населения страны будет неуклонно возрастать, что ляжет тяжким бременем на плечи будущих поколений»³².

Этот пример, как представляется, весьма характерен для российского нео-традиционалистского дискурса. Тема «повышения рождаемости» любимы средствами в интересах государства особенно популярна среди правоэкстремистских политиков. Но этатистский традиционализм характерен и для левых, хотя их позиция отличается ориентацией на государственную поддержку семьи и сохранение общедоступной системы образования и здравоохранения. «Старые левые» и их социалистический проект уже не обладают сегодня той энергией модернизации, которая способствовала преобразованию сферы семейного воспроизводства и женской эмансипации в первые послереволюционные годы. Учитывая глубокий кризис социалистических идей и относительную слабость

русского национализма, этатизм становится сегодня идеологией, оказывающей наибольшее влияние на семейную и гендерную политику государства.

В Украине неотредиционализм принимает несколько иные формы: он тесно связан с националистической идеологией и реконструкцией соответствующих культурных мифов, обосновывающих уникальность украинской нации, а также служит ее самоидентификации в отношении как Запада, так и России. Семья является важнейшим элементом национальной мифологии, поэтому неотредиционалистский дискурс строится здесь по иным правилам, чем в России. Акцентирование символической связи между Нацией и Семейей играет в этом случае более важную роль, чем рационалистическая артикуляция интересов государства в «укреплении семьи». Хотя проблема депопуляции и обсуждается в работах украинских демографов, однако она редко увязывается с «кризисом семьи». Напротив, широко распространенным является утверждение, что украинскому народу присущи особые традиции семейности, особая семейная ментальность, что высокая брачность и рождаемость – это фундаментальные особенности украинского этноса. Утрата этих традиций – результат антинациональной политики советского государства (в интерпретации крайних националистов) либо следствие тяжелого экономического кризиса и резкого снижения уровня жизни семей (в интерпретации более умеренных). Украинские социологи в отличие от российских отмечают не кризис семьи, а, наоборот, высокий рейтинг семейных ценностей и семейного образа жизни среди приоритетных жизненных ориентиров. Как отмечалось в официальном ежегодном отчете о положении семей в Украине, в условиях коренных изменений привычной социокультурной среды, конкурентных отношений на рынке труда и в профессиональной сфере возрастает потребность человека в семье, где можно получить эмоциональную поддержку и признание, совместными усилиями найти выход из экономических трудностей³³.

И она обладает всем необходимым для выполнения этой роли: «украинской семье издавна присущи активность, творчество, взаимопомощь, сохранение национальных традиций, межличностный характер внутрисемейного общения»³⁴. По словам украинского демографа Л.Чуйко, «сбой» в адаптационном механизме брачности и структурные деформации этого процесса в кризисном социуме Украины не дают оснований для вывода о снижении ценности института брака и семьи в устоях жизни населения Украины. Тем более – об отмирании этих институтов в их традиционном понимании или отказе от них. Об этом свидетельствует наследственность украинской брачно-семейной ментальности, население Украины в подавляющем большинстве проживает семьями, созданными на основе юридически оформленного брака»³⁵.

Таким образом, украинские семьи находятся в сложных экономических условиях, но речь о «кризисе семьи» не идет. Или, другими словами, украинская Семья – такой же абсолют, как и украинская Нация. Поэтому решение проблем

семьи увязывается с возрождением украинской нации и строительством независимого государства, и наоборот – возрождение нации начинается с семьи. Вот что пишет по этому поводу украинский социолог Ю.М. Якубова:

«Украинская нация должна сохранить себя в семье. Дом, семья, труд, высокая духовная культура и гражданская зрелость украинского народа призваны обеспечить ему высокий уровень жизни, а Украине – независимость, экономическую и политическую стабильность, нерушимость границ и высокий международный авторитет. Никто не построит для украинцев государства и не создаст материальных условий, если семья будет морально и материально дезорганизована. Семья должна стать основой и символом духовного и экономического возрождения, целью многогранной гуманистической деятельности украинского государства»³⁶.

Если именно в семье происходит передача детям национальных традиций, прививается любовь к родному языку и культуре, то ведущая роль в формировании национальной идентичности нового поколения принадлежит матери. В отличие от российского неотрадиционалистского дискурса, где подчеркивается женская функция биологического воспроизводства нации, украинская женщина призвана обеспечить прежде всего ее символическое воспроизводство. И даже биологическая функция порождения жизни обретает особую символическую роль в украинском культурном контексте. Образ Украины – «пышнотелой крестьянки в венке», «живучей» и «плодовитой» – образ тела-земли, матери-природы, порождающей и питающей и человека, и животных, – формируется, по мнению Ирины Грабовской, еще в XVI в. «И на этом теле-земле вырастает другое тело – народ, который не способен взлелеять и сохранить собственную “голову”, т.е. элиту; “народ, который существует как трава из поколения в поколение”»³⁷. Символ материнства как вечного возрождения жизни, физического сохранения нации, единственной надежды на выживание в условиях культурного и политического гнета отражает исторические реалии колониальной Украины, ее статус нации-жертвы, неспособной отстоять свою государственность. Сегодня фигура Матери символизирует духовную консолидацию общества вокруг «вечных» ценностей национальной культуры, традиций и языка, преемственность поколений, надежду на выживание и будущее нации.

3. Демография и национализм

Связь между политикой семьи, женской репродуктивной функцией и идеологией национализма в Украине может быть продемонстрирована на примере демографического дискурса. В западной феминистской литературе связь между национализмом и демографической политикой была проанализирована в работе

Ниры Ювал-Дэвис «Гендер и нация»³⁸. Она выделяет три типа доминирующего дискурса, определяющего националистическую демографическую политику: дискурс, который может быть назван «народ как сила», евгенический дискурс и мальтузианский дискурс. Первый тип дискурса – «народ как сила» – определяет политику практически всех национальных государств и касается главным образом государствообразующей нации. В рамках этого типа дискурса будущее нации зависит от ее непрерывного количественного роста. В странах, основанных эмигрантами, определенная критическая масса населения считалась необходимой для создания нации (Австралия, Израиль), и государство поощряло эмиграцию (всегда на основе этнически и расово-дифференцированного подхода). Однако в большинстве случаев ответственность за прирост населения возлагается на женщин «коренной» национальности, государственная политика направлена на активизацию именно их репродуктивного поведения. Националистические правительства проводят, как правило, активную пронаталистскую политику. Примерами являются политика фашистской Германии, «демографическая гонка» израильтян и палестинцев, и совсем свежий пример – этнический конфликт в Косово.

Второй тип дискурса – евгенический – акцентирует внимание не на размерах нации, а на ее качестве. Конечно, беспокойство о качестве нации лежит в основе широкого круга политических подходов. Например, тревогой о снижении качества нации обосновывается необходимость совершенствования системы здравоохранения или улучшения питания детей. Однако евгенический дискурс связывает качество нации с селективным зачатием и деторождением, он предполагает вмешательство в репродуктивные процессы с целью появления на свет только «желательных для общества» детей. Наиболее типичным примером является принудительная стерилизация людей с ментальными дефектами, вызванными наследственными заболеваниями или алкоголизмом, но нередки случаи такого рода политики и на расовой или этнической основе. Современный евгенический дискурс оперирует понятиями «генофонда нации», «генетического потенциала», от которого зависит здоровье и будущее последующих поколений нации.

Наконец, третий тип дискурса – мальтузианский – связан с политикой ограничения рождаемости с целью снижения темпов прироста населения и наиболее характерен для развивающихся стран. Ограничение рождаемости рассматривается в некоторых из этих стран как основная стратегия решения экономических и социальных проблем. Однако мальтузианский дискурс часто работает на руку националистам в отношении этнических меньшинств, он служит рационализации опасений, связанных с неконтролируемым ростом их численности и нарушением сложившегося «этнического баланса» в государстве.

Неудивительно, что с провозглашением Украиной независимости и началом строительства национального государства началось переосмысление функций

демографической науки и ее роли в обществе. Воссоздание демографической науки в Украине, свободной от наследия «советской демографии, ангажированной военно-экономическим тоталитаризмом», мыслится некоторыми авторами на новой ценностной основе «государственно-национального солидаризма»³⁹. Национальная форма демовоспроизводства является определяющей: «развитие национальной солидарности украинцев станет активным фактором усиления межнациональной солидарности на просторах Украины»⁴⁰. Такой подход имплицитно определяет отношение украинской демографии к изменениям в этническом балансе населения, к иммиграции в Украину, к межнациональным бракам.

Так, одобрение демографов вызывает начавшееся в 1991–1993 гг. изменение этнического баланса населения в пользу украинцев, даже несмотря на то, что оно является, главным образом, результатом эмиграции из Украины представителей других национальностей. О. Чирков и И. Винниченко с удовлетворением отмечают:

«Экономический кризис на Украине привел к одному позитивному результату – начавшемуся преобладанию численности русских эмигрантов над русскими иммигрантами. Начал снижаться и удельный вес белорусов. Продолжается уменьшение доли евреев, поляков, чехов, словаков, греков, караимов, крымчаков и других этнических меньшинств»⁴¹.

В соответствии с заключением авторов,

«...при условии сохранения существующей сегодня тенденции в будущем Украина будет двигаться к этнической структуре населения с большим количеством малочисленных (в сравнении с украинцами) меньшинств и одним большим, до 10% численности населения (русские). Такие изменения этнической структуры населения страны, безусловно, будут способствовать процессу национальной консолидации»⁴².

В целом негативную оценку в рамках господствующего демографического дискурса получает иммиграция в Украину, которая включает репатриацию депортированных в советское время народов, а также беженцев и транзитных мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Нелегальная миграция из стран Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока представляет особую угрозу для санитарно-эпидемиологической, криминогенной ситуации и даже для безопасности государства в целом. «Геополитическое положение Украины и “прозрачность” ее границ, особенно со странами СНГ, содействуют превращению ее в своеобразную “стартовую площадку” для мигрантов из стран “третьего мира”, которые пытаются нелегально перейти ее границу и попасть в Западную Европу, и “отстойник” для тех, кто после неудачных попыток оседает на территории

Украины»⁴³. Однако, по мнению автора, существует еще одна проблема: «учитывая существующую депопуляцию, не скрывает ли в себе интенсивный процесс афро-азиатской иммиграции в отдаленной перспективе определенную опасность для самого существования украинского народа?»

Связь демографии с национальной мифологией видна также на примере оценки сложившегося демографического баланса между городом и селом. Демографическая ситуация в селе вызывает беспокойство специалистов не только в силу своей особой сложности, но еще и потому, что село играет особую роль в украинской национальной мифологии:

«Именно село было базой воспроизводства украинского населения (“людности”), а аграрный сектор – определяющий среди экономических структур нашей страны. Однако долгосрочная политика нашего государства исходила из преувеличенного значения городского образа жизни и недостаточного внимания к проблемам крестьянства. Вследствие неравноценности жизненных условий городского и сельского населения, неразвитости производственной и социальной инфраструктур в селе происходила интенсивная миграция сельских жителей в города, постепенно размывался традиционный украинский менталитет и утрачивал свое значение идеал многодетной сельской семьи»⁴⁴.

Согласно украинскому национальному мифу, именно село, сельское население, сельские семьи являются носителями аутентичной украинской идентичности, национальных традиций, религиозных ценностей, языка. Поэтому отток сельского населения в города, экономический кризис в сельском хозяйстве, социальный и культурный упадок села подорвали не только экономический и демографический – но тем самым и духовный потенциал украинской нации.

Дискурс, который Ювал-Дэвис назвала «народ как сила», является в украинской демографии доминирующим. Как и в России, снижение рождаемости и депопуляция рассматриваются как важнейшие проблемы, определяющие будущее нации. Экономические и социальные последствия депопуляции – это ухудшение ситуации на рынке труда, старение населения и возрастание нагрузки на пенсионную систему. Некоторые специалисты указывают, что главной целью политики в этой области должно стать не стимулирование рождаемости и повышение ее уровня, а «замедление дальнейшего падения интенсивности детородной деятельности населения Украины», «обеспечение хотя бы на минимальном уровне качества питания и содержания тех, кто рождается или уже родился»⁴⁵. Другие более категорично настаивают на «всемерном стимулировании населения к деторождению»⁴⁶. Однако их объединяет общая исходная посылка: выживание нации и ее будущее процветание связаны с преодолением демографического кризиса и повышением рождаемости, оценки расходятся относительно имеющихся для этого возможностей и ресурсов.

Однако, как видно из приведенных примеров, в Украине дискурс «народ как сила» имеет и другую сторону. Речь идет не просто о снижении численности населения Украины, а о более серьезной угрозе – «национальном вырождении», «размывании» украинского этноса. Вырождение нации является результатом колониальной политики советского государства. «Массовое переселение русских и русскоязычных представителей других народов на Украину, языковая русификация украинцев, слабое развитие профессиональной украинской культуры, утрата украинцами в отдельных районах эндогамии, целенаправленная идеологическая обработка населения, особенно детей и молодежи, с откровенным очернением истории Украины и привитием украинскому юношеству комплекса неполноценности, отсталости, архаичности, бесперспективности и непрестижности всего украинского – все это подготовило подходящую почву для окончательного и бесповоротного обрусения в недалеком будущем»⁴⁷. Поэтому, несмотря на возрастание доли украинцев в этническом составе населения, ситуация в «этнодемографической сфере» остается критической: «украинская этничность продолжает утрачивать свой вес на Украине»⁴⁸.

Проявления евгенического дискурса также можно обнаружить в работах современных украинских демографов. Проблема «сохранения генофонда» украинской нации связана прежде всего со снижением показателей здоровья населения. «О ее актуальности свидетельствует повышение доли врожденной и наследственной патологии в структуре заболеваемости и смертности новорожденных, возрастание бесплодия, сокращение детородного контингента и общее старение населения»⁴⁹. Рост алкоголизма, наркомании, распространение СПИДа и других социальных болезней приводит к ухудшению генетического потенциала и позволяет говорить о перспективах физического вырождения нации (автор статьи ссылается на «мнение ученых», согласно которому популяция, генетически испорченная на 30%, обречена на вырождение). Однако «вырождение» связано также с интеллектуальным обеднением генофонда украинского народа. Поскольку преобладающим типом становится однодетная и бездетная семья, «с уменьшением общего количества новорожденных автоматически снижается вероятность рождения одаренных детей»⁵⁰. Как следствие, рост рождаемости видится как один из основных способов решения проблемы не только количества, но качества населения.

Псевдонаучный евгенический дискурс, переносящий закономерности развития биологической популяции на человеческое общество, является частью идеологии национализма. Как с одобрением отмечает Н. Левчук,

«...еще в 20-х годах нынешнего столетия академик С. Рудницкий обосновал необходимость не только квантитативной... но и квалитативной политики, которая должна быть направлена на рождение “генетически здоровых и расово

полноценных лиц», и должна была опираться на достижения национальной биологии (евгеники)»⁵¹.

Согласно Рудницкому, «национальная биология и биологическая политика должны идти если не впереди национальной экономики и экономической политики, то хотя бы в паре, обладая равным весом и ценностью»⁵². По-видимому, националистический дискурс, рассматривающий нацию как единый организм, «здоровье» которого вызывает беспокойство, предполагает и его «лечение». Поэтому меры, продиктованные заботой о здоровье будущих поколений (развитие медико-генетических служб и системы генетического мониторинга, требования предварительного медицинского обследования пары, намеревающейся вступить в брак), отнюдь не являются политически нейтральными и могут быть использованы властью как средство контроля за «качеством» нации.

Мальтузианский дискурс в Украине в последнее время находит проявление в отношении крымских татар. В литературе все чаще выражается опасение по поводу возрастания их численности не только вследствие репатриации, но и в силу их активного репродуктивного поведения, обусловленного национальными и религиозными традициями. Высокая рождаемость в семьях крымских татар может привести в будущем к изменению этнического баланса в Крыму и в Украине в целом. Эти опасения подкрепляются как высокой степенью заселенности Крыма и возрастающей антропогенной нагрузкой на окружающую среду, так и опасностью политической дестабилизации в регионе. Как пишет Н. Левчук,

«...возрастающая численность крымских татар и связанный с этим процесс постепенной этно-социальной модификации структуры населения Крыма будет влиять на динамику политической жизни в целом. От того, насколько удачными окажутся интеграция крымских татар в украинское общество, их социальная адаптация, зависит, какую электоральную нишу в перспективе они займут»⁵³.

Так или иначе, в современной демографической литературе воспроизводственная функция женщин, принадлежащих как к «коренной» национальности, так и к этническим и языковым меньшинствам, рассматривается не только с точки зрения роста численности населения, но и как фактор национальной консолидации украинского общества на этнической основе.

4. Женское движение и ренессанс традиционализма

Женское движение в Украине, в отличие от российского, в первую очередь идентифицирует себя с задачами национального возрождения и создания независимого государства в качестве первейшей и необходимой предпосылки защиты женских прав и интересов. Его идеология в значительной степени про-

никнута идеями национализма и поэтому охотно использует рассмотренные выше схемы: семья как основа возрождения нации, решающая роль женщины в сохранении украинской культуры и воспроизводстве украинского этноса, в духовной консолидации общества. В итоге женское движение, как правило, видит свою роль в первую очередь в содействии национальной консолидации, а не в защите женских прав. По словам одной из делегатов Всеукраинского женского конгресса (1998),

«...нормальное положение женщины возможно только в нормальном стабильном государстве. Поэтому все наши силы должны быть в первую очередь направлены на укрепление государственности Украины. Политическая неоднородность и расслоение украинского общества не содействуют государствообразующим процессам... Роль женщины в консолидации украинского общества могла бы быть решающей. И если украинские женщины не способны объединиться вокруг национальной или государственной идеи, то, может быть, они объединятся вокруг идеи счастливой семьи, здоровья детей»⁵⁴.

Не случайно приобрело популярность оброненное кем-то выражение «гендерна злагода» (гендерное согласие, мир), оно подчеркивает установку на бесконфликтный характер женского движения, вернее, на отсутствие конфликтов между двумя «гендерами». Более важной задачей, с точки зрения многих представительниц женского движения, является совместное противостояние угроз «национального вырождения», «исчезновения украинского этноса» или утраты государственной независимости. Поэтому «традиционно крепкая» украинская семья должна обеспечить национальную консолидацию, а не раскол по гендерному признаку.

Ориентация на семью и традиционные гендерные роли – первое, что обращает на себя внимание в материалах женских конференций и публикациях многих женских организаций. Так, на Всеукраинском конгрессе женщин в 1998 г. одна из делегатов заявила:

«Во все века в Украине считалось наибольшим грехом – убить ребенка в своей утробе, самой тяжелой Божьей карой – не иметь собственных детей, непрощаемой виной – бросить ребенка, забыть старых родителей, не уважать отца своих детей»⁵⁵.

Интересы женщины рассматриваются главным образом и прежде всего как интересы ее семьи, ее детей. Профессиональная самореализация, конечно, не отвергается в принципе, однако подразумевается ее подчиненный и производный от семьи и материнства статус. Вот еще один пример такого рода риторики:

Старая идеология новой семьи

«Сама природа возложила на женщину ответственность за будущее человеческого рода. Рождение и воспитание детей – это высшая цель и смысл ее жизни. Может быть, поэтому женщина до определенного времени была равнодушна к политике, заботясь об уюте и согласии в семье. Но когда этим ценностям что-то угрожает, она должна стать активным участником политической жизни, поскольку ответственность за детей – это ответственность за общество, его настоящее и будущее»⁵⁶.

Согласно этой просемейной логике, профессиональная деятельность, участие в политике и в бизнесе хотя и по силам женщине, однако имеют для нее смысл только «ради детей» (в узком смысле – ради благополучия собственной семьи, в широком – ради будущих поколений). Эти социальные роли оказываются производными от основной и изначальной роли – материнской, а альтруизм (в противоположность мужскому эгоизму) рассматривается как главный побудительный мотив социальной и политической активности.

Таким образом, представления о роли женщины не только в семье, но и вне ее строятся на основе традиционной дихотомии мужского и женского предназначения, обусловленного если не биологически, то социокультурно. По словам М. Драч, возглавляющей международную организацию «Жіноча громада», в современном обществе женщине предназначена особая и крайне важная функция – функция гуманизации социальных отношений:

«Именно женщина в украинском обществе лучше всего подготовлена к исполнению гуманистической функции как благодаря национальной традиции (как берегиня семьи и жизни), так и благодаря социально-историческим реалиям (сегодня украинская женщина имеет значительно более высокий образовательный уровень, чем представители сильного пола)»⁵⁷.

Эти особенности женщины, хотя и названы социокультурными, в действительности являются производными от биологической функции материнства:

«Женщины более гибкие, они легче адаптируются к проблемам и трудностям, связанным с особенностями переходного периода, отмеченного высоким уровнем криминализации. Поэтому они способны взять на себя бремя воспитания детей, формирования общественных ценностей и представлений о добре и зле как раз тогда, когда устоявшиеся демократические нормы и традиционные ценности исчерпали себя или оказались неэффективными в условиях жестокой конкуренции и борьбы за выживание»⁵⁸.

То, что украинское женское движение пытается ввести семейную проблематику в пространство политического дискурса, вполне закономерное явление. Сомнения вызывает скорее политический язык, который используется совре-

менным женским движением в Украине. Он практически не отличается от языка других политических партий, также активно использующих популистскую апелляцию к «интересам семьи» и «защите материнства». В своем нынешнем виде украинское женское движение рискует превратиться в статиста, используемого в политической игре различными силами, которые умело манипулируют социальной неудовлетворенностью женской части населения. Примером может служить недавно созданный под патронатом жены президента Украины предвыборный блок «Женщины за будущее», для чего на местах активно использовался административный ресурс.

Идеология женского движения объединяет неотрадиционализм и неофеминизм с мифом о «сильной» украинской женщине, ее особой природе. Дискуссии об «украинском матриархате», «особом характере» украинских женщин и высоком социальном статусе материнства приобретают особое значение в контексте проблем и противоречий формирования национальной идентичности. В современном политическом дискурсе не случайно активно используется миф об украинском матриархате, в соответствии с которым в прошлом «женщины традиционно играли важные социальные и экономические роли и обладали “равенством в различии”»⁵⁹, но впоследствии это историческое преимущество украинской нации было утрачено, в том числе под влиянием российской колонизации. Посредством обращения к мифу о «матриархатном характере украинской культуры» украинские женщины репрезентируются как «другие», отличные от западных. Они преданы семье и привержены своим традиционным ролям жены и матери, но в случае необходимости способны взять на себя ответственность за судьбу нации, они не видят в мужчинах своих врагов и не зафиксированы на «эгоистических» женских интересах. Репрезентация украинской женщины, «сильной» по самой своей природе, исключает феминистский дискурс «дискриминации» и «защиты прав».

С другой стороны, украинская женщина представлена одновременно как «традиционно» более свободная в публичной и частной сферах, менее ограниченная патриархальными нормами и институтами по сравнению с российской женщиной. Таким образом, образ Украины как нации, «исторически» высоко оценивающей женщину, семью и материнство, противопоставляется «патриархальной» империалистической России. Следовательно, деколонизация украинской культуры и строительство независимого национального государства в первую очередь отвечает интересам женщин. Это создает, хотя и на иной, националистической основе, политический альянс женщины и государства, подобный тому, который лежал в основе советской гендерной политики. По словам Алены Пашко, главы Союза украинок,

«...сегодня украинская женщина нуждается во внимании и всесторонней помощи со стороны государства, но и государство нуждается в серьезной по-

мощи со стороны женщины-патриотки, которая всегда была воплощением духовности, моральности, свободолюбия, берегиней национального сознания и семейного очага»⁶⁰.

Конечно, дискурс «прав женщин», «дискриминации» и «насилия в отношении женщин» все больше проникает в современное женское движение и даже в государственную семейную политику. Важнейшим толчком к этому стала Четвертая Всемирная конференция ООН по проблемам женщин, проходившая в 1995 г. в Пекине. Она активизировала появление и развитие женских организаций, акцентирующих проблемы прав женщин и гендерного равенства, содействовала появлению нового «феминистского» политического языка. Кроме того, Украинское государство, связанное международными обязательствами, оказалось вынужденным проводить мониторинг социально-экономического и политического положения женщин, привлекать женские организации к сотрудничеству в области разработки соответствующих программ и подготовки национальных докладов и отчетов. В результате в 1997 г. Кабинетом Министров Украины был утвержден «Национальный план действий на 1997–2000 гг. по улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе». Значительным шагом вперед стало также признание важности гендерной экспертизы украинского законодательства. В марте 1999 г. Верховной Радой Украины была принята «Декларация об общих основах государственной политики Украины в отношении семьи и женщин». Декларируя приверженность принципу равноправия мужчин и женщин, ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и привлечения женщин к разработке и принятию экономических, политических, социальных и правовых решений на всех уровнях, Декларация в то же время подчеркивает приоритет статуса семьи и ее прав, необходимость ее укрепления, социальную значимость института материнства.

Как оказалось, неофамилизм в женском движении вполне способен ужиться с гендерной риторикой. В приветственной речи президента Л. Кучмы, обращенной к участникам Всеукраинского женского конгресса, отмечалось: «...от реализации задач (в области защиты прав и интересов женщин. – Т.Ж.) в значительной степени зависит вхождение Украины в семью демократических и цивилизованных стран».⁶¹ Интеграция Украины в европейское сообщество в качестве независимого национального государства, заимствование западных институтов рынка и демократии предполагает принятие хотя бы элементов современной либерально-демократической идеологии, в том числе «прав женщин». И гендерная риторика, и «укрепление семьи» подчинены в современном женском движении в лучшем случае задачам национального строительства, а в худшем – политической конъюнктуре и интересам правящей элиты.

Заключение

Таким образом, строительство национального государства, внедрение институтов демократии и свободного рынка неизбежно требует изменения статуса семьи и ее социальной роли. Из социалистической «ячейки общества», выполняющей в основном функциональную роль, она превращается в символ национального возрождения, преемственности поколений, экономического и культурного процветания Украины. «Традиционно крепкая украинская семья» репрезентирует приверженность национальной традиции и ценностям солидарности, но также равенство, свободный выбор и уважение к правам человека, подтверждая оправданность исторического выбора в пользу независимости и демократии. На этом фоне возрастающее влияние дискурса «прав женщин» и гендерного равенства служит подтверждению европейского имиджа украинского государства и его открытости принципам «глобального феминизма» Запада. В то же время эти принципы с легкостью инструментализируются в украинском контексте для обслуживания целей «национальной консолидации».

2004

Примечания

- ¹ Антонов, А. Социология семьи / А. Антонов, В. Медков. М., 1996. С. 117.
- ² Якубова, Ю. Особистість та сім'я в епоху соціальних трансформацій / Ю. Якубова // Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення. Київ, 1998. С. 33.
- ³ Гаспарян, Ю. Семья на пороге XXI века / Ю. Гаспарян. СПб., 1999. С. 8.
- ⁴ Антонов, А., Медков, В. Ук. соч. С. 242–243.
- ⁵ Там же. С. 140.
- ⁶ Там же. С. 138.
- ⁷ Там же. С. 123.
- ⁸ Кризис семьи и депопуляция в России (“Круглый стол”) // Социологические исследования. 1999. № 11. С. 50-57.
- ⁹ Антонов, А. Медков, В. Ук. соч. С. 135.
- ¹⁰ Гаспарян, Ю. Ук. соч. С. 10.
- ¹¹ Там же. С. 61.
- ¹² Антонов, А., Медков, В. Ук. соч. С. 142.
- ¹³ Там же. С. 246.
- ¹⁴ Там же. С.249.
- ¹⁵ Харчев, А. Брак и семья в СССР. Опыт социологического исследования / А. Харчев. М., 1964.
- ¹⁶ Вишневский, А. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР / А. Вишневский. М., 1998. С. 136.
- ¹⁷ Градскова, Ю. Новая идеология семьи и ее особенности в России / Ю. Градскова // Общественные науки и современность. 1997. № 2. С. 181–185.

- 18 Там же. С. 183.
- 19 Там же. С. 184.
- 20 Форсова, В. Православные семейные ценности / В. Фролова // Социологические исследования. 1997. № 1.
- 21 Жінка на порозі XXI століття: становище, проблеми, шляхи соціального розвитку. Збірник матеріалів Всеукраїнського конгресу жінок 21-23 травня 1998 року. Київ, 1998. С. 97.
- 22 Градскова, Ю. Ук. соч. С. 184.
- 23 Giddens, A. The Third Way. The Renewal of Social Democracy / A. Giddens. Cambridge, 1998. P. 91–92.
- 24 Ibid. P. 92.
- 25 Кризис семьи и депопуляция в России (“круглый стол”).
- 26 Захарова, О. Геополитические аспекты депопуляции в России / О. Захарова, Л. Рыбаковский // Социологические исследования. 1997. № 6.
- 27 Там же. С. 49.
- 28 Там же. С. 48.
- 29 Там же. С. 49.
- 30 Там же.
- 31 Там же. С. 51.
- 32 Там же. С. 53.
- 33 Про становище сімей в Україні. Київ, 1999. С. 53.
- 34 Там же. С. 55.
- 35 Чуйко, Л. Застосування моделей спеціальних таблиць шлюбності у дослідженнях її структурної трансформації / Л. Чуйко // Демографічні дослідження. 1997. Вип. 19. С. 127.
- 36 Якубова, Ю. Ук. Соч. С. 35.
- 37 Грабовська, І. Чи довго ще квилити чайці-небозі, або знов про жіночність України / І. Грабовська // Сучасність. 2000. № 5. С. 102.
- 38 Yuval-Davis, N. Gender and Nation / N. Yuval-Davis. London, 1997.
- 39 Піскунов, В. До характеристики сучасного стану суспільства в Україні як макрформи демореальності / В. Піскунов // Демографічні дослідження. 1997. Вип. 19. С. 60.
- 40 Там же. С. 63.
- 41 Чирков, О. Етнодемографічний розвиток України: історія, сучасність, перспективи / О. Чирков, І. Вінниченко // Сучасність. 2000. № 7–8. С. 120.
- 42 Там же. С. 122.
- 43 Левчук, Н. Про дослідження механізму формування демографічної кризи в Україні / Н. Левчук // Демографічні дослідження. 1997. Вип. 19. С. 17.
- 44 Там же. С. 8.
- 45 Стешенко, В. До питання про концепцію національної демполітики в Україні / В. Стешенко, В. Піскунов // Демографічні дослідження. 1996. Вип. 18. С. 22.
- 46 Пірожков, С. Україна в демографічному вимірі: минуле, сучасне, майбутнє / С. Пірожков [и др.]. Київ, 1995. С. 30.

- 47 Чирков, О., Вінниченко, І. Там же. С. 119.
48 Там же. С. 122.
49 Левчук, Н. Про дослідження механізму формування демографічної кризи в
Україні. С. 15.
50 Там же.
51 Там же.
52 Там же. С. 15.
53 Левчук, Н. Нас меншає. Що робити, аби було навпаки? / Н. Левчук // Віче.
2000. № 1. С. 111.
54 Жінка на порозі ХХІ століття. С. 97.
55 Там же. С. 39–40.
56 Там же. С. 36.
57 Там же. С. 62.
58 Там же.
69 Rubchak, M. Christian Virgin or Pagan Goddess: Feminism versus the Eternally
Feminine in Ukraine / M. Rubchak // Women in Russia and Ukraine / ed. R. Marsh.
Cambridge University Press, 1996. P. 315–316.
60 Жінка на порозі ХХІ століття. С. 114.
61 Там же. С. 114.

ПОСТСОВЕТСКАЯ СЕМЬЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Хотя «семья» является центральным элементом любого политического дискурса в Украине, мы мало знаем о том, что же в действительности происходит сегодня с этим социальным институтом. Мифологизация украинской семьи, якобы сохраняющей на протяжении веков особые этнокультурные характеристики и воплощающей непреходящие моральные ценности, мешает более внимательно присмотреться к тем процессам, которые происходят в современной семье под действием различных факторов: реструктуризации рынка труда, изменений в государственной социальной политике, распространения новых потребительских стандартов и стилей жизни, изменения моделей сексуального, брачного и репродуктивного поведения... Здесь неизбежно возникает целый ряд вопросов, требующих прояснения. Как соотносятся перемены в современной украинской семье с тенденциями, характерными для большинства развитых индустриальных стран? Являются ли негативные тенденции (снижение показателей брачности и рождаемости, рост числа разводов) следствием либерализации экономики, отмены социальных гарантий и льгот и затяжного экономического кризиса 1990-х гг.? Может быть, «кризис семьи» и связанные с ним явления социальной деградации – социальное сиротство, рост алкоголизма, наркомании и преступности среди детей – являются всего лишь отдаленным следствием многолетней советской политики женской эмансипации, принудительной всеобщей занятости и разрушения традиционной семьи? Или мы переживаем сегодня общий для большинства развитых стран процесс перехода к постиндустриальному, постсовременному обществу и, соответственно, не «закат семьи», а изменение ее модели?

Первая часть статьи посвящена обсуждению вопроса о том, находится ли институт семьи в Украине в состоянии временного кризиса, или, скорее, переживает новую фазу модернизации. Во второй части на основе доступных социологических данных анализируются распределение гендерных ролей в украинских семьях и воспитание детей. Наконец, третья часть посвящена рассмотрению роли семьи в процессах адаптации населения к рыночной экономике.

1. “Кризис семьи” или догоняющая модернизация?

1.1. Украина в сравнительной перспективе

Демографические и социологические данные свидетельствуют о кризисных явлениях в семейной сфере. Уровень рождаемости к концу 1990-х гг. оказался самым низким за всю послевоенную историю Украины¹. Общий коэффициент рождаемости, который составлял в 1989 г. 13,3 на 1000 человек населения, в 1997 г. снизился до 8,7, а в 1999 г. – до 7,8. Специальный коэффициент рождаемости (количество рожденных на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет) упал с 55 в 1989 г. до 30,5 в 1999 г. Поскольку оба эти коэффициента зависят также от половозрастной структуры населения, более точно интенсивность деторождения характеризует суммарный коэффициент рождаемости (или близкий к нему показатель – исчерпанная плодовитость), который показывает, сколько детей могла бы родить женщина в течение жизни при сохранении в каждом возрасте существующего уровня рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости в течение 20 лет с начала 1960-х гг. составлял примерно 2 детей, с 1989 г. начал снижаться и в 1996 г. составлял уже 1,3, в 1997 – 1,25, а в 1999 г. – 1,1 (простое воспроизводство населения предполагает показатель 2,2). При этом наблюдается существенная региональная дифференциация как по темпам падения рождаемости, так и по достигнутому уровню: суммарный коэффициент варьируется от 1,1–1,2 в восточных областях до 1,6–1,8 в западных². Эта дифференциация объясняется преобладанием доли сельского населения в западных областях и различиями в культурных традициях. Нетто-коэффициент воспроизводства населения (характеризующий степень обновления материнского поколения дочерним) в 1999 г. составил 0,544 (простое воспроизводство требует показателя 1,1).

Согласно данным выборочного обследования домохозяйств, проведенного в 1999 г., большинство семей, имеющих детей, ограничивается рождением одного ребенка (60%), 34,3% семей имеют двое детей. Семьи с тремя детьми и больше стали редкостью (5,7%), даже в сельской местности они составляют скорее исключение (11,3%)³. Кроме того, снижение рождаемости сопровождается изменением демографических установок в сторону уменьшения желаемого количества детей. Среднее желаемое количество детей при заключении брака

уменьшилось с 2,7 у мужчин и 2,0 у женщин в 1970 г. до соответственно 1,81 и 1,73 в 1996 г⁴.

Как отмечают специалисты, снижение рождаемости характеризует демографическую ситуацию в большинстве индустриально развитых стран, однако оно сопровождается значительным повышением средней продолжительности жизни, чего не происходит в Украине. Например, Германия и Италия при суммарном коэффициенте рождаемости 1,3 и 1,2 имеют среднюю продолжительность жизни 76 и 77 лет соответственно⁵. В результате снижения рождаемости, а также старения населения и возрастания показателей смертности численность населения в Украине с 1993 г. неуклонно сокращается (депопуляция). Депопуляция в Украине сопровождается ухудшением показателей здоровья населения, сокращением средней ожидаемой продолжительности жизни.

Согласно данным проекта MONEE, рождаемость в 1990-е гг. сократилась по всему региону стран с переходной экономикой. С 1989 по 1997 г. сокращение общего коэффициента рождаемости в странах Центральной Европы составило 30%, Юго-Восточной Европы – 41%, бывшей Югославии – 10%, в Балтийских странах – 40%, в западной части СНГ – 14%, в Закавказье – 35%, в Центральной Азии – 28%⁶. Хотя коэффициенты рождаемости начали снижаться в этом регионе еще до 1989 г., сегодня рождаемость в абсолютном выражении находится на чрезвычайно низком уровне, что является «свидетельством того, сколь дорого обходятся женщинам и семьям усилия по содержанию своих детей в условиях экономических трудностей переходного периода»⁷.

По сравнению с докризисным периодом рождаемость в Украине снизилась во всех возрастных группах и в городах, и в сельской местности. Наиболее значительное снижение рождаемости наблюдается в возрастной группе 30–44 года. В условиях Украины, где типичны ориентации на раннюю рождаемость, это свидетельствует об отказе от рождения второго и третьего ребенка. Доля детей первой очереди рождения увеличилась с 47,1% в 1985–1989 гг. до 55% в 1990–1994 гг.⁸ В возрастной группе 20–24 года рождаемость остается самой высокой, именно в этом возрасте украинские женщины, как правило, рожают первого ребенка. Однако снижение рождаемости произошло и в этой возрастной группе. Коэффициент рождаемости среди женщин до 20 лет также снизился, однако остается достаточно высоким (35 рождений в среднем за год на 1000 женщин этой возрастной группы)⁹ по сравнению с развитыми европейскими странами. Более высокая, чем в Украине, ранняя рождаемость, сохраняется только в Молдове и в Болгарии. Согласно выводам демографов, «важной особенностью половозрастной рождаемости в Украине является ее все большая концентрация в младших возрастных группах, в частности – в самых младших»¹⁰. Практически это означает, что молодая женщина взваливает на себя бремя материнства, не успев получить образование и профессиональную квалификацию, что существенно осложняет ее позиции на современном рынке труда. Это отличает

Украину от большинства развитых индустриальных стран, где возраст рождения первого ребенка сдвигается к 27–29 годам. Данная особенность в определенной мере объясняется инерцией советской репродуктивной культуры, когда в условиях всеобщей занятости женщины ориентировались не столько на профессиональную карьеру, сколько на работу, совместимую с семейными обязанностями. Кроме того, низкое качество медицинских услуг и возрастающий процент осложненных родов способствуют поддержанию бытующего мнения об опасности поздних родов. Ранняя рождаемость особенно характерна для села (ее коэффициент в сельской местности почти в 2 раза выше, чем в городской) не только в силу традиции, но и потому, что родители могут обеспечить молодой семье поддержку за счет своего хозяйства, проблема жилья не стоит так остро, а молодые женщины сориентированы на формы занятости, вторичные по отношению к подсобному хозяйству и домашней работе и не требующие длительного обучения. Высокий уровень рождаемости у женщин моложе 20 лет характерен для большинства стран с переходной экономикой. Кроме Чехии, Словении и Хорватии, этот показатель в данном регионе значительно выше, чем в Западной Европе.

Другой важнейшей тенденцией, позволяющей говорить о кризисных явлениях в сфере семьи, является снижение коэффициента брачности. В 1991 г. Украина занимала по этому показателю первое место в Европе и считалась страной с высоким уровнем брачности (9,5 на 1000 жителей). Однако с 1992 г. происходило снижение коэффициента брачности (6,0 в 1997 г.). В последние два-три года снова намечился некоторый рост этого показателя (6,9 в 1999 г.)¹¹. Хотя колебания половозрастной структуры населения (соотношение мужчин и женщин) оказывают определенное влияние на динамику брачности, в данном случае налицо определенные сдвиги в брачном поведении значительных групп населения.

Чем можно объяснить сокращение количества желающих вступить в брак? По данным социологического исследования молодых семей, значительная часть воздерживающихся от брака связывает свой выбор с экономическими или жилищными проблемами¹². Однако другим существенным фактором является возрастание значения конкурирующих ценностей (например, профессиональной карьеры, досуга или личного потребления) по сравнению с ценностями семьи и брака. Высокий уровень брачности в советской Украине был следствием социальной стабильности, гарантий полной занятости и государственной политики обеспечения минимального жизненного уровня. Конечно, материальные трудности и особенно дефицит жилья значительно осложняли жизнь молодых семей, но вряд ли рассматривались как серьезный аргумент против заключения брака. В условиях, когда господствовали достаточно низкие стандарты условий и уровня жизни, позволить себе создать семью мог практически каждый. Более того, заключение брака рассматривалось молодыми людьми как форма вступле-

ния во взрослую жизнь, способ обретения самостоятельности и формальной независимости от родителей (хотя материальная зависимость могла сохраняться долгое время). Высокий уровень женской занятости не препятствовал созданию семьи, поскольку государство несло значительную часть издержек по воспитанию детей, обеспечивая базовые потребности при уравнительном подходе. Поэтому средний возраст заключения первого брака оставался в Украине достаточно низким по сравнению с индустриально развитыми странами. Так, с 1979 по 1989 г. он даже несколько снизился: с 21,8 до 21,0 у мужчин и с 19,7 до 19 у женщин¹³.

Сегодня, когда ответственность за экономическое благополучие полностью возлагается на семью, а уровень требований к качеству жизни значительно возрос, заключение брака представляется более ответственным шагом. (В 1997 г. средний возраст заключения первого брака для мужчин составлял 24,66 года, для женщин – 21,98 года.)¹⁴ В условиях расширения свободы выбора в области получения образования, профессиональной карьеры, предпринимательской деятельности брак перестал быть единственным способом обретения независимого и самостоятельного статуса. Сексуальное поведение молодежи стало более свободным и менее ориентированным на поиск брачного партнера (в том числе благодаря развитию рынка контрацептивов), а ценности семьи и брака все более жестко конкурируют с потребностями развития профессиональной карьеры.

Для сравнения, по данным проекта MONEE, общий коэффициент брачности снизился с 1989 по 1997 г. по всему региону стран с переходной экономикой, особенно значительно – в Балтийских странах (на 52%) и в Закавказье (на 49%), но также и в других частях региона: в Центральной Европе на 26%, в бывшей Югославии – на 5%, в Юго-Восточной Европе – на 31%, в западной части СНГ – на 27% и в Центральной Азии – на 31%. «Снижение числа браков (в том числе повторных) можно интерпретировать как отсрочку вступления в брак вследствие экономических обстоятельств. Однако гораздо труднее судить о том, чреваты ли эти изменения также и более глубокими сдвигами в образе жизни»¹⁵. По-видимому, вывод может быть различным для разных стран региона.

Что касается показателей нестабильности браков, тенденция постепенного возрастания числа разводов наблюдалась в Украине задолго до начала реформ (в 1989 г. этот показатель достиг 3,7 разводов на 1000 человек населения). Пройдя через пик подъема в 1992 г. (4,3 на 1000 человек), в последние годы уровень разводов стабилизировался (в 1998 г. – 3,6, в 1999 г. – 3,5)¹⁶. Однако количество разводов на один заключенный брак, т.е. коэффициент нестабильности браков, возрос с 0,4 до 0,54 за период с 1990 по 1997 г. По некоторым оценкам, около 1,5 млн украинских детей в возрасте до 18 лет воспитываются сегодня в неполных семьях, чаще всего матерью¹⁷. Согласно переписи 1989 г., семьи, состоящие из матери и детей, составляли 10,6% общего количества семей, матери, детей и

одного из родителей матери (отца) – 1,7%, семьи, состоящие из отца и детей, составляли 1,0 %, из отца, детей и одного из родителей отца (матери) – 0,2%¹⁸.

Неполные семьи представляют собой серьезную социальную проблему, поскольку относятся, как правило, к категории малообеспеченных. Развод и в советское время рассматривался социологами как негативное явление, однако главным образом с точки зрения последствий для социализации детей. Экономические проблемы неполных семей частично компенсировались наличием государственных бесплатных услуг в области образования, здравоохранения, детского отдыха, льготных цен на товары детского ассортимента. Сегодня, когда экономическое благополучие ребенка напрямую зависит от заработка родителей, развод, как правило, влечет за собой его резкое ухудшение. Тенденция к феминизации нищеты – неизбежный спутник даже социально ориентированной рыночной экономики – сближает Украину со странами Запада (хотя понятие «нищета» имеет при этом различный смысл). Одинокие матери с детьми, лишенные поддержки государства и неконкурентоспособные в условиях рынка, оказываются одной из наиболее уязвимых категорий населения. Размеры социальной помощи на детей являются крайне незначительными, а алименты недостаточными вследствие резкого снижения реальной заработной платы в официальном секторе и невозможности контролировать вторичную занятость.

Снижение количества браков и сохранение высокого уровня разводимости сопровождается распространением альтернативных форм брака и семьи, ростом числа незарегистрированных браков. Сама по себе эта тенденция не может рассматриваться как однозначно негативная, она отражает определенную либерализацию норм социального регулирования в постсоветском обществе, появление конкурирующих ценностей и стилей жизни, реакцию на возросший динамизм рынка труда. Наблюдается также неуклонный рост внебрачной рождаемости: 1990 – 11,2%, 1995 – 13,3%, 1997 – 15,2%, 1999 – 17,4% (процент к общему количеству рожденных). При этом также заметны региональные отличия: если в западных областях (Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской), где все еще сохраняются традиции прочной семьи, этот показатель колеблется от 7 до 9%, то в южных областях – Одесской, Николаевской, Херсонской и Республике Крым он составляет 25–26%¹⁹. Рост числа внебрачных сожительств наблюдается также в некоторых относительно благополучных странах с переходной экономикой: в Эстонии, Латвии, Словении. Внебрачная рождаемость также возросла с 1989 по 1997 г. (в Эстонии до 52%, в Латвии – до 35%, в Словении – до 33%). Этот показатель существенно увеличился и в России (с 14 до 25%). Однако если в Словении отцы чаще всего регистрируются в качестве родителей, даже если они не проживают с матерью ребенка, то в России у половины внебрачных детей зарегистрирован только один родитель²⁰.

Тенденция роста внебрачной рождаемости характерна для индустриально развитых стран Запада (исключение составляют католические страны и Япо-

ния). В США в период с 1940 по 1993 г. внебрачная рождаемость выросла с 5 до 31%. В 1993 г. она составляла среди белых американцев 23,6%, среди афроамериканцев – 68,7%²¹. При этом с 1994 г. внебрачная рождаемость (особенно среди подростков) стала постепенно сокращаться. Высокий процент внебрачной рождаемости наблюдается также в Великобритании и скандинавских странах. Однако между этими странами имеется существенное различие. Если в США только 25% всех внебрачных рождений приходится на пары, состоящие в незарегистрированном браке, то во Франции, Дании и Голландии этот процент намного выше, а в Швеции достигает 90%²². Существенным является вопрос о том, воспитывается ли ребенок матерью-одиночкой или обоими родителями, состоящими в фактическом браке. Украинская статистика, к сожалению, не позволяет оценить, что в действительности стоит за ростом внебрачной рождаемости. При крайне незначительных размерах социальной помощи матерям-одиночкам и существующих проблемах с женской занятостью эта тенденция сигнализирует о возрастании численности уязвимой социальной группы.

Распространение неполных семей вследствие роста разводов и внебрачной рождаемости, по мнению специалистов, увеличивает группу риска, в которую входят малообеспеченные и социально неблагополучные семьи. Как свидетельствуют данные исследований, дети в таких семьях плохо питаются, хуже обеспечены медицинскими услугами, имеют меньший доступ к получению образования, особенно высшего. В неблагополучных семьях дети подвержены риску наркомании, алкоголизма и вовлечения в преступную деятельность. Во многом вследствие обнищания и социальной деградации значительной части семей стали распространенными детское бродяжничество и проституция – новые для Украины явления. Согласно Национальному отчету о положении детей в Украине, подготовленному Министерством по делам семьи и молодежи, около 90 тыс. семей не выполняют воспитательных функций в отношении своих детей. Почти 70% беспризорных детей происходят из неполных или многодетных семей²³. Среди основных причин увеличения количества социальных сирот, кроме традиционных (асоциальное поведение родителей, алкоголизм, наркомания, преступность), появились и новые: экономическая нестабильность, безработица, бедность. Только в 1998 г. требовали социального устройства более 20 тыс. детей. По сравнению с 1997 г. контингент детей, находящихся в приютах для несовершеннолетних, увеличился на 35%. Из общего количества детей, находящихся в приютах, 50% происходят из малообеспеченных семей, 18% – из многодетных²⁴.

1.2. Идеологические интерпретации «кризиса семьи»

Таким образом, кризисные явления в семейно-демографической сфере проявляются в сокращении рождаемости, ведущем к депопуляции, в снижении брачности, в росте числа неполных семей и увеличении внебрачной рождаемости. Резкое снижение жизненного уровня, сложная экологическая ситуация, отсутствие перспектив в ближайшем будущем, несомненно, оказывают влияние на стратегии брачного и репродуктивного поведения, заставляют многих откладывать создание семьи или рождение детей до лучших времен. Уменьшается доля молодых семей и семей с детьми, и наоборот, растет доля однодетных и бездетных семей, увеличивается процент одиноких, разведенных и овдовевших²⁵. Возрастает также доля социально неблагополучных семей, все большее распространение получают детская наркомания, алкоголизм, детская беспризорность и преступность. Являются ли эти тенденции результатом неудавшегося социалистического эксперимента и неоправданного вмешательства государства в автономную сферу семьи или, скорее, они представляют собой следствие затянувшихся экономических неурядиц переходного периода и не затрагивают самих основ института семьи? Или, возможно, эти тенденции отражают в значительной степени кризис и трансформацию институтов семьи и брака в постиндустриальном обществе? Все три позиции присутствуют в сегодняшних дискуссиях: первую можно обозначить как постсоветский традиционализм, вторую – как скрытый традиционализм, третью – как постмодернизм.

С точки зрения «постсоветского традиционализма», эти негативные явления интерпретируются как «подрыв моральных устоев семьи» и «угроза вырождения нации». Особая семейная ментальность украинцев, склонность к ранним бракам, традиционная, но почти исчезнувшая многодетность рассматриваются приверженцами этой позиции как этнические и культурно укорененные особенности украинского общества, позволяющие надеяться на выход из кризиса. Поощрение рождаемости любыми методами, морализаторская пропаганда семейных ценностей, крайне негативное отношение к регулированию репродуктивной функции характерны для этого дискурса не только в Украине, но и в других странах Восточной Европы. Причины сложившейся ситуации неотрадиционалисты видят не столько в экономических проблемах переходного периода, сколько в советском прошлом, а вина за подрыв традиции возлагается на государство и коммунистический режим. Неотрадиционализм полностью или частично отвергает наследие социалистической модернизации в сфере семьи.

Кроме того, для украинского неотрадиционализма характерна тесная увязка преодоления «кризиса семьи» с более общими задачами строительства национального государства и возрождения нации²⁶. Несмотря на частичное признание оправданности таких тенденций, как нуклеаризация семьи и демократизация внутрисемейных отношений, идеал семьи все же усматривается в

прошлом. Так, по мнению социолога Ю.М. Якубовой, возрождение семьи выступает необходимым условием возрождения украинской нации:

«Украинская нация должна сохранить себя в семье. Дом, семья, труд, высокая духовная культура и гражданская зрелость украинского народа призваны обеспечить ему высокий уровень жизни, а Украине – независимость, экономическую и политическую стабильность, нерушимость границ и высокий международный авторитет. Никто не построит для украинцев государства и не создаст материальных условий, если семья будет морально и материально дезорганизована. Семья должна стать основой и символом духовного и экономического возрождения, целью многогранной гуманистической деятельности украинского государства...»²⁷

Неотрадиционалистский дискурс сочетает частичное признание результатов модернизации семьи с обращением к прошлому в поисках идеала и националистически окрашенным морализаторством. По словам Якубовой, украинская семья должна воспитывать такие качества, как

«...уважение и преданность своим родителям, семье, готовность к взаимопомощи, почитание культа предков, традиций и обычаев своего народа, чувство духовного единства поколений, уважение к родителям, женщине-матери, любовь к культуре и истории родного народа, совершенное владение украинским языком, который является основой народной культуры и государственным языком Украины, уважительное отношение к культуре, обычаям и традициям народов, населяющих Украину, экологическую культуру личности, ответственность за природу как национальную и общечеловеческую ценность»²⁸.

Однако, по мнению другой группы специалистов, деструктивные тенденции в воспроизводственной сфере современной Украины отнюдь не свидетельствуют о кризисе институтов брака и семьи, а являются скорее следствием социально-экономических проблем. Согласно точке зрения Л. Чуйко,

«...уже в период 1979–1989 гг., несмотря на относительно стабильную социально-экономическую ситуацию, наметились остропроblemные структурные диспропорции в режиме брачно-семейных процессов, связанные с тенденциями роста разводов и снижения детородной функции брачных пар. Они были следствием слишком медленных и в целом недостаточных сдвигов в социально-экономических условиях жизни, которые не отвечали потребностям своевременного опережающего решения неотложных социально-экономических, особенно жилищных проблем. Поэтому в период перехода Украины к новым социально-экономическим отношениям, который начался в начале 1990-х гг. и который сопровождается экономическим кризисом и резким ухудшением жиз-

ненного уровня народа, структурно-функциональная дезорганизация брачно-семейных процессов значительно усилилась»²⁹.

Таким образом, с ее точки зрения, негативные тенденции вызваны скорее внешними по отношению к семье факторами:

«Сбои в адаптационном механизме брачности и структурные деформации этого процесса в кризисном социуме Украины не дают оснований для вывода о снижении ценности института брака и семьи в устоях жизни населения Украины. Тем более – об отмирании этих институтов в их традиционном понимании или отказе от них. Об этом свидетельствует усиленная наследственность украинской брачно-семейной ментальности, население Украины в подавляющем большинстве проживает семьями, созданными на основе юридически оформленного брака»³⁰.

Аналогичную позицию отстаивает социолог Наталья Лавриненко. По ее мнению, потребности в досуге, общении и профессиональной карьере в современной кризисной ситуации не оказывают такого влияния на потребность в детях, как падение уровня жизни, инфляция и неблагоприятные экономические условия³¹. Этот подход, усматривающий причины негативных явлений не в моральной, а в экономической сфере, может быть охарактеризован как «скрытый традиционализм». Ведь из него следует, что если треволнения рыночных реформ улягутся и уровень жизни населения возрастет, население Украины вернется к традиционной брачно-семейной ментальности, к традиционному брачному и репродуктивному поведению.

Насколько оправданным является убеждение в особой приверженности украинского общества брачно-семейным ценностям? Следует ли ожидать семейного бума по мере того, как Украина будет выходить из кризиса? По крайней мере, в отношении рождаемости прогнозы демографов очень осторожны. Они указывают на то, что достичь докризисного уровня рождаемости удастся только при значительном превышении докризисного уровня жизни: открытое общество будет способствовать ориентации на западные стандарты потребления, достижение которых возможно только за счет ограничения рождаемости³². Значительное ухудшение здоровья населения (в том числе репродуктивного) также будет сдерживать рост рождаемости. Что касается сельского населения, на которое возлагаются основные надежды по возрождению традиций многодетности, то переход к фермерскому хозяйству может стать негативным фактором, поскольку потребует увеличения инвестиций в основные фонды за счет экономии на деторождении³³.

Опыт развитых стран показывает, что рост благосостояния населения практически не коррелирует с уровнем рождаемости, имеет место скорее обратная зависимость. Хотя в определенные периоды, после войн и экономических кри-

зисов, наблюдался «эффект наверстывания», на протяжении XX в. имела место общая тенденция к сокращению рождаемости в индустриально развитых странах. Она не была «ни выражением “культурного декаданса”, ни признаком упадка народов, которые его переживали», а «запоздавшей реакцией людей на промышленную революцию и связанную с ней утрату детьми хозяйственной ценности»³⁴. По мнению историка семьи Райхарда Зидера, бум рождаемости 1960-х не противоречил общей тенденции, а был, наоборот, высшей точкой в развитии семьи в европейских индустриальных обществах, когда «каждый взрослый и совершеннолетний гражданин получил возможность жениться и иметь детей, не будучи в силу экономических причин вынужденным откладывать это решение»³⁵.

Рост числа разводов и их легитимация в массовом сознании в исторической перспективе также представляется неизбежным следствием процессов модернизации. Утрата семьей хозяйственной функции, объединяющей членов семьи в производственном процессе, появление экономических возможностей для расторжения брака (женская занятость, социальная защита неполных семей) уже изменили природу этого социального института. Рост эмоциональных ожиданий, предъявляемых к брачному союзу, снижение роли прагматических соображений и установка на романтическую любовь делают его хрупким и неустойчивым. Скорее всего, эта неустойчивость будет возрастать, когда проблема экономического выживания уже не стоит так остро. Кроме того, либерализация отношения общества к разводу, «снижение готовности принимать конфликтный брак» – это также существенные факторы³⁶, действующие в экономически благополучных обществах. По мере того, как все большее число детей вырастает в неполных семьях, эта ситуация перестает восприниматься как отклонение от нормы.

Кроме того, в условиях постиндустриального общества, допускающего вариативность жизненных стилей, и наличия развитого рынка потребительских товаров и услуг нуклеарная семья утрачивает монопольный статус, получают распространение альтернативные формы совместного сожительства, все большее число людей предпочитают одиночество, не исключая, правда, различных форм длительных отношений. С возрастанием возможностей свободного выбора облегчается переход от одной формы организации жизни к другой. «Человек постиндустриального общества в процессе своей жизни, вероятно, чаще и в большем количестве, чем прежде, будет менять различные жизненные модели»³⁷.

Деинституционализация брака и частичная замена его различными формами сожительства, дальнейшая дифференциация функций репродукции, секса и любви, постепенная утрата семьей монопольного и безальтернативного статуса, институциональное отделение родительства от семьи – это те тенденции, с которыми сталкивается сегодня постиндустриальное общество. Ситуация, скла-

дывающаяся в постсоветских странах, не может быть рассмотрена вне этого контекста. Этот подход может быть назван *(пост)модернистским*. Он отражен, например, в работах российского социолога С.И. Голода. По его мнению,

«...автономизация брачности, прокреации и сексуальности, переход в выборе брачного партнера от закрытой к открытой системе, превращение развода в атрибут брака – ни в коем случае не должны ассоциироваться с кризисом семьи вообще и моногамии в частности. ...Закономерности изменения семьи созвучны общесоциальным переменам, иными словами – модернизация глобального общества влечет за собой и трансформацию отдельных его институтов»³⁸.

Аналогичную оценку результатов модернизации в семейной сфере за годы Советской власти дает и известный демограф Анатолий Вишневский, помимо хорошо известных проблем подчеркивающий

«...приобретения XX в.: расширение свободы выбора для мужчины и женщины как в семейной, так и в социальной области, равенство партнеров, большие возможности контактов между поколениями, удовлетворения личных потребностей, самореализации и т.д.»³⁹

1.3. «Догоняющая модернизация» семейной сферы

С этой точки зрения, было бы неправильно видеть причины перемен в украинской семье только в экономических факторах. Несомненно, рыночные реформы и кризис в украинской экономике существенно изменили социально-экономические условия существования семьи, до предела задействовав ее адаптивный потенциал (данный аспект будет рассмотрен в третьей части этой главы). Однако эти явления, вызванные экономическим кризисом 1990-х гг, наложились на долгосрочные тенденции, переживаемые большинством индустриальных стран. Некоторые из этих тенденций проявились в Украине уже в советский период, другие стали очевидными только в последнее десятилетие.

По мнению западных исследователей, после Второй мировой войны институт семьи в индустриально развитых странах оказался перед лицом двух новых вызовов. Первым вызовом стала контрацептивная революция – изобретение и широкое распространение надежных противозачаточных средств – оральных контрацептивов. Снижение рождаемости отнюдь не было ее главным следствием, поскольку различные формы индивидуального регулирования репродуктивной функции существовали и раньше, и переход к средне- и малодетной семье, характерной для индустриального общества, начался еще в XIX в. Действительно революционным следствием изобретения «таблетки» оказалось изменение отношений между полами: женщины стали более самостоятельными и

независимыми в выборе партнера, а мужчины смогли разделить с ними бремя ответственности за последствия сексуальных отношений. Второй вызов – массовый выход женщин на рынок труда и обретение ими экономической самостоятельности (даже при сохраняющемся неравенстве в доходах) – оказался фактором, закрепившим изменения в гендерных отношениях. Развод стал приемлемой для обеих сторон формой разрешения конфликтов и противоречий в браке. Экономическая независимость женщин и их возрастающая конкуренция в традиционно мужских сферах поставили под вопрос существование семьи, основанной на полярных и взаимодополняющих гендерных ролях мужчины-кормильца и женщины-домохозяйки. По мере того как брак переставал быть «предприятием, основанным на взаимоспецифическом капитале» (т.е. в котором сексуальные и домохозяйственные услуги обмениваются на участие в доходах от рыночных форм деятельности), центр тяжести конфликтов и противоречий сместился к проблемам деторождения и воспитания и в сферу эмоционально-интимных отношений супругов. Современная семья постиндустриального общества – это предприятие с неопределенным исходом, предполагающее имманентный конфликт интересов и гибкое перераспределение гендерных ролей; институт, все еще обеспечивающий функцию биологического воспроизводства и социализации детей и в то же время все более зависимый от степени удовлетворения эмоциональных и психологических потребностей ее членов.

Эти тенденции, характерные для всех индустриально развитых стран, затронули и советскую семью, хотя и с некоторыми особенностями. Революция в сфере женской занятости была осуществлена у нас усилиями государства наиболее последовательно, однако оценить степень экономической независимости женщин в сравнении с достигнутой в странах Запада не так просто. Хотя советская женщина была защищена как работник с помощью системы протекционистских мер, однако степень ее самостоятельности была ограничена уравнительной политикой в области заработной платы и крайне скромными возможностями профессионального продвижения. В отличие от стран Запада, карьера не стала для советской женщины реальной альтернативой деторождению в силу как позитивных, так и негативных стимулов: необходимые минимальные возможности для совмещения работы и материнства обеспечивало государство, а возможности настоящей профессиональной карьеры были ограниченными. Однако сокращение рождаемости и сдвиг к малодетной семье, характерные для индустриальных стран, тем не менее также имели место в советской Украине. Что же касается сексуальной революции 1960-х, только слабые ее волны достигли до советской семьи. Западные достижения в области контрацепции оставались практически недоступными советским женщинам – общеизвестно, что аборты были основным средством контролирования рождаемости. В условиях современного индустриального общества советские женщины столкнулись с теми же проблемами, что и западные, – необходимостью совмещения семьи и

работы, а также обеспечения контроля над деторождением – однако в более неблагоприятных для них условиях. И «сексуальная революция», и революция в сфере занятости в условиях социализма во многом осуществились не в пользу, а за счет женщин.

И в то же время советская семья, несомненно, испытала определенные изменения, связанные с воздействием процессов модернизации. Смена исторических типов семьи в советском обществе описана российским социологом С.И. Голодом⁴⁰. Согласно его типологии, первая модель – патриархальная, или традиционная – основывалась на доминировании мужчины в семье, подчиненном положении жены и детей. Она была в основном распространена в СССР до Второй мировой войны, и сегодня еще сохраняется на территории России в среде некоторых национальных меньшинств. Начиная с конца 1940-х и вплоть до 1980-х гг. доминирующей стала детоцентристская (или современная) семья, в которой взаимоотношения супругов строятся вокруг воспитания детей. Она существовала (и существует) в различных формах – от авторитарной, где ребенок является в основном средством самоутверждения одного из родителей, до амбивалентной и затем – квазиавтономной, – в которой придается главенствующее значение самостоятельному развитию ребенка. И наконец, в последнее время возникает и получает распространение супружеская, или постсовременная, семья. «В этом типе стратегические отношения определяются не родством (как в патриархальном) и не порождением (как в детоцентристском типе), а свойством. Муж и жена отказываются безоговорочно подчинять собственные интересы интересам детей; сексуальность не сводится к прокреации, в супружеские отношения проникает эротизм, акцентируемый как ключевой момент постмодернистской семьи»⁴¹.

Согласно С.И. Голоду, этот тип семьи возник относительно недавно и пока не является доминирующим. В то же время данные социологических исследований в России свидетельствуют о некоторых сдвигах в этом направлении: при наличии маленьких детей и подростков оценка качества брака у супругов занижена по сравнению с семьями, где дети выросли или их нет.

«...Этот результат противоречит представлению, что дети делают семьи более стабильными, скорее – наоборот. В семьях с детьми супруги чаще думают о разводе. Вероятно, это свидетельствует о переходе от семьи, в которой основным является забота о детях, к семье, в которой эмоциональные отношения между супругами наиболее значимы»⁴².

Что касается украинских семей, то вполне возможно, что падение рождаемости, а также изменение установок на желаемое количество детей в сторону уменьшения также частично указывает на наличие этой тенденции, а не только является результатом неблагоприятных социально-экономических условий.

В то же время в массовом сознании, да и в академическом, преобладает детоцентристская модель семьи. Так, в национальном докладе «О состоянии семьи в Украине», подготовленном на основе материалов социологических исследований, основной акцент сделан на деторождении и воспитательных функциях семьи. Показательно, что проблемы взаимоотношений супругов не стали предметом специального анализа в этом документе, они вскользь рассматриваются только в контексте экономических трудностей семьи и межпоколенческих взаимоотношений.

Стартовав опережающими темпами и в довольно радикальных формах с победой большевистской революции, тенденции модернизации семейной сферы оказались в советском обществе не до конца реализованными или частично «замороженными». Изменения, которые мы наблюдаем сегодня в сфере семьи (дальнейшая либерализация сексуальных и брачных отношений, приход женщин в бизнес, их возрастающий интерес к профессиональной карьере, намечающийся пересмотр традиционных гендерных ролей в семье), связаны с постепенным или, наоборот, резким «оттаиванием» этих тенденций. В обозримом будущем мы станем свидетелями скорее всего не «возрождения традиционной семейной ментальности», а несколько иных явлений, связанных с «догоняющей модернизацией» семейной сферы. Завершение «сексуальной революции» и дальнейшая либерализация норм брачной и семейной жизни, изменение гендерных стереотипов массового сознания и рост популярности эгалитарных ценностей в отношениях полов, особенно среди молодежи, расширение возможностей профессиональной и предпринимательской карьеры для женщин – это тенденции, противодействующие «постсоветскому традиционализму».

В то же время процессы модернизации в семейной сфере нельзя свести к линейной трансформации «патриархальная семья – детоцентристская семья – супружеская семья». Скорее речь идет о переходе от монополии и доминирования преимущественно детоцентристской советской семьи к ситуации конкуренции нескольких моделей, их различных сочетаний и последовательной смены на протяжении жизненного цикла. Усиливающееся движение в сторону супружеской семьи не исключает возрождения и закрепления патриархальных тенденций, связанных с традиционными ценностями и авторитетом религии. Кроме того, следует отметить факт возникновения тенденций «неопатриархата» в среде нарождающегося среднего класса, появление типа семьи, основанной на жестком дуализме гендерных ролей и подобной той, что стала предметом критики феминисток в 1960-е гг. на Западе. Нарастающую вариативность и гибкость различных моделей семьи и наложение разнонаправленных тенденций можно назвать основным эффектом «догоняющей модернизации» в постсоветском обществе.

2. Гендерные роли и воспитание детей

2.1. Распределение гендерных ролей в украинской семье

Гендерные роли и гендерное неравенство в семье до сих пор не изучались украинской социологией систематически. Некоторую информацию можно почерпнуть из данных социологического опроса «За равные права и возможности», проводившегося в Украине в 2002 г.⁴³ В соответствии с данными опроса больше половины мужчин и женщин считает профессиональную деятельность «важной»/«довольно важной» для себя (среди женщин 53/25%, среди мужчин 63/22%). Однако еще большее единство наблюдается по вопросу оценки значимости семьи: «важной»/«довольно важной» считают семью 85%/10% женщин и 80%/14% мужчин. Три четверти опрошенных женщин и мужчин согласились с тем, что «для ребенка дошкольного возраста плохо, если мать работает», 63% женщин и 75% мужчин полагают, что женские обязанности связаны прежде всего с семьей, а мужские – с профессиональной деятельностью. Интересно, что 55% мужчин убеждены, что они должны иметь преимущество перед женщинами в случае дефицита рабочих мест (среди женщин 37% согласились и 56% отвергли эту идею).

В то же время 62% женщин и 50% мужчин не согласились с тем, что «высшее образование важнее для мужчины». Абсолютное большинство опрошенных (96% женщин и 93% мужчин) убеждены, что оба родителя должны нести равную ответственность за воспитание детей и принимать решения сообща. Довольно противоречивые результаты опроса демонстрируют смесь советской культуры эгалитаризма (например, в вопросе об образовании) со стойким убеждением в преимуществах традиционного распределения гендерных ролей.

Данные исследования говорят также о том, что хотя оба родителя обладают достаточно высоким статусом в украинских семьях, роль матери в воспитании детей более значительна. Женщины, как правило, лучше знакомы с проблемами и интересами детей. Они чаще, чем мужчины, помогают детям в школьных делах, читают им книги, водят в музеи, кино и на выставки, обсуждают с ними их проблемы и вовлекают в домашние дела. Мужчинам остается сфера спорта, увлечений и экскурсий на природу. Среди обязанностей, выполняемых почти исключительно женщинами, первое место занимает уход за больным ребенком и посещение врача. Около 70% опрошенных признали, что именно женщина отводит ребенка в детский сад или школу и забирает домой, а также укладывает спать вечером. На женщине, таким образом, лежит большая часть семейных обязанностей, связанных с воспитанием и уходом за ребенком. Она выполняет также основную часть «эмоциональной работы» в семье: обеспечение коммуникации, поддержание атмосферы эмоционального комфорта, психологическая помощь в случае необходимости. В результате отношения детей с отцами в украинских семьях являются более дистанцированными.

Помимо воспитания детей, женщины выполняют также подавляющую часть других семейных обязанностей (приготовление пищи, стирка, глажение, уборка квартиры, мытье посуды). Вклад мужчин в домашнее хозяйство – это прежде всего закупка товаров. Правда, в сельской местности мужчины выполняют много других «мужских» работ по хозяйству. В среднем, согласно данным опроса, жена выполняет 63% домашней работы, муж – 16%, мать (свекровь, теща) – 13%, отец (свекор, тесть) – 1%, дети – 4%, другие родственники – 2%, на долю платных услуг приходится 1% домашних услуг. Вклад мужчины в домашнее хозяйство зависит от его возраста и образования. Так, мужчины в возрастных группах моложе 24 и старше 49 лет чаще помогают своим партнершам. Мужчины среднего возраста, очевидно, больше поглощены своей профессиональной карьерой и заняты зарабатыванием денег. Мужчины с высшим образованием более активны в домашнем хозяйстве и склонны разделять семейные обязанности со своими партнершами. В то же время, что касается женщин, то их возраст и уровень образования практически не влияют на долю выполняемых ими домашних обязанностей.

В целом распределение ролей в украинских семьях соответствует традиционным представлениям о «мужских» и «женских обязанностях» прежде всего в том, что касается домашней работы и воспитания детей. Высокий уровень образования женщин и их профессиональной занятости в постсоветской Украине отнюдь не ведет автоматически к более эгалитарному распределению обязанностей в семье. Скорее, современную ситуацию можно рассматривать как продолжение советской практики «двойного бремени» производственных и домашних обязанностей. Только небольшая часть семей отвечает модели «одного кормильца», при этом работающие женщины несут большую часть ответственности за семью. Многие женщины испытывают физический и психологический стресс и жалуются на ограниченные возможности профессионального роста. Однако проблема гендерного неравенства в семье не стала пока предметом публичных дискуссий. Характерно, что большинство опрошенных заявили, что они «удовлетворены» или «почти удовлетворены» распределением обязанностей в их семьях (27%/41% женщин и 31%/43% мужчин). И все же процент «неудовлетворенных» среди женщин выше, чем среди мужчин (19% против 11%).

Интересно сравнить результаты украинского социологического опроса с данными социологических исследований, проведенных в России. Последние демонстрируют асимметрию между взглядами и убеждениями в отношении гендерных ролей и реальным распределением обязанностей в семье, диктуемым часто прагматическими соображениями экономического выживания⁴⁴. Большинство мужчин и женщин считают, что зарабатывание денег является важнейшей мужской обязанностью, но удовлетворять требованиям, предъявляемым ролью добытчика семьи, могут только немногие, а около 70% опрошенных женщин продолжают работать и вносят существенный вклад в семейный бюд-

жет. «Мировоззренческая приверженность традиционному разделению труда в семье и традиционным гендерным идентичностям находится в контрасте с реальностью, дающей примеры эгалитарных семейных практик»⁴⁵. Подобно этому в Украине большинство опрошенных полагают, что идеальным является традиционное распределение ролей и обязанностей в семье: для мужчины самое главное – работа, для женщины – дом, семья. Однако, оценивая реальную социально-экономическую ситуацию (безработицу, случаи, когда женщина является «кормильцем» семьи), опять-таки подавляющее большинство мужчин и женщин согласились с необходимостью профессии и деловых качеств как для мужчины, так и для женщины. Эта амбивалентность свидетельствует о половинчатости модернизации, незавершенности перехода от «всеобщей женской занятости» к равному статусу полов в профессиональной сфере и эгалитарному распределению домашних обязанностей и о запаздывающей легитимации этих изменений в сознании людей.

2.2. Воспитание детей

Активное обсуждение в последнее время проблем детской беспризорности, алкоголизма и наркомании поставило на повестку дня вопрос о способности семьи полноценно выполнять воспитательную функцию, о проблемах родительства в современных условиях. Условия переходной экономики поставили в этом отношении перед семьей новые вызовы. Речь идет прежде всего об экономических и социальных проблемах переходного периода, постепенном «уходе» государства из социальной сферы, маркетизации системы образования, социальной дифференциации и возрастании неравенства в украинском обществе, появлении феномена массовой бедности. Кроме того, эти проблемы накладываются на описанные выше тенденции «догоняющей модернизации» в сфере семьи, о которых речь шла выше (либерализация сексуальных отношений, появление новых форм сожительства и партнерства, альтернативных нуклеарной семье, и пр.).

По данным социологического исследования⁴⁶, значительная часть опрошенных выражает сомнения по поводу способности семьи полноценно выполнять воспитательную функцию в современных условиях. Среди причин названы недостаток времени, педагогическая неподготовленность, но прежде всего материальные трудности (на эту проблему указали 83% женщин и 81% мужчин). В целом можно сформулировать несколько проблем, создающих новые вызовы для родительства в современных условиях:

1. Недостаток времени для общения с детьми. Это касается как родителей с низким уровнем доходов, вынужденных подрабатывать в свободное время, так и частных предпринимателей, посвящающих все свое время развитию бизнеса. Данная проблема особенно актуальна для тех семей, где один или оба родителя

работают за рубежом. По различным оценкам, несколько миллионов украинцев находятся на заработках, прежде всего в странах Европы или в России, больше половины из них – женщины. Детей, растущих в таких семьях, часто называют «итальянскими детьми» (Италия – одна из наиболее привлекательных стран для украинских гастарбайтеров), обозначая таким образом характерную ситуацию, когда недостаток родительского внимания компенсируется деньгами и дорогими подарками.

2. Растущий разрыв в уровне доходов и социальная дифференциация семей, а также влияние западных стандартов потребления и стилей жизни. Многие семьи не могут удовлетворить растущие ожидания своих детей относительно модной одежды и развлечений, что порождает напряжение и конфликты в отношениях с родителями, а также дифференциацию и отношения иерархии в подростковых коллективах.

3. Экономический кризис, реструктуризация промышленности и рост безработицы ведут к деградации социальной среды (рост преступности, алкоголизма и наркомании). Эта проблема особенно характерна для крупных промышленных центров, моноиндустриальных населенных пунктов, где структурообразующее предприятие находится в кризисе, например шахтерских поселков. Родители с более высоким экономическим и социальным статусом стараются оградить детей от влияния улицы, предотвратить их раннее знакомство с алкоголем и наркотиками. В то же время возможности родителей контролировать социальные контакты детей сегодня более чем когда-либо ограничены.

4. Радикальные социально-политические и культурные изменения на протяжении последних двух десятилетий углубили разрыв между поколениями отцов и детей. Переоценка советского прошлого, идеологии и ценностей эпохи социализма, растущая роль религии, новое отношение к деньгам создали новые межпоколенческие барьеры.

В Украине отсутствуют систематические социологические исследования по проблеме семейного воспитания. В дальнейшем я опираюсь на результаты опросов, проведенных Украинским институтом социальных исследований и Институтом проблем образования Академии педагогических наук Украины⁴⁷. Эти опросы показывают, что в процессе воспитания родители отдают предпочтение следующим качествам (в порядке приоритетности): независимость и уверенность в себе, настойчивость, способность действовать в любой ситуации, уважение к родителям, трудолюбие, религиозные ценности, бережливость, здоровый образ жизни, уважение к традициям и национальной культуре, патриотизм, честность и открытость, терпимость и уважение к другим людям⁴⁸. Этот список демонстрирует не только воспитательные приоритеты родителей, но также изменения в их собственной системе ценностей. Очевидно, что качества, необходимые в либеральном рыночном обществе (самостоятельность и незави-

симось), выходят сегодня на первое место, несколько потеснив традиционные ценности (трудолюбие, уважение к старшим).

Как подтверждают и другие социологические исследования⁴⁹, авторитет матери в вопросах воспитания несколько выше авторитета отца. 60% опрошенных матерей (и только 46% отцов) заявили, что дети разделяют с ними все их проблемы и секреты. Как показывает опрос детей, с возрастом общение с родителями осложняется, особенно с отцом. 7% 11–12-летних подростков признали, что имеют проблемы в отношениях с матерью и 20% – с отцом. Среди 13–14-летних этот процент составлял соответственно 10 и 31%, а среди 15–16-летних – уже 17 и 40%⁵⁰. Две трети опрошенных детей согласились с тем, что получают от матери необходимую эмоциональную поддержку, и только половина признала, что получает такую поддержку от отца. Опросы показывают, что отец, как правило, находится несколько в стороне от процесса воспитания и прежде всего мать является инстанцией контроля и источником эмоциональной поддержки для детей.

Опрос также свидетельствует, что родители в основном предпочитают авторитарные методы воспитания либеральным. Различия между сельскими и городскими семьями особенно очевидны в вопросе привлечения детей к домашним обязанностям. В сельской местности в 96% семей дети работают вместе с родителями в подсобном хозяйстве. Они принимают участие в полевых работах, уходе за животными и продаже продуктов на рынке. В городах дети регулярно помогают родителям по хозяйству только в 47% семей. В 11% семей дети вовлечены в другие виды работ (например, помощь в частном предприятии).

В целом условия воспитания детей в семьях значительно изменились с конца 1980-х гг. В советской системе родители получали большую поддержку от государства – как материальную, так и институциональную. С другой стороны, они должны были разделять официальную идеологию и ценности (например, религиозное воспитание в семье не приветствовалось государством). Советская школа не столько предоставляла образовательные услуги, сколько осуществляла функцию мягкого контроля за семьей, претендовала на педагогическое лидерство и «воспитание» самих родителей. Система советских институтов воспитания и образования обеспечивала патерналистскую поддержку как детей, так и родителей. Сегодня выбор на рынке образовательных услуг ограничен только доходами семьи. Государство больше не претендует на право родителей воспитывать детей в своей системе религиозных, культурных и политических ценностей. Семья может выбирать между различными типами школ, педагогическими системами и методами преподавания. В то же время она несет всю полноту ответственности за воспитание детей и вынуждена в одиночку сопротивляться растущей социальной аномии. Неспособность семьи выполнять свою функцию в очень незначительной степени может быть компенсирована другими институтами. Программы для бездомных и других проблемных детей имеют дело с

последствиями родительской несостоятельности, но не могут поддержать или заменить семью.

3. Семья как ресурс рыночных трансформаций

К концу 1990-х гг. стали очевидны социальные издержки либерализации экономики в Украине: рост безработицы, особенно ее скрытых форм, распад системы социальной защиты, падение уровня жизни, ухудшение показателей здоровья населения и деградация системы здравоохранения, растущая бедность наиболее уязвимых слоев населения. Рыночные реформы позволили решить краткосрочные задачи ликвидации дефицита и насыщения платежеспособного спроса. Однако качество жизни снизилось, и, несмотря на изобилие новых товаров, только незначительная часть населения смогла организовать внутрисемейное потребление согласно западным стандартам. В целом рыночные реформы привели не к сокращению, а, как минимум, к реструктуризации домашнего труда. Например, интенсивный труд на приусадебном участке, даже если не является средством физического выживания семьи, дает возможность сэкономить средства для приобретения новых товаров, появившихся на рынке. Более того, в большинстве случаев произошло возрастание объемов домашнего труда за счет замены рыночных товаров и услуг домашними как более дешевыми и доступными (демонетизация). Государственные социальные услуги, связанные с уходом за детьми и пожилыми людьми, были в значительной мере заменены домашними услугами членов семьи, прежде всего женщин. Эта тенденция к натурализации домашнего хозяйства, естественно, усиливается с падением уровня доходов семьи.

В этих условиях семья оказалась буфером, смягчающим переход к рыночным отношениям, важнейшим экономическим, социальным и эмоциональным ресурсом, за счет которого отдельные люди и общество в целом адаптируются к новой экономической ситуации, резервом неоплаченного и экономически неучтенного труда, компенсирующего провалы в экономике. Вынужденная вернуть себе часть производственных функций под влиянием экономических трудностей переходного периода, семья стала для значительной части населения формой кооперации усилий, обеспечивающих физическое выживание, а в условиях распада старой символической системы – важнейшим источником сохранения идентичности и способом вписывания себя в окружающий мир. Вызванное этим усиление взаимозависимости членов семьи друг от друга отнюдь не означает ее автоматического «укрепления» – происходит скорее «солидарное, но неравное распределение риска и нагрузки»⁵¹. С возрастанием социальной и экономической нестабильности и продолжающейся дезинтеграцией общества возрастает значение семейных и родственных связей, взаимного обмена услугами, продуктами домашнего хозяйства и денежных трансфертов между род-

ственниками. Семья и сеть родственных связей берут на себя функции обеспечения экономического выживания и социальной защиты.

Этому усилению роли семьи, вызванному, в частности, экономической конъюнктурой, противостоит контртенденция, соответствующая современной стадии модернизации и рыночной глобализации. Современная семья индивидуализируется, освобождается от груза родственных связей, становится более открытой и гибкой структурой. Повышение независимости личности и признание важности ее потребностей и в то же время возрастание потребности в любви, эмоциональной защищенности и сексуальной гармонии, сформированные не в последнюю очередь массовой культурой, поставили институт семьи перед лицом новых трудностей. Традиционалистские нормы, обеспечивавшие ее устойчивость, все больше утрачивают свое влияние, а рынок и связанное с ним возрастание социальной мобильности подвергают семью дополнительным перегрузкам. Перед лицом рынка в условиях постсоциализма семья вынуждена выполнять роль универсального института взаимного страхования, однако зачастую тот же рынок подталкивает стабильность семейных связей. Неполные семьи, матери с детьми, лишенные поддержки традиционных систем семейной солидарности, оказываются в особенно уязвимом положении в условиях экспансии рынка и минимизации государства.

3.1. Натурализация домашнего хозяйства

Одним из последствий значительного спада производства и снижения уровня жизни является частичная демонетизация хозяйственной жизни семьи, переход к различным формам натурального производства. Значительная часть товаров и услуг, приобретаемых ранее на рынке, производится сегодня внутри домашнего хозяйства. Речь идет в первую очередь о личном подсобном хозяйстве, но также о производстве некоторых продуктов питания в домашних условиях, консервировании и других формах заготовки продуктов, пошиве и починке одежды и т.д. В связи с падением уровня жизни многие семьи вынуждены отказываться от рыночных бытовых услуг, замещая их домашним трудом членов семьи, главным образом женщин. Рост натурализации домашнего хозяйства происходит на фоне снижения доходов от оплачиваемой занятости. Согласно обследованию бюджетов семей Украины, проведенному Госкомстатом в 1998 г., доля оплаты труда сократилась в структуре среднедушевого совокупного дохода в 1,5 раза по сравнению с 1990 г., доля социальных выплат (пенсии, стипендии, субсидии) также снизилась на 3,3%, в то же время доля поступлений от личного подсобного хозяйства и доходов из других источников (главным образом частные трансферты) возросла соответственно в 2,6 и 2 раза⁵². Это свидетельствует о сокращении удельного веса денежных доходов в семейном бюджете и увеличении доли поступлений в натуральном виде⁵³.

В современной литературе распространение немонетарных форм обеспечения семьи оценивается по-разному. Согласно одной точке зрения, этот способ выживания семей, оказавшихся за чертой бедности, представляет собой стабилизирующий фактор в условиях экономического кризиса, компенсирующий недостаток ресурсов, получаемых из формальной экономики, и являющийся скорее продолжением прежних норм жизнеобеспечения семьи. Вторая позиция состоит в том, что данная практика – это инволюция домашнего хозяйства в современных условиях, показатель негативных тенденций на микроуровне, когда определяющим фактором в выборе стратегий поведения является не производственная ситуация, а факторы, связанные со структурой семьи: соотношение дееспособных и недееспособных членов семьи, распределение умений и навыков среди ее членов, наличие ресурсов и социальных связей. Причем домашняя экономика не ведет к накоплению и развитию, а лишь способствует выживанию домохозяйства и удовлетворению семейных потребностей⁵⁴. Скорее всего, современная «эксплояризация экономики» (Теодор Шанин) является отражением противоречивых тенденций либерализации и оживления массового духа предприимчивости, реакцией на бюрократизм государственных структур и зарегулированность рынка, и в то же время – вынужденным поиском возможностей адаптации к новой экономической ситуации.

В любом случае личное подсобное хозяйство стало в 1990-е гг. наиболее массовой и доступной семейной стратегией адаптации к рынку. Как свидетельствуют результаты обследований бюджетов семей, значительную часть потребляемого картофеля, около половины овощей, бахчевых, фруктов, ягод и винограда, более четверти яиц, каждый шестой килограмм мяса и мясопродуктов и восьмой килограмм молока и молочных продуктов городские семьи получили от личного подсобного хозяйства и от родственников и знакомых, проживающих в сельской местности. Сельские семьи почти все потребности в питании обеспечивают за счет личных подсобных хозяйств. В 1998 г. земельный участок имели 28,9% городских семей и 98,8% сельских. В ЛПХ населения в 1998 г. было произведено больше половины сельскохозяйственной продукции страны⁵⁵. Очевидно, что личное подсобное хозяйство является существенным ресурсом обеспечения домашнего хозяйства продуктами питания не только в сельской местности, но и в городах.

В то же время ведение личного подсобного хозяйства отнюдь не является доступной для всех в равной мере стратегией выживания. Согласно данным обследования домохозяйств, средняя величина дохода на семью от ЛПХ выше всего в семьях среднего достатка в городах, а в сельской местности – в обеспеченных семьях⁵⁶. Это значит, что беднейшие категории населения (одинокие матери с детьми, пенсионеры) не обладают достаточными экономическими и физическими ресурсами для ведения личного подсобного хозяйства. Обращение к этой экономической стратегии определяется не сколько потребностями,

сколько возможностями семьи: свободным временем (в том числе свободным от ухода за ребенком), наличием определенных навыков работы на земле, состоянием здоровья и физической выносливостью. Эта стратегия оказывается подходящей для полных семей с подростками, для расширенных семей, поскольку основывается на кооперации труда членов семьи.

Кооперация на основе внутрисемейной солидарности не исключает неравенства в распределении трудовой нагрузки. Гендерное неравенство особенно очевидно, если учесть, что подсобное хозяйство является для женщины даже не вторичной, а третичной формой занятости после основного места работы и домашнего хозяйства. В сельской местности проблема совмещения женской различных форм трудовой нагрузки стоит еще более остро. По данным Е. Якубы³⁷, в Украине суммарная производственная нагрузка сельской женщины (т.е. ее затраты труда на производстве и дома) составляет 360 восьмичасовых рабочих дней в год. В рабочие дни ее ежедневные затраты времени на домашний труд достигают 3 часа 45 минут, а в выходные почти 6 часов. По сравнению с мужчинами это в 3–5 раз больше. Среди всех видов домашней работы почти 30% своего времени женщина расходует на приготовление пищи – 1,5 часа в рабочие дни и свыше 2 часов – в выходные. У мужчин эти затраты не превышают 15 минут в сутки. Наконец, размер совокупной нагрузки крестьянки (т.е. затраты ее труда в общественном, личном подсобном и домашнем хозяйствах) ежедневно составляет 15 часов 24 минуты, превышая физиологически допустимые нормы.

3.2. Использование потенциала семейных и родственных связей

Одной из стратегий адаптации семьи к новой экономической ситуации является интенсификация использования сетей семейного и родственного обмена. Взаимный обмен продуктами, услугами, денежная помощь (частные трансферты) играют важную роль в формировании бюджета современной семьи. Косвенно об этом можно судить по данным обследования бюджетов семей Украины в 1998 г.: доля доходов из других источников (в основном натуральная и денежная помощь от родственников и знакомых) возросла с 8,9% в 1990 г. до 18,0% в 1998 г.⁵⁸

Долгосрочной тенденцией в украинском обществе является уменьшение средней величины семьи вследствие распространения малодетности и ориентации на отделение молодых семей от родителей (с 3,8 в 1939 г. до 3,2 в 1989 г.)⁵⁹ Однако в современных условиях в связи с экономическими трудностями и особенно жилищной проблемой наблюдается обратная тенденция. По данным выборочного социологического обследования «Здоровье-1996», возросло количество семейных домохозяйств, в составе которых две-три брачные пары (как

правило, родителей и женатых детей). В 1996 г. средняя величина домохозяйства увеличилась до 3,8 человек (3,7 в городах и 4,3 в селах). Доля семей из двух лиц, наоборот, сократилась с 35,1 до 12,1%, что свидетельствует прежде всего о том, что значительное количество молодых семей по экономическим причинам не может отделиться от родителей⁶⁰.

Денежная и натуральная помощь молодым семьям со стороны родителей типична для украинского общества, однако в условиях экономического кризиса ее значение для выживания молодой семьи особенно возрастает. Социолог Наталья Лавриненко, опираясь на данные исследования «Молодая семья Украины 90-х», пишет о «поздней стабилизации материальных условий жизни большинства семей»⁶¹ и экономической необходимости помощи молодой семье со стороны родителей. Так, больше 60% обследованных молодых семей получают от родителей постоянную денежную помощь, регулярную помощь продуктами, одеждой и предметами быта – 2/3 семей, помощь в решении жилищной проблемы – более 1/3 молодых семей, помощь в ведении домашнего хозяйства – 60–70% обследованных семей.

Данные, приводимые Н. Лавриненко, показывают, что помощь молодой семье более значительна со стороны родителей дочери, чем сына, особенно это касается ведения домашнего хозяйства⁶². Причиной этому является, по-видимому, установка на неравное распределение домашнего труда и внутрисемейных обязанностей. В случае совместного проживания с родителями или поддержания активных родственных связей это гендерное неравенство перераспределяется между более широким кругом родственников. Родственники жены как бы несут большую ответственность за сохранение молодой семьи, молодая женщина, занятая учебной или профессиональной карьерой, делегирует родительской семье часть своих женских домашних обязанностей.

Не следует преуменьшать также значение обратных трансфертов – помощь со стороны детей пожилым родителям. К сожалению, отсутствуют данные, позволяющие оценить экономическое значение этой помощи, особенно в том случае, если пенсионеры живут в составе семьи своих детей. Помощь детей пожилым родителям играет особую роль в постсоветских странах: хотя высокая доля лиц пенсионного возраста и темпы старения населения сближают Украину с развитыми странами, однако размеры пенсии и задержки с ее выплатой превращают пожилых людей в одну из наиболее экономически уязвимых социальных групп. Часть населения в возрасте 60 лет и старше составляла на начало 2000 года 20,5%⁶³ (согласно шкале ООН, молодым считается население, в котором часть лиц в возрасте 65 лет и старше составляет до 4%, 4–7% – население на пороге старости и больше 7% – старое население⁶⁴). При среднем размере пенсии 60 гривен (1999) очевидно, что большинство издержек по содержанию пожилых людей и уходу за ними несет семья и родственники, а одинокие пенсионеры (особенно в городах) находятся на грани выживания. Необходимо

отметить также, что денежная реформа и инфляция обесценили сбережения населения, что особенно затронуло интересы лиц пенсионного и предпенсионного возраста, лишив их независимых источников существования. Расходы, связанные с содержанием пенсионеров, государство перекладывает на семью и родственников. По данным исследований за 1989–1998 гг., нагрузка на одного трудоспособного члена семьи детьми и подростками сократилась, а нагрузка пожилыми людьми возросла (в целом на 9%, в городах на 14%, в сельской местности на 7,7%). Хотя демографическая нагрузка на трудоспособное население в целом снизилась на 1,3%, однако в селе она возросла на 2% за счет более быстрого старения населения⁶⁵. Возрастает доля членов семей, получающих пенсии и пособия, но их незначительный размер увеличивает зависимость от работающих членов семьи.

Авторы исследования поведения домохозяйств в условиях переходной экономики, проведенного в России, указывают, что частные трансферты действительно играют важную роль в выживании беднейших домохозяйств, однако существует тенденция к разрушению частных сетей обмена в условиях продолжительного экономического кризиса: «взаимность разрушается и обменные отношения становятся асимметричными. Они находятся под растущим давлением и оказываются под угрозой распада или же ограничиваются только узким кругом ближайших родственников»⁶⁶. Отсутствие специальных исследований в Украине не позволяет подтвердить или опровергнуть этот вывод применительно к Украине. Однако пока эта стратегия адаптации продолжает играть существенную роль.

3.3. Сдвиги в структуре потребления домохозяйств и истощение ресурсного потенциала семьи

Одной из тенденций изменения экономических стратегий домашних хозяйств в условиях экономического кризиса является экономия на внутрисемейном потреблении. Это находит подтверждение в изменении структуры потребления домохозяйств. Рост доли расходов на питание в семейном бюджете в 1,8 раза – драматическое свидетельство обнищания большинства домохозяйств. В 1,6 раза в сравнении с 1990 г. возросла также доля расходов на оплату услуг (главным образом за счет жилищно-коммунальных и транспортных услуг). При этом расходы на непродовольственные товары сократились почти в 2 раза⁶⁷. Часть потребительских расходов в совокупном доходе семьи составила 88,4% против 74,9% в 1990 г. Ее повышение произошло в основном за счет резкого сокращения накоплений. Такая реструктуризация семейного бюджета свидетельствует об истощении ресурсов семьи, проедании ее экономического потенциала, накопленного в предыдущие годы.

Изменение структуры потребления продуктов питания также свидетельствует о неблагоприятных тенденциях вынужденной экономии и снижения качества питания. Согласно данным общенационального социологического мониторинга общественного мнения, значительное большинство респондентов (от 2/3 в 1994 г. до 3/4 в 1998 г.) отмечали, что не имеют возможности питаться согласно своим вкусам. Более того, за это время существенно возросла (с 53 до 61%) часть населения, лишенная возможности покупать самые необходимые продукты питания⁶⁸.

В 1998 г., по сравнению с 1990 г., потребление мясных, молочных продуктов, яиц и фруктов сократилось в 1,8–2,1 раза, а рыбных продуктов – в 3 раза. Уровень потребления хлеба и картофеля, составляющих основу питания семей, остался по-прежнему высоким во всех группах населения⁶⁹. Потребление продуктов питания в калорийном эквиваленте уменьшилось на треть: с достаточно высокого показателя почти 3600 ккал в сутки на душу населения в 1990 г. до 2540 ккал в 1998 г. (по международным стандартам 2500 ккал в сутки – минимально необходимая норма для человека). Потребление большинства групп продуктов на душу населения (кроме яиц и растительного масла) в 1998 г. было меньшим, чем в 1965 г.⁷⁰ Эти тенденции особенно очевидны в малообеспеченных семьях. Так, в семьях со среднедушевыми доходами ниже черты малообеспеченности в 1998 г. часть затрат на питание составила 72,5%, тогда как в семьях с доходами свыше 150 гривен – 47,9%, а стоимость питания одного члена семьи в день – соответственно 1 грн. 45 коп. и 3 грн. 30 коп.⁷¹

Резкое сокращение доли расходов на непродовольственные товары говорит о том, что большинство семей вынуждено экономить на приобретении новой одежды, обуви, мебели, бытовой техники. На протяжении последнего года ухудшилась обеспеченность населения товарами длительного пользования. Так, холодильник в 1998 г. имели 4/5 семей (в 1997 – 9/10), стиральную машину – 3/4 семей (в 1997 – 4/5), магнитофон и электропылесос – 1/2 (как и в 1997 г.), швейную машину – 1/3 (в 1997 – 2/5 семей)⁷². Правда, бюджетные обследования не достаточно охватывают семьи с высокими доходами. Однако и другие данные (общенациональный социологический мониторинг общественного мнения) свидетельствуют о том, что обеспеченность большинства семей товарами длительного пользования за последние несколько лет ухудшилась или осталась на прежнем уровне (исключение составляют видео- и стереоаппаратура, цветные телевизоры – товары, которые стали более доступными в последние годы).

В целом ухудшение обеспеченности товарами длительного пользования для большинства семей свидетельствует о том, что происходит истощение экономического потенциала семьи, изнашивание основных фондов домохозяйства. Механизация домашнего труда остается на низком уровне по сравнению с развитыми индустриальными странами, что является одним из факторов роста

его объемов. Подорожавшая бытовая техника чаще всего заменяется бесплатным домашним трудом.

3.4. Реформа системы образования и дошкольного воспитания: рост нагрузки на семью

В ходе реформирования социальной сферы, в частности систем образования и здравоохранения, ответственность и экономические затраты, связанные с уходом за детьми, их воспитанием, оздоровлением, лечением, образованием и получением профессии, все в большей мере возлагаются на семью. Политика экономии на социальных затратах особенно сказывается на дошкольном воспитании и уходе за детьми – это услуги, которые с легкостью могут быть заменены женским домашним трудом. Численность детских дошкольных учреждений сократилась с 24,5 тыс. в 1990 г. до 17,2 тыс. в 1999 г. (из них 2,6 тыс. на протяжении года не работали из-за недостатка финансирования, отсутствия энергоснабжения, отопления или из-за капитального ремонта). Численность детей в детских учреждениях сократилась за этот же период в 2,3 раза (в сельской местности – в 2,9 раз). Конечно, снижение рождаемости привело к сокращению спроса на услуги детских дошкольных учреждений, однако это не главный фактор. Для многих семей оплата услуг детских садов является слишком высокой, все больше детей остаются дома с фактически безработной или частично занятой матерью. Охват детей детскими дошкольными учреждениями сократился с 60% в 1985 г. до 39% в 1999 г. При этом имеющийся потенциал детских дошкольных учреждений используется практически полностью.

Низкий уровень заработной платы, высокая скрытая безработица приводят к тому, что женщины стремятся находиться в отпуске по уходу за ребенком и продолжать его как можно дольше. Низкое качество обслуживания в детских дошкольных учреждениях (сегодня на питание ребенка государство выделяет 1,5 гривны в день) плюс постоянный рост оплаты приводит к тому, что в отпусках находится около 10% занятых женщин – значительно больше, чем в других странах, хотя уровень рождаемости в Украине крайне низкий⁷³. Согласно данным исследования «Здоров'я-96», 60,2% родителей были недовольны питанием в детских дошкольных учреждениях, 34,0% – коммунально-бытовыми услугами, 31,1% – уходом со стороны обслуживающего персонала, 24,7% – высокой платой за содержание ребенка⁷⁴. С обострением энергетического кризиса в последние годы массовым явлением стало закрытие детских учреждений по требованию санитарных служб в связи с недостаточным отоплением помещений. Многие детсады закрываются вместе с ликвидацией нерентабельных предприятий.

Советская модель дошкольного образования, ориентированная на предоставление стандартных массовых услуг невысокого качества при сравнительно низких ценах, оказалась в ситуации кризиса в связи с ростом цен на услуги и

обнищанием большинства населения. В условиях растущей социальной дифференциации детские учреждения для одной части населения становятся слишком дорогими, для другой – непривлекательными в силу низкого качества услуг. Однако спрос на услуги дошкольного воспитания и образования остается массовым, особенно в городах, и не может быть удовлетворен только за счет частных услуг.

Что касается школьного образования, все возрастающую роль играет здесь фактор рынка. Рост числа лицеев и гимназий, специализированных школ ведет к повышению качества и расширению возможностей выбора для отдельных категорий населения. Так, в 1999 г. из 22,2 тыс. средних учебных заведений 211 были частными⁷⁵. В то же время происходит снижение качества массового образования, депрофессионализация преподавателей массовой средней школы, обреченных на нищенское существование в современных экономических условиях. Сокращение бюджетного финансирования вынуждает администрацию школ перекладывать на родителей значительную часть расходов, что превращает бесплатное образование в фикцию. Сегодня родители вынуждены оплачивать не только стоимость учебников, но все чаще – мебели, оборудования и ремонта помещений. Кроме того, семьи субсидируют систему образования и в натуральной форме – в виде непосредственной помощи или прямого участия в некоторых видах работ.

Одновременно сокращаются возможности внешкольного образования и организации досуга детей. Большинство домов школьника, спортивных секций, кружков, специальных школ (музыкальных, хореографических, художественных) работают сегодня на коммерческой основе. С 1990 по 1997 г. количество летних детских лагерей сократилось почти в 3 раза, количество мест в них – в 2 раза⁷⁶. Сократилось количество библиотек для детей и юношества, снизилось количество и тиражи детских изданий.

Что касается системы высшего образования, все больше учебных заведений переходят сегодня на платную форму обучения. Это особенно касается престижных специальностей. С 1995 по 1997 г. прием студентов в вузы I–II уровней аккредитации за счет государственного бюджета сократился с 71,7 до 44,6%, в вузы III–IV уровней – с 73,7 до 45,0%. Одновременно прием студентов за счет средств физических и юридических лиц возрос с 14,1 до 42,9% (I–II уровень) и с 21,9 до 53,2% (III–IV уровень)⁷⁷. При отсутствии альтернативных источников получения стипендий, а также неразвитости инфраструктуры для временных студенческих подработок решающее бремя платы за образование и содержания студента ложится сегодня на семью. Поэтому с ростом процессов социальной дифференциации общедоступность высшего образования в Украине становится все более формальной.

3.5. Экономия на медицинских услугах

Резкое сокращение бюджетного финансирования национальной системы здравоохранения привело к снижению качества медицинских услуг, сокращению их доступности для населения и внедрению платной медицины с «черного хода». Если в США на развитие здравоохранения ежегодно выделяется до 14% национального дохода, то в Украине этот показатель достигает всего лишь 3,5%. В Украине государственное финансирование обеспечивает потребности этой отрасли всего лишь на 1/3, тогда как в Канаде – на 83%, в Испании – на 90%, в Великобритании – на 93%. Подавляющая часть бюджетных средств расходуется на выплату заработной платы работникам отрасли. Материально-техническая база практически не обновляется, в 1997 г. объемы ввода в действие больничных и амбулаторно-поликлинических мощностей составили лишь 18–19% уровня 1990 г. Еще больше сократился ввод в эксплуатацию амбулаторно-поликлинических учреждений в сельской местности, достигнув только 7,8% показателя 1990 г. Обеспеченность коечным фондом снизилась более чем на 1/4⁷⁸.

В связи с коммерциализацией системы здравоохранения и введением элементов платной медицины, ростом цен на лекарственные препараты в семейном бюджете появилась новая существенная статья расходов. Высокая стоимость медицинских услуг по отношению к уровню жизни большинства украинских семей подтверждается данными социологических исследований. По данным обследования «Здоровье-96», коммерческие медицинские услуги недоступны 68,5% опрошенных, только 39,8% могут покупать необходимые лекарства (в 94,8% случаев невозможность покупать связана с недостатком денег)⁷⁹. Расходы на медицинское обслуживание становятся той статьёй бюджета, за счет которой семья стремится сэкономить в трудных экономических условиях (особенно это касается профилактики и лечения хронических заболеваний), многие семьи предпочитают обращаться к врачу только в экстренных случаях. Согласно данным 1996 г., среднемесячные затраты на медицинские услуги на одного члена семьи составляли 6,5 гривен. Почти половина семей (44,1%) расходует на медицинские препараты не больше 1 гривны в месяц. Только 39,8% семей в случае заболевания ребенка могут приобрести необходимые медикаменты. Вследствие малообеспеченности подавляющее большинство семей не обращается в медицинские учреждения и занимается самолечением⁸⁰. В неполных семьях в 71,5% семей не хватает денег на оздоровление детей, в 78,1% семей в случае простудного заболевания ребенка лечит сама мать⁸¹. Несмотря на льготные цены на лекарственные препараты для ветеранов, расходы на медицинские услуги оказываются непосильными для пожилых людей. В 1998 г. 1/4 расходов пенсионеров на непродовольственные товары составляла стоимость лекарств, предметов санитарии и гигиены⁸².

Возрастает также объем внутрисемейных натуральных услуг, оказываемых членами семьи друг другу и близким родственникам. В связи с сокращением бюджетного финансирования ограничивается объем и ухудшается качество услуг, предоставляемых государственными учреждениями. Общепринятой практикой становится самообеспечение больных медикаментами, материалами и инструментами, официальная или неофициальная оплата операций и других видов лечения. Уход за больными также в значительной степени вынуждены осуществлять члены их семей. Проблемой является хронический недостаток среднего медицинского персонала: в 1997 г. на каждого врача приходилось 2,5 работника со средним специальным образованием (при норме 1 к 3,5)⁸³. В 1996 г. объемы ввода в эксплуатацию мощностей интернатов для престарелых и инвалидов составляли лишь 3,1% показателя 1990 г., а в 1997 г. эти мощности вообще не вводились – это несмотря на значительное старение населения⁸⁴. Уход за больными, пожилыми и недееспособными членами возлагается на членов семьи, поскольку рыночные услуги медсестры и сиделки остаются недоступными для большинства населения.

3.6. Возрастание риска бедности для семей с детьми

Как показал опыт реформ в странах Центральной и Восточной Европы, угроза бедности оказалась особенно велика для семей с детьми и прежде всего многодетных семей⁸⁵. Тесная корреляция между количеством детей в семье и бедностью является одной из закономерностей переходного периода. Выборочное обследование условий жизни домохозяйств, проведенное в 1999 г. в Украине, подтвердило зависимость среднедушевого дохода от количества детей в семье. Риск малообеспеченности возрастает с увеличением количества детей в семье, основная масса семей с детьми сосредоточена в группах с низкими доходами, а семьи с тремя-четырьмя детьми практически не имеют шансов попасть в группы со средними доходами⁸⁶.

По данным этого исследования, уровень и качество жизни семьи также существенно зависит от числа детей. Если все домохозяйства с детьми расходуют на питание 64,9% бюджета, то семьи с тремя детьми – 69,9%, а с четырьмя и более – 75,1%. Соответственно с увеличением числа детей сокращается доля расходов на непродовольственные товары и оплату услуг⁸⁷. Состав, качество и калорийность питания также ухудшаются с увеличением количества детей в семье. В домохозяйствах без детей стоимость и калорийность продуктов, потребленных за сутки одним членом семьи, была в 1,4 раза выше, чем в домохозяйствах с детьми.

С увеличением числа детей в семье в несколько раз сокращается потребление мяса, яиц, рыбопродуктов, в то время как потребление картофеля и хлеба остается неизменным или даже возрастает. Энергетическая ценность потребля-

емых продуктов питания, содержание в них белков, жиров и углеводов также падает с увеличением количества детей в семье. Так, в семье с четырьмя и более детьми энергетическая ценность суточного рациона на одного члена семьи составляет только 75% от суточного рациона члена семьи, где имеется один ребенок⁸⁸.

Хотя рост «цены ребенка» – характерная особенность современного пост-индустриального общества, однако в развитых странах основным фактором этого роста является необходимость увеличения инвестиций в образование детей. В Украине в условиях перехода к рынку на первый план вышли другие факторы, рассмотренные выше:

- либерализация системы цен и отмена государственных субсидий, обеспечивающих низкие розничные цены на товары детского ассортимента;
- экономический кризис и спад производства во многих отраслях отечественной промышленности, сокращение производства товаров детского ассортимента и частичная замена их более дорогими импортными товарами;
- частичная коммерциализация медицинских и образовательных услуг.

С учетом государственных субсидий и льготных или бесплатных социальных услуг «цена ребенка» (для семьи) в условиях советской экономики могла бы считаться относительно низкой по сравнению с развитыми странами – вполне сопоставимой с уровнем доходов обычной семьи. Сдерживающим рождаемость фактором была, скорее, высокая «теневая» «цена ребенка», включающая затраты времени и неоплаченного труда родителей (в первую очередь матерей) на уход за детьми и их воспитание. И если сегодня «теневая» составляющая осталась прежней, то денежные расходы на содержание и воспитание детей возросли непропорционально доходам подавляющей массы семей. При средней заработной плате 218 гривен на конец 2000 г. официальный прожиточный минимум на одного ребенка составил 241 гривну для детей в возрасте до 6 лет и 297 гривен для детей от 6 до 18 лет.

Таким образом, наличие детей в семье является сегодня существенным фактором риска бедности и ухудшения уровня и качества жизни. Поскольку многодетные семьи особенно подвержены риску нищеты, детская бедность в переходный период растет быстрее, чем бедность других слоев населения. Эта тенденция является, безусловно, крайне неблагоприятной не только с точки зрения семей, но и общества в целом: недостаточное питание, снижение доступности медицинских и образовательных услуг может затормозить физическое и интеллектуальное развитие детей, отразиться на будущем целого поколения.

2004

Примечания

- ¹ Данне о рождаемости приведены из: Діти, жінки та сім'я в Україні. Статистичний збірник. Київ, 1998. С. 16–17; Тот же сборник, 2000. С. 16–17; Стещенко, В. Демографічні перспективи України до 2026 року / В. Стещенко [и др.]. Київ, 1999. С. 10–12
- ² Про становище сімей в Україні. Київ, 1999. С. 12.
- ³ Діти, жінки та сім'я в Україні. 2000. С. 24.
- ⁴ Чуйко, Л. Українські сім'ї та їх дітність // Гендерний аналіз українського суспільства / Л. Чуйко. Київ, 1999. С. 257.
- ⁵ В. Стещенко [и др.]. Ук. соч. С. 11.
- ⁶ Женщины в переходный период. Проект MONEE. Центральная и Восточная Европа, СНГ, Балтия. Детский фонд ООН. UNICEF. Региональный мониторинговый доклад. N 6, 1999. С. 50.
- ⁷ Там же. С. 51.
- ⁸ В. Стещенко [и др.]. Ук. соч. С. 14.
- ⁹ Діти, жінки та сім'я в Україні. 2000. С. 49.
- ¹⁰ В. Стещенко [и др.]. Ук. соч. С.14.
- ¹¹ Діти, жінки та сім'я в Україні. 2000. С. 34.
- ¹² Лавріненко, Н.В. Особливості життєдіяльності сім'ї в умовах трансформації українського суспільства / Н.В. Лавріненко // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. Київ, 1999. С. 590–606.
- ¹³ Чуйко, Л. Застосування моделей спеціальних таблиць шлюбності у дослідженнях її структурної трансформації / Л. Чуйко // Демографічні дослідження. Вип. 19, 1997. С. 123.
- ¹⁴ Про становище сімей в Україні. Київ, 1999. С. 9.
- ¹⁵ Женщины в переходный период. С.50.
- ¹⁶ Діти, жінки та сім'я в Україні. 2000. С. 41.
- ¹⁷ Чуйко, Л. Українські сім'ї та їх дітність. С. 250.
- ¹⁸ Там же. С. 251.
- ¹⁹ Діти, жінки та сім'я в Україні. 2000. С.52.
- ²⁰ Женщины в переходный период. С. 52–53.
- ²¹ Fukuyama, F. The Great Disruption. Human Nature and the Reconstitution of Social Order / F. Fukuyama. Profile Books, 1999. P. 42–43.
- ²² Ibid. С. 44
- ²³ Національна доповідь про становище дитини в Україні. Київ, 1999. С. 55.
- ²⁴ Там же. С. 56.
- ²⁵ Чуйко, Л. Українські сім'ї та їх дітність. С. 249.
- ²⁶ Более подробно об этом шла речь в главе “Старая идеология новой семьи”.
- ²⁷ Якубова, Ю.М. Особистість та сім'я в епоху соціальних трансформацій / Ю.М. Якубова // Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення. Київ, 1998. С. 35.
- ²⁸ Там же. С. 36
- ²⁹ Чуйко, Л. Застосування моделей спеціальних таблиць шлюбності у дослідженнях її структурної трансформації / Л. Чуйко. С. 125–126.

- 30 Там же. С. 127.
- 31 Лавриненко, Н.В. Женщина: самореализация в семье и обществе (гендерный аспект) / Н.В. Лавриненко. Киев, 1999.
- 32 В. Штешенко [и др.]. Ук. соч. С. 16.
- 33 Там же. С. 17.
- 34 Зидер, Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XIV–XX век) / Р. Зидер. М., 1997. С. 257–258.
- 35 Там же. С. 258.
- 36 Там же. С. 261–270.
- 37 Там же. С. 281.
- 38 Голод, С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ / С. Голод. СПб., 1998. С. 89.
- 39 Вишневский, А. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР / А. Вишневский. М., 1998. С. 150.
- 40 Голод, С. И. Семья и брак; Голод, С.И. Состояние и перспективы развития семьи. Теоретико-типологический анализ. Эмпирическое обоснование / С.И. Голод, А.А. Клецин. СПб., 1994.
- 41 Голод, С. И. Семья и брак. С. 178.
- 42 Римашевская, Н. Окно в русскую частную жизнь / Н. Римашевская [и др.]. М., 1999. С. 236.
- 43 Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. Київ, 2002.
- 44 Римашевская, Н. и др. Окно в русскую частную жизнь.
- 45 Там же. С.239.
- 46 Гендерний паритет... С. 84.
- 47 Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах: Тематична державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. К., 2002.
- 48 Там же. С. 45–46.
- 49 Гендерний паритет... С. 85.
- 50 Воспитание в семье. С. 55.
- 51 На эту тенденцию указывал Р. Зидер применительно к западноевропейской пролетарской семье в условиях экономического кризиса: Зидер, Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII–XX вв.). М., 1997. С. 225.
- 52 Бюджети сімей України в 1998 році. Київ, 1999.
- 53 С 1999 г. наблюдается некоторое увеличение доли оплаты труда и социальных пособий в структуре бюджета при одновременном сокращении поступлений от ЛПХ (в первую очередь в городских семьях).
- 54 Ярошенко, С. Типы обеспечения питания в городских семьях / С. Ярошенко // Занятость и поведение домохозяйств: адаптация к условиям перехода к рыночной экономике в России / под. Ред. В. Калабиной и С. Кларка. М., 1999. С. 158–159.
- 55 Бюджети сімей України в 1998 році. С. 8.
- 56 Там же. С. 19–20.

- 57 Якуба, Е. Женщина в украинском селе: социально-демографические проблемы / Е. Якуба // Экономика Украины. 1999. №4. С. 58-59.
- 58 Бюджеты сімей України в 1998 році. С. 5–6.
- 59 Чуйко, Л. Українські сім'ї та їх дітність / Л. Чуйко // Гендерний аналіз українського суспільства. Київ, 1999. С. 252-253.
- 60 Здоров'я дітей та жінок в Україні. Київ, 1997. С. 27.
- 61 Лавріненко, Н.В. Особливості життєдіяльності сім'ї в умовах трансформації українського суспільства / Н.В. Лавріненко // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. Київ, 1999. С. 593.
- 62 Там же. С. 596.
- 63 Діти, жінки та сім'я в Україні. Статистична збірка. Київ, 2000. С. 20.
- 64 Стешенко, В. Старіння населення України: стан, етнічні особливості, перспективи / В. Стешенко [и др.] // Демографічні дослідження. Вып. 20. Київ, 1998. С. 125.
- 65 Там же. С. 133.
- 66 Занятость и поведение домохозяйств / под. ред. В. Калабиной и С. Кларка. М., 1999. С. 13.
- 67 Бюджеты сімей України в 1998 році. С. 7.
- 68 Паніна, Н.В., Головаха Є.І. Тенденції розвитку українського суспільства (1994-1998). Соціологічні показники / Н.В. Паніна, Є.І. Головаха. Київ, 1999. С. 130.
- 69 Бюджеты сімей України у 1998 році. С. 7.
- 70 Про становище сімей в Україні. С. 40.
- 71 Бюджеты сімей України у 1998 році. С. 8.
- 72 Там же. С. 8.
- 73 Здоров'я дітей та жінок в Україні. С. 13.
- 74 Там же. С. 14.
- 75 Діти, жінки та сім'я в Україні. С. 233.
- 76 Там же. С. 290.
- 77 Там же. С. 256.
- 78 Куценко, В. Потенциал сферы здравоохранения: региональные аспекты / В. Куценко, Л. Богуш // Экономика Украины. 1999. № 3. С. 66.
- 79 Здоров'я дітей та жінок в Україні. С. 20.
- 80 Там же. С. 32.
- 81 Там же. С. 30.
- 82 Бюджеты сімей України у 1998 році. С. 8.
- 83 Куценко, В., Богуш, Л. Ук. Соч. С. 67.
- 84 Там же. С. 66.
- 85 Рынок труда и социальная политика в Центральной и Восточной Европе. С. 314–315.
- 86 Соціальні індикатори рівня життя населення. Статистичний збірник. Київ, 2000. С. 116.
- 87 Там же. С. 117.
- 88 Там же.

IV. ДОМОЙ, В ЕВРОПУ: НАЦИЯ КАК СЕМЬЯ

МЕЖДУ КЛАНОМ, СЕМЬЕЙ И НАЦИЕЙ: МУЖЕСТВЕННОСТЬ И ЖЕНСТВЕННОСТЬ В «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЯХ»

Смену политических режимов, произошедшую поочередно в Грузии, Украине, Киргизии¹ (а также не столь удачные попытки реализации сходного сценария в Азербайджане, Казахстане и Беларуси) западные политологи назвали второй волной демократизации на постсоветском пространстве. «Цветные революции» – гораздо более популярный и несколько более легкомысленный политический бренд – стали для одних символом новых надежд на возобновление демократических реформ, безнадежно забуксовавших к середине 1990-х гг., другими же были восприняты как угроза стабильности и даже государственному суверенитету новых постсоветских государств со стороны Запада. В современной литературе нет недостатка в разнообразных интерпретациях цветных революций, их предпосылок и движущих сил: подчеркивается возросшая роль гражданского общества и мобилизующая сила национализма, уязвимость полуавторитарных постсоветских режимов, допускавших определенный плюрализм, а также сходство с «бархатными революциями» 1989 г., использовавшими кампанию гражданского неповиновения против коммунистических властей. Что до сих пор не привлекало внимания исследователей и комментаторов, так это определенные формы гендерной организации постсоветских обществ, связанные с развитием и функционированием семейно-кланового, олигархического капитализма. Речь идет о так называемых «кланах», получивших неконтролируемый доступ к распределению ресурсов и контроль над политической жизнью, о неформальных структурах родства, кумовства, землячества в постсоветской политике, наконец, о президентской «Семье», в подавляющем большинстве случаев являющейся неформальным центром принятия решений и координации ин-

тересов олигархических групп. Именно «Семья» и президентское «окружение» стали символом коррупции и объектом критики оппозиции, а также – в случае революционной развязки – вылившегося на улицы возмущения народных масс. Очевидна связь постсоветских авторитарно-олигархических режимов с воспроизводством определенных доминирующих форм организации «семьи» и типов маскулинности. И цветные революции, как я намереваюсь показать ниже, могут быть прочитаны как проявление кризиса соответствующих гендерных форм организации постсоветской экономики и политики и как попытка их реструктурирования.

Основная гипотеза этой главы состоит в том, что «антикоррупционный» проект цветных революций сформулирован в терминах либерально-демократической нормализации постсоветского гендерного порядка: он предполагает переход от «клана» как непродуктивной и нелегитимной формы организации власти/бизнеса к современной нормативной нуклеарной семье, отделенной от бизнеса и от политики. По сути, речь идет о восстановлении «нормального» с точки зрения либеральной демократии разделения на публичную и частную сферы: о возвращении функции принятия политических решений формальным демократическим институтам и об ограничении президентской семьи, как и семей других политиков, исключительно репрезентативными функциями. Проект цветных революций предполагает тем самым смену модели гегемонной маскулинности² в постсоветской политике: критику мафиозно-«совковой» маскулинности и идеализацию «европейской» демократической. Такой переход неизбежно связан с трансформацией доминирующего политического дискурса, криминализирующего *ancien regime* и его представителей и подчеркивающего системный разрыв с недемократическим прошлым. Дискурс революции противопоставляет постсоветской маскулинности политиков, олицетворяющих коррумпированный режим, новую национальную, европейскую, «цивилизованную» маскулинность лидеров политической оппозиции. Почему же в действительности попытка воплощения либерально-демократической нормы – выведение семьи за пределы политики и институциональное отделение политики от бизнеса – сталкивается в постсоветских странах с большими трудностями, а новая прозападная маскулинность «оранжевых» политиков оказывается достаточно быстро скомпрометированной?

В первом разделе данной главы рассматриваются формы гендерной организации постсоветской политики и экономики, связанные с развитием и функционированием неформальных институтов «Семьи» и кланов. Второй раздел посвящен анализу цветных революций как проекта преодоления «постсоветскости» и либерально-демократической нормализации, предполагающей, как было сказано, отделение частного от публичного и выведение семьи за пределы политики, а также внутренним дилеммам и ограничениям этого проекта. Отдавая себе отчет в условности концепта «цветных революций» и неправомерно-

сти широких обобщений на основе опыта таких различных стран, как Украина, Грузия и Кыргызстан, я все же не могу отказаться от проведения некоторых очевидных аналогий. Третья часть, посвященная репрезентациям старой и новой маскулинности в политических стратегиях оппонентов, почти полностью основывается на украинском материале. В четвертом разделе я обращаюсь к некоторым репрезентациям феминности в постсоветской политике, и, в частности, в цветных революциях.

1. От плана к клану

Новые постсоветские нации, по словам Е. Гаповой, воображались и «изобретались заново» как рыночные экономики и «открытые общества»; успешное нациестроительство предполагало либерализацию плановой экономики и становление действующих демократических институтов³. Однако вместо ожидаемого перехода к свободному рынку и либеральной демократии в большинстве постсоветских стран возникло нечто иное – политико-экономическая система, получившая название олигархического или кланового капитализма. Этот гибрид начал складываться уже в недрах плановой экономики и, по сути, заменил собой институциональный вакуум, когда государство «ушло» из экономики в результате либеральных реформ. Неоинституционалист И. Розмаинский определил семейно-клановый капитализм в России 1990-х гг. как экономическую систему, в которой «производственная деятельность в основном ориентирована или на самообеспечение, или на семейно-родственные отношения, или на хозяйственные отношения с лицами, находящимися под покровительством одного и того же преступного клана (или “родственных” в любом смысле этого слова кланов)»⁴. Иными словами, в отсутствие государства соблюдение правил игры стало обеспечиваться либо за счет взаимного доверия родственников, либо за счет насильственного принуждения со стороны криминальных кланов. Кирило Лукеренко, описывая клановый капитализм в Украине эпохи Леонида Кучмы, называет его «пожарной» формой организации власти и подчеркивает его замещающий и переходный характер:

«В зыбкие времена в обществе, где доверие уничтожено, а семейные отношения считаются естественной сутью отношений между людьми, нет выше доверия, чем доверие по принципу родства, кровного или искусственно созданного, нет выше чести, чем назвать человека брат(к)ом»⁵.

Хотя наличие кланов характерно для экономик многих, в том числе некоторых европейских, стран, постсоветская специфика их возникновения состояла в отсутствии дееспособного бизнес-класса или хотя бы малого бизнеса, в эмбриональном состоянии среднего слоя, не готового в одночасье стать агентом

рыночной экономики. В результате бывшая партийная номенклатура получила неограниченный доступ к государственным ресурсам в результате приватизации и либерализации экономики, а слабость правового государства не позволила поставить эти процессы под контроль общества. При этом семейные и родственные связи оказались востребованы не только для поддержания отношений доверия, жизненно необходимого в условиях «дикого» первоначального накопления, но и для расширения и стабилизации бизнеса, в том числе путем наследования капитала. Для советской партийной номенклатуры семья выполняла скорее символическую функцию, являясь частью «морального облика» ответственного работника. Номенклатура воспроизводила себя главным образом путем рекрутирования кадров «снизу», и партийно-государственный функционер ничего не мог передать своим детям в наследство, кроме социального капитала – связей, необходимых для будущей карьеры (что, конечно, тоже было немало). Однако с развитием капитализма на обломках советской системы семья приобрела важную экономическую роль, стала механизмом перераспределения ресурсов и институционализации частной собственности.

Постсоветские кланы, по крайней мере в европейской части бывшего Союза, не имеют ничего общего с додерными родоплеменными структурами, они являются продуктом (пост)советской модернизации, механизмом структуризации отношений и поддержки лояльности в отсутствие эффективно действующих институтов рынка и либеральной демократии. И хотя семейные, династические, брачные связи, как и квазиродственные (кумовство), играют в постсоветском политикуме и бизнесе огромную роль, «клан – это шире, чем родство. Тут и общность интересов, и сходство происхождения, и, конечно же, – географический признак, землячество»⁶.

Можно определить клан как иерархическую форму отношений, основанную на личной преданности, дисциплине и угрозе применения насилия и в то же время обеспечивающую защиту и покровительство «своим» в случае опасности. Регулируя деловые отношения «по понятиям», клановая организация экономики и власти является примитивной формой ограничения стихии первоначального накопления капитала. Принцип организации клана – это не универсальный принцип политического гражданства и не горизонтальная солидарность этнокультурного национализма, это отношения «патрон – клиент», основанные на безусловном признании авторитета старшего в иерархии. Патрон выступает бенефициарием клиента, «решает его вопросы», клиент платит ему личной преданностью. Клан предполагает жесткое деление на «своих» и «чужих», и хотя часто в основе такого деления лежат этнические и расовые характеристики, знакомый всем по службе в Советской Армии принцип землячества, цементируют его прежде всего общие экономические интересы.

С точки зрения гендерных отношений, постсоветские кланы – это форма организации отношений прежде всего между мужчинами, отношений, в основе

которых лежит маскулинный этос и жесткие иерархии. Конечно, кланы возникают и расширяются в результате заключения браков и создания семей, т.е. по существу в процессе «обмена женщинами» (Леви-Стросс). Женщины выполняют тем самым важную структурную функцию, обеспечивая воспроизводство отношений родства. Однако сами они, как правило, не являются полноправными субъектами семейно-клановой экономики. Как показала, например, Гейл Рубин, женщины являются скорее каналом родственной связи, чем полноценным партнером в тех социальных отношениях, которые устанавливаются таким образом между мужчинами⁷. И даже делая собственную политическую или бизнес-карьеру (как Елена Франчук или Бермет Акаева),⁸ они остаются в первую очередь представителями семьи или клана, дочерьми президента и женами олигархов. Женщина в постсоветской клановой экономике еще в большей степени, чем в условиях современного западного капитализма, служит статусным символом мужчины, демонстрируя его экономический вес и влияние⁹. Не случайно «женское предпринимательство» в переходной экономике оказалось в конце концов возможным либо в отдельных нишах, малоприбыльных и неинтересных «серьезному» бизнесу, либо в качестве «женского хобби» под покровительством тех же клановых структур. Безусловно, недостаточная представленность женщин в бизнесе и политике уже несколько десятилетий служит объектом феминистской критики в западных обществах. Однако в случае постсоветской клановой экономики исключение женщин из бизнеса и политики осложняется деформацией публичной сферы в результате ее монополизации кланами и группами интересов, доминирования логики родства и внутриклановой солидарности над логикой прав и свобод отдельной личности.

Клановый капитализм воспроизводит определенную модель гегемонной маскулинности, узнаваемой на всем постсоветском пространстве. Она получила особое распространение в 1990-е гг., в период наиболее интенсивных приватизационных процессов и передела собственности, и была увесочена в таком музыкальном жанре, как «шансон». В ее основе – стремление к обогащению любыми средствами, склонность к насилию, жестокость, личная преданность авторитету, демонстративное пренебрежение законом и общественными нормами и в то же время приверженность определенному моральному кодексу для внутреннего пользования («по понятиям»), важность статусных символов и практик потребления, сексизм и шовинизм по отношению к женщинам и «чужакам» и эстетические предпочтения, сформированные под влиянием уголовного субкультуры. В условиях дикого капитализма и массовой приватизации ущербная, репрессированная государством позднесоветская маскулинность трансформируется в нечто совершенно иное: в гиперболизированную компенсаторную маскулинность «переходного периода». Освобождение маскулинности в условиях кланового капитализма происходит через конвертацию физической силы в доступ к власти и в деньги (классическая карьера успешного постсоветского

мужчины начала 1990-х: спортивный тренер – телохранитель – бизнесмен/политик). Уже не кризис маскулинности, как в позднесоветскую эпоху, а ненормативная компенсаторная маскулинность «братков» как источник насилия и жестокости фиксируется в публичном дискурсе как одна из главных моральных проблем. Криминальные разборки, сопровождающие конкуренцию кланов в середине 1990-х (в частности, в России и в Украине), надолго скомпрометировали в общественном сознании идеи рынка и демократии. Поэтому глубокая фрустрация и ощущение несправедливости постсоветских реформ связаны не только с растущей на глазах пропастью социального неравенства, но и с преобладанием насильственных, криминальных форм накопления капитала и незаконной приватизации. С этой точки зрения, претензии новой бизнес-элиты на политическое лидерство оказались абсолютно нелегитимными в глазах общества. Конечно, где-то с конца 1990-х гг. с возвращением государству функций «полицейского» и укреплением институтов права физическое насилие как инструмент бизнеса уступило место более «цивилизованному» методам. Большая часть незаконно созданных капиталов была уже благополучно отмита, и спортивные костюмы «Адидас» как униформа рыцарей первоначального накопления канули в прошлое. Тем не менее символическая связь постсоветской маскулинности с криминалом, грубой силой и пренебрежением законом как проявлениями постсоветского кланового капитализма сохранилась и была позднее эффективно востребована революционным дискурсом, прежде всего во время украинских президентских выборов 2004 г.

Клановой экономике соответствует определенный способ организации политической власти, в котором номинальные демократические институты являются фасадом неформальных структур, принимающих реальные решения. Парламент, политические партии, регулярные выборы, относительная свобода прессы, как правило, подчинены задаче переизбрания президента или легитимной передачи власти «преемнику», заранее определенному властью. Президент через свое «окружение» (и членов своей семьи как его существенную часть) контролирует конкурирующие кланы и поддерживает равновесие между ними, регулируя доступ к государственным ресурсам. Со своей стороны кланы и олигархические группы поддерживают президента как гаранта стабильности и неприкосновенности их интересов. Олигархические кланы владеют не только экономическими активами, но и масс-медиа (газетами, телевизионными каналами), а также создают свои партии или добиваются контроля над уже существующими, подкупают депутатов, контролируя таким образом публичную сферу и не допуская усиления гражданского общества. Однако само существование нескольких конкурирующих кланов как альтернативных президенту центров силы создает предпосылки политического плюрализма. Американский политолог Лукан Вэй¹⁰ назвал эту систему «конкурентным авторитаризмом» (пример – Украина Кучмы). Степень конкуренции между кланами может быть различной, и баланс

власти может склоняться в сторону олигархов (Россия Ельцина) или в сторону президента (Казахстан Назарбаева). Однако общим моментом в большинстве случаев является особая роль семьи и родственников президента, а также людей из ближайшего окружения.

Другое определение политической надстройки кланового капитализма – неопатримониальный режим. Патримониализм – термин, восходящий к М. Веберу, – означает, что правящая элита рассматривает государство как сферу своих частных интересов и использует государственные должности для личного обогащения. Близкие к неопатримониализму концепты – патронаж, рентоориентированное поведение (*rent-seeking*) и «захват государства» (*captured state*). По словам украинского политолога А. Фисуна,

«...в качестве ведущей политико-экономической силы и реальной “партии власти” неопатримониальная бюрократия структурируется на основе региональных, отраслевых, клановых и семейно-родственных связей и представляет собой сложную пирамиду разнообразных патронатов, соединяемых через механизм клиентарных отношений вертикалью президентской власти. Внутри неопатримониальной бюрократии центральные, стержневые позиции принадлежат “людям президента”, а именно клиентарно-патронажной сети, которая образуется вокруг фигуры главы государства; на ее вершине находятся преданные лично ему люди, которые занимают ключевые позиции в государственном и партийном аппаратах, курируют силовые министерства и основные отрасли экономики. При этом возникшие в результате реформ рентоориентированные предприниматели, как правило, стремятся занять место в клиентарно-патронажной сети и не заинтересованы в изменении правил игры»¹¹.

Неопатримониальная интерпретация постсоветских режимов подчеркивает их системную черту: сращивание политики и экономики, приватной и публичной сфер посредством монополизации политического рынка клиентарно-патронажными сетями, сформированными вокруг президента и его семьи.

Само понятие «Семьи» с большой буквы вошло в постсоветский политический дискурс во второй половине 1990-х как означающее для тех неформальных практик власти, которые ассоциировались в России с семьей и ближайшим окружением Бориса Ельцина¹². Расплывчатое понятие «Семьи», включавшее в разное время не только глав президентской администрации, но и приближенных олигархов, хотя и отсылало к кровно-родственным связям, однако имело с ними мало общего. Скорее доступ к «Семье» становился капиталом, приносил власть, непосредственно конвертируемую в деньги, в экономические активы, а деньги, затраченные на спонсорскую поддержку «Семьи» (в частности, на предвыборную кампанию Ельцина), окупались повышением статуса и ростом политического влияния «спонсора». Как бы по-разному ни определялась «Семья»,

она, в сущности, представляла собой способ координации интересов и взаимоотношений между олигархическими кланами, неформальный механизм общения представителей бизнес-кланов и президентской власти.

«Семья» Леонида Кучмы в Украине к концу 1990-х выполняла приблизительно ту же функцию координации интересов бизнес-кланов, хотя дочь Кучмы Елена Франчук, которая состоит в браке с влиятельным бизнес-магнатом Виктором Пинчуком, отнюдь не претендовала на роль Татьяны Дьяченко¹³. Скорее сам Кучма, выходец из днепропетровской бизнес-группы, был вынужден балансировать между различными интересами, приближая или отдаляя от себя представителей отдельных кланов. Петр Лазаренко, выходец из днепропетровской группы и премьер-министр в середине 1990-х, после неудачной попытки ослабить власть Кучмы вынужден был скрыться за границей; Виктор Медведчук, представитель влиятельной киевской бизнес-группы, стал главой президентской администрации, а набирающие силу агрессивные «донецкие» успешно пролоббировали Януковича в премьер-министры в 2002 г. Мы не знаем, правда ли, что приближенные олигархи называли Кучму «папой», отстегивая ему причитающуюся долю от своих сомнительных операций (как откровенничают сегодня некоторые из них в своих интервью). Однако несомненно одно: степень личной близости к президенту была капиталом, непосредственно конвертируемым в экономические активы и государственные должности.

В той или иной степени неопатримониализм и элементы клановой экономики сложились в 1990-е гг. в большинстве бывших советских республик. Где-то, как в России, эта форма организации власти является уже пройденным этапом, где-то президентский авторитаризм с самого начала жестко ограничил свободу действий кланов и зарождение олигархических групп. Но факт остается фактом: Украина Кучмы, ельцинская Россия, Киргизия Акаева, Азербайджан династии Алиевых, Казахстан Назарбаева демонстрируют разные варианты одной и той же модели – кланового капитализма, контролируемого семьей президента. (Исключение, пожалуй, составляет Беларусь, где Лукашенко не допустил создания олигархических кланов.) Через «Семью» осуществляются коммуникация и согласование интересов между крупным бизнесом и властью, президент имеет возможность заручиться поддержкой кланов в организации выборов с нужным результатом, расплачиваясь, в свою очередь, налоговыми льготами и правом внеконкурсной приватизации государственной собственности. Бизнес и президентская власть часто просто сидят в одной «семейной лодке». Показателен пример Казахстана¹⁴: супруга Нурсултана Назарбаева Сара возглавляет благотворительный фонд «Бобек». Старшая дочь Дарига является лидером партии «Асан» и главой медиа-холдинга «Хабар». Считается, что именно она может стать преемницей Назарбаева на посту президента страны. Ее муж Рахат Алиев также владеет крупной собственностью, а до 2001 г. контролировал Службу охраны президента и КНБ. Муж средней дочери Динары – Тимур Кулибаев – является

вице-президентом национальной нефтяной компании. Младшая дочь Алия в 1998 г. вышла замуж за старшего сына президента Киргизии, однако к настоящему моменту ее брак распался. Многие другие родственники Назарбаева и его жены Сары занимают важные государственные посты. Именно президентские дочери посредством брака связывают воедино интересы крупного бизнеса и власти (см. уже упоминавшийся выше пример Елены Франчук и Бермет Акаевой). Сыновья, как правило, сами являются представителями крупного бизнеса, занимая при этом важные символические посты. Сын Гейдара Алиева Ильхам до того, как стать президентом, был вице-президентом государственной нефтяной компании, президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана и первым заместителем председателя партии «Йени Азербайджан». Безусловно, клановое правление в некоторых республиках Средней Азии, опирающееся на реальные рудименты родоплеменных отношений, следует отличать от российского или украинского варианта, где родство скорее имитируется и выполняет символическую функцию. Передача власти от отца к сыну, как в случае Алиевых, оказалась возможна в Азербайджане и не исключена в будущем в Казахстане и в республиках Средней Азии. В большинстве же случаев речь всего лишь о преемнике, о символической передаче власти политическому «сыну». Как бы то ни было, бизнес, политика и «Семья» в постсоветских республиках оказались неразрывно связанными.

2. Цветные революции как политический проект

По мнению ряда политологов, предпосылки цветных революций заложены в самой природе полуавторитарных постсоветских режимов. Как полагает цитированный выше Лукан Вэй, само существование нескольких конкурирующих олигархических кланов как альтернативных президенту центров силы создает предпосылки политического плюрализма, а формальные демократические институты в определенных условиях могут начать реально функционировать. Уязвимым местом в системе «конкурентного авторитаризма» являются выборы, поскольку в этот период противоречия между кланами опасно обостряются. Если в парламенте существует оппозиция, а гражданское общество и пресса обладают определенной свободой, ситуация может выйти из-под контроля президента и его окружения. По мнению А. Фисуна, «наведение порядка в экономике» или, другими словами, усиление фискального давления («отката» или ренты, перераспределяемой к центру системы) может привести к расколу внутри правящих элит и бегству наименее привилегированных рентоориентированных групп из клиентарно-патронажной сети президента. Не случайно политическую оппозицию в подавляющем большинстве случаев возглавили политики, бывшие когда-то в команде президента, но позже «впавшие в немилость»¹⁵, а решающую финансовую поддержку цветным революциям оказали представители среднего

и крупного неолигархического бизнеса. Они объективно заинтересованы в более справедливом доступе к экономическим и политическим ресурсам, то есть в демократических реформах (что не исключает, конечно, попыток создания новых клиентарно-патронажных сетей). Таким образом, оппортунисты, выпавшие из окружения президента или дистанцировавшиеся от него, солидаризируются с аутсайдерами (интеллектуалы, малый и средний бизнес, представители гражданского общества) и становятся политической оппозицией и движущей силой цветной революции.

Критика режима «изнутри» и «снаружи» облекается в форму альтернативного политического проекта: в данном случае это проект антикоррупционного очищения общества на основе демократических реформ. В постсоветском контексте он оформляется в более общих терминах завершения процессов формирования нации, достижения подлинной (а не только формальной) независимости от Москвы и интеграции в евроатлантические структуры. Цветные революции репрезентируются пришедшими к власти оппозиционными силами по сути как запоздавшие буржуазно-демократические и национальные революции, аналогичные «бархатным революциям» в странах бывшего Варшавского пакта в 1989 г. и имеющие своей целью создание современных наций на основе либеральной демократии и конкурентной рыночной экономики.

Сердцевина этого политического проекта – преодоление коррупции как системного качества постсоветских режимов, передача функций принятия политических решений от неформальных структур (олигархических кланов и групп интересов) формальным демократическим институтам, включающая ограничение президентской семьи, как и семей других политиков, исключительно репрезентативными функциями. По сути, это проект либерально-демократической «нормализации» постсоветского гендерного порядка, предполагающий переход от «клана» как непродуктивного и нелегитимного симбиоза власти и бизнеса к современной нормативной нуклеарной семье, отделенной и от бизнеса, и от политики. Безусловно, абсолютное разделение публичного и частного в современном либерально-демократическом обществе – иллюзия, неоднократно критикованная западными феминистками. Грань между частным и публичным, как правило, размыта и подвижна, она является результатом борьбы интересов различных социальных сил. Полное выведение семьи за рамки публичной политики вряд ли возможно, что подтверждают примеры политических династий в западных странах (семья Бушей в США, братья Качинские в Польше)¹⁶. Поэтому речь не об абсолютном разделении частного и публичного, а, скорее, о таком реконструировании гендерных форм организации общества, когда «Семья» перестает быть механизмом прямого перераспределения экономических активов и средством доступа к привилегированным позициям в клановой иерархии и становится прежде всего символическим ресурсом политика.

Поэтому неудивительно, что в идеологии украинской «оранжевой революции» «семейная», клановая организация власти и экономики предстала как отклонение от нормативной западной модели, как одна из главных причин исключения Украины из европейских интеграционных процессов. Олигархический капитализм, сложившийся в эпоху Кучмы, был представлен оппозиционерами как неевропейский («евразийский», т.е. ориентированный на Россию структурно и геополитически), недомодернизированный (толкающий Украину в разряд стран третьего мира) и антидемократический (направленный против гражданского общества и свободы прессы). Лозунгами оппозиции стали честный бизнес и прозрачность в политике как европейские ценности; использование же семейных и родственных связей, кумовство и землячество оказались синонимами «кучмизма». Оппозиция выступала за пересмотр несправедливой «теневой» приватизации, за аннулирование коррупционных сделок, ставших возможными благодаря близости к «Семье» президента. Так, особым атакам правительства Тимошенко подверглась бизнес-империя Виктора Пинчука, зятя Леонида Кучмы¹⁷, и некоторых других олигархов, пользовавшихся его покровительством. Реприватизация крупнейшего в Украине предприятия «Криворожсталь» и его демонстративная продажа иностранному капиталу на открытом конкурсе была призвана продемонстрировать серьезность намерений «оранжевой» команды в отношении «справедливой приватизации».

Именно требования восстановления справедливости, отстранения «Семьи» от власти и наказания коррумпированных чиновников в высших эшелонах власти стали массовой мобилизующей идеей цветных революций в Грузии, Украине и Кыргызстане при всех различиях политического и культурного контекста¹⁸. Михаил Саакашвили, как и Виктор Ющенко, сделал борьбу с коррупцией центральным пунктом программы нового правительства. Возмущение народных масс во время событий весны 2005 г. в Кыргызстане было направлено против семьи президента Акаева, продвигавшего родственников на ключевые должности в бизнесе и в политике. Наконец, украинская «оранжевая революция» была интерпретирована ее сторонниками как «антикриминальная революция»¹⁹, и лозунг «Бандитов в тюрьмы!» стал одним из популярнейших на Майдане. Речь шла не только о чиновниках, ответственных за фальсификацию выборов (фальсификация стала всего лишь поводом для мобилизации накопившегося разочарования), но и о непосредственном окружении президента, самом Леониде Кучме и его преемнике Викторе Януковиче. Мало кто всерьез рассчитывал увидеть бывшего президента на нарах, однако требование публичной ответственности представителей старого режима за свои действия получило массовую поддержку. Квалификация коррумпированных постсоветских режимов как «криминальных» в ходе цветных революций облегчила разрыв с прошлым, но в то же время задала новый демократический стандарт, которому далеко не всегда соответствовала пришедшая к власти оппозиция. Разрыв между обещаниями и

реальной политикой стал причиной скорой фрустрации сторонников цветных революций.

Однако успех цветных революций – вопрос не только субъективных факторов, т.е. качества новой политической элиты и ее способности действовать грамотно и решительно, но и внутренних противоречий самого проекта. Выяснилось, что относительная легкость реализации электорального этапа цветных революций еще не гарантирует успешной демократической и национальной консолидации. Одно из таких внутренних ограничений связано с противоречивой ролью олигархических кланов, которые не заинтересованы в изменении правил игры, а склонны рассматривать революции скорее как шанс улучшить свое положение за счет конкурентов. Слабость формальных институтов демократии, аморфность политических партий заставляют нового президента либо опираться на персональную лояльность и силовые структуры (Саакашвили), либо вынужденно обращаться за поддержкой к тем же кланам как реальным центрам силы (Ющенко). В Кыргызстане «революция тюльпанов» в 2005 г. с самого начала опиралась не столько на гражданское общество и студенчество, сколько на мобилизацию кровно-родственных и земляческих отношений; в результате произошло главным образом перераспределение власти и ресурсов между кланами. Устранение старой «Семьи» от власти в процессе цветных революций означает исчезновение важного неформального механизма согласования интересов и принятия решений внутри политических элит, что ведет к эскалации противоречий в публичной политике и поляризации общества. Пример – вопрос о членстве Украины в НАТО и провозглашение русского языка вторым официальным в ряде регионов весной 2006 г. К тому же нехватка лояльных кадров подталкивает новое руководство к мобилизации семейных, родственных, земляческих связей, что служит предпосылкой формирования новых кланов и новой «Семьи» и дискредитирует идею цветных революций. Массовая фрустрация ведет к потере политическими лидерами поддержки избирателей, вынуждая их идти на новые компромиссы.

Второе внутреннее ограничение цветных революций состоит в противоречии между универсалистским проектом создания политической нации и неизбежным конституированием образа врага, отчуждением и исключением «Другого», использованием региональных, языковых, этнических и конфессиональных характеристик в качестве маркеров «своих» и «чужих».

По мнению ряда политологов²⁰, точку зрения которых я разделяю, цветные революции сигнализировали о модернизации национал-демократической идеологии, о переносе акцентов с формальной независимости к созданию политической нации, о сдвиге от этнического к политическому национализму. Распад Советского Союза сопровождался всплеском этнического национализма: в начале 1990-х гг. в большинстве бывших советских республик к власти пришли представители народных фронтов и национальных движений. Украинскую

политическую нацию в тот момент можно было вообразить только как своего рода «советский народ» на данной национальной территории; к тому же отстаиваемые коммунистами идеи двойного гражданства, официального двуязычия и интеграции с Россией накрепко связывали этот сценарий с бывшей «империей». Поэтому проект консолидации нации вокруг титульной национальности, возрождения и государственной поддержки ее языка и культуры оказался приемлем для подавляющей части политической элиты. Однако спонсируемый государством фольклорный национализм, используемый для легитимации коррумпированного режима, не обладал – особенно для молодежи – особой привлекательностью; он скорее способствовал консервации постколониального статуса украинской культуры. В то же время проблемы территориальной интеграции, преодоления региональных и этнических противоречий (противоречия Востока и Запада в Украине, проблема Крыма, сепаратистские регионы в Грузии, противостояние Севера и Юга в Кыргызстане) оставались нерешенными.

В 2004 г. «оранжевая революция» могла бы стать вторым шансом на создание политической нации в Украине, мобилизуя своих сторонников вокруг антикоррупционного, общедемократического проекта. Конечно, проблема языка, культурных ориентаций, как и противоположные версии исторической памяти на Западе и Востоке Украины, были инструментализированы в предвыборной борьбе. Однако мобилизующей идеей «оранжевой революции» стало уже не «возрождение нации», а ее *новое демократическое качество*. Большинство комментаторов признают, что победа Ющенко в 2004 г. оказалась возможной потому, что ему удалось преодолеть сконструированный культурный барьер между Западом и Востоком, апеллируя к универсальным ценностям: справедливости, гражданским правам, прозрачности в политике, свободе прессы. Требование «честных выборов» на какой-то момент стало новой надэтнической национальной идеей, объединив значительную часть украинцев (хотя далеко не всех) в разных регионах страны. Национальная идея Саакашвили также была прежде всего политической и была призвана вернуть веру граждан в будущее независимой Грузии и в возможность жить без коррупции²¹.

Что касается Украины, несколько факторов способствовали переориентации от этнокультурного к политическому национализму. Во-первых, это альянс традиционных национал-демократов с новым поколением политикотехнократов – «диссидентов» от власти, прежде всего Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. Во-вторых, авторитарные тенденции в России и постепенная деградация СНГ привели к падению привлекательности «пророссийского проекта» для значительной части украинской элиты. В то же время расширение ЕС на восток подтвердило убеждение ее прозападной фракции в том, что только последовательные демократические реформы обеспечат Украине билет в Европу. В-третьих, произошла смена поколений: молодежь, выросшая после 1991 г., уже не была удовлетворена старой фольклорной версией национализма и пыталась

инвестировать в него свои смыслы, в которых европейские политические ценности и европейские практики потребления оказались слитыми воедино.

Ориентация на Европу определила не только ценности, но и форму «оранжевой революции». Ее молодежные иконы – сделавший карьеру на Западе боксер Виталий Кличко и победительница Евровидения певица Руслана Лыжичко – репрезентировали новый национализм с европейским лицом. Популярная на Майдане рок-группа «Океан Эльзы» стала символом новой Украины как части европейского культурного пространства. В то же время использование маркетинговых стратегий для популяризации политических идей оказалось во многом эффективнее старомодной агитации. Да и сама драматургия и стилистика массовых выступлений, во многом напоминая «бархатные революции» 1989 г. в Восточной Европе, сделала украинские события «узнаваемыми» для западной публики и впервые маркировала эту страну как «часть Европы». Ориентация на «европейские ценности» и на интеграцию в Европу, отличающаяся национализм цветных революций от национализма конца 1980 – начала 1990-х гг., характерна и для правительства Саакашвили, и для белорусской оппозиции. Как показывает опыт «бархатных революций» 1989 г., она является важным условием демократической консолидации посткоммунистических наций.

В то же время попытка «европеизации» национальной идентичности на постсоветском пространстве оборачивается не только дистанцированием от России, но и ее ориентализацией. Россия, с ее усиливающимся авторитаризмом и неоимперскими амбициями, предстает в дискурсах цветных революций культурным антиподом Европы, «вечной Азией». Прямая поддержка пророссийских сил в новых независимых государствах, использование энергетической зависимости как рычага давления, наконец, напряженность в отношениях с ЕС позволяют воображать Россию, согласно давней традиции, как вечного «Другого» Европы²², угрожающего сегодня если не самому Западу, то тем, кто стремится стать его частью. Политические противоречия, конкуренция между ЕС (США) и Россией за влияние на постсоветском пространстве концептуализируются в терминах фундаментальных различий политических культур – европейской демократии и азиатской деспотии. Например, русский язык, все еще доминирующий в публичной сфере Украины, становится, как в известном открытом письме двенадцати украинских литераторов, символом деспотизма, коррупции и криминала²³. Таким образом, проект «возвращения в Европу», как в случае Украины, оборачивается проведением цивилизационной границы с Россией, отчуждая значительную часть русскоговорящего населения.

Подобные же механизмы производства «Другого» и его ориентализации в ходе «оранжевой революции» превратили Донецк в украинскую «Вандею». Во время президентских выборов Донбасс однозначно поддержал Виктора Януковича: в Донецкой и Луганской областях он получил больше 90% голосов. Оптимисты из «оранжевого» лагеря связывали такой высокий процент с ис-

пользованием «административного ресурса» и кампанией дезинформации в отношении политического конкурента, но эти цифры практически не изменились и в третьем туре выборов. Это заставляет обратиться за объяснением к такому фактору, как культурные различия: избиратели Донецка и Луганска проголосовали за «своего» кандидата и однозначно не приняли «оранжевую революцию». Региональная идентичность Донбасса как рабочего края с многонациональным населением, обязанного своей славой советской индустриализации, создавалась в течение десятилетий. Гордость принадлежности к рабочему классу, неприятие украинского национализма и доминирование советской неэтнической идентичности отличали этот регион от других частей Украины. Тем не менее в конце 1980-х гг. донецкие шахтеры объективно выступили как пронациональная сила, ускорив своими забастовками крах советской системы и обретение Украиной независимости. Почему же во время «оранжевой революции» они оказались в лагере «контрреволюционеров», с помощью каких механизмов элементы региональной самоидентификации (русский язык, советская версия истории, этос рабочего класса) были консолидированы в образ «Другого»? По мнению Керстин Циммер, региональная элита Донецка с конца 1990-х гг. целенаправленно поддерживала особую региональную идентичность Донбасса и инструментализировала ее во время выборов²⁴. В предвыборной кампании Виктора Януковича индустриальный Донбасс и его жители сознательно противопоставлялись националистам Западной Украины, «потомкам фашистских коллаборационистов во второй мировой войне», инструментализировалось и чувство экономического превосходства над «нищими западнцами» («Донбасс кормит всю Украину»).

Однако эссенциализация культурных различий имела место и с другой стороны: с точки зрения некоторых сторонников «оранжевой революции», Донбасс репрезентировал «другую Украину», которая не очень вписывалась в воображаемую заново нацию. По их мнению, последствия русификации (слабость национальной идентичности), накладываясь на индустриальный профиль региона («ментальность люмпен-пролетариата». – *Т. Күзюо*) и бурную полукриминальную историю постсоветской приватизации, создали таким образом антидемократическую политическую культуру, неспособную воспринять европейские ценности «оранжевой революции». Несмотря на манифестацию украинского единства («Схід і Захід разом!»), именно такие репрезентации сторонников Януковича доминировали в «оранжевых» медиа. «Оранжевая» пресса писала о засилье криминала в «донецком рейхе», о подпольных шахтах, на которых за бесценок работают женщины и дети, об агрессивности сторонников Януковича, избивающих «оранжевых агитаторов», об алкоголизме и бескультуре его электората. «Донецкий десант», прибывший в Киев для поддержки своего кандидата, был представлен как пассивная масса, обманутая и плохо организованная. Донбасс оказался в роли «Другого внутри нас», не Украиной и не Европой в европеизирующейся на глазах нации. Впрочем, доминирующие репрезентации

советизированного и русифицированного Донбасса как прямой противоположности европейской Западной Украине и особенно Галиции – «Пьемонту украинской нации» – сложились в национал-демократическом дискурсе значительно раньше «оранжевой революции». Прочитую нашу шумевшую статью известного украинского писателя и публициста Микола Рябчука:²⁵

«Западные украинцы никогда не интернализировали коммунизм, не воспринимали Советский союз как “свою” страну, а Советскую армию – как “освободительницу”... Изолированные от Европы, они все-таки сохранили мелкие “бюргерские” привычки, даже в селах, одевая по воскресеньям в церковь костюм с галстуком и до блеска начищая ботинки или заботливо передавая из поколения в поколение, от матерей к дочерям, изощренные кулинарные рецепты венско-краковских сладостей. Даже в бедности они сопротивлялись душевной люмпенизации, оставаясь в бесчисленных бытовых мелочах буржуями, бюргерами, мещанами, членами довоенного burgerliche Gesellschaft, дотла уничтоженного на востоке большевиками.

Донецк представляет собой своеобразную альтернативу западноукраинской “буржуазности”: прекрасный новый мир победившей революции и пролетарского интернационализма... Здесь даже местное начальство, даже нувориши остаются “пролетариями” – в том самом бытовом, психологическом смысле, в котором даже беднейшие “западенцы” остаются “буржуями”».

Показательно, что для иллюстрации различий Востока и Запада Украины Рябчук приводит социальную статистику, согласно которой процент разводов, внебрачных детей и несовершеннолетних преступников практически в два раза выше в Луганской области по сравнению со Львовской. Такая же картина наблюдается в отношении показателей преступности, алкоголизма, наркомании, заболеваемости венерическими болезнями и СПИДом. Конструируемая таким образом дихотомия Запада и Востока является гендерно маркированной: прочная западно-украинская семья²⁶ (и глубоко укорененная национальная идентичность) противопоставляются деградации украинской феминности и маскулинности советизированного и денационализированного Донбасса (брошенные дети, забывшие свой долг матери, пьющие, промышленяющие криминалом отцы).

Неудивительно, что оппозиция украинского Запада и Востока не только как двух различных проектов, но и как двух противоположных систем ценностей была репрезентирована в дискурсах «оранжевой революции» как оппозиция двух типов маскулинности: постсоветской криминально-мафиозной и национальной демократической. Этому способствовала и специфика президентских выборов, которые свелись в конечном счете к противостоянию двух личностей с их достоинствами и недостатками. Избирательная кампания была построена

на попытках компрометации маскулинности соперника, а разрыв между режимом Кучмы и новой проевропейской демократической Украиной был сконструирован в терминах гендера, родства и семьи²⁷.

3. Старые и новые маскулинности в «оранжевой революции»: Янукович и Ющенко

3.1. Виктор Янукович – кандидат от партии власти

Виктор Янукович, представитель донецкой бизнес-группы и Партии регионов, стал компромиссной фигурой, устраивающей наиболее влиятельные олигархические кланы в качестве «преемника», когда вариант выдвижения кандидатуры Леонида Кучмы на третий президентский срок был окончательно снят с повестки дня. Как действующий премьер-министр Янукович мог записать в свой актив динамично развивающуюся экономику и обоснованно рассчитывал на поддержку электората Восточной Украины. Кроме того, в качестве кандидата «от власти» он имел возможность задействовать административный ресурс, который традиционно оправдывал себя на предыдущих выборах. Имиджмейкеры Януковича сделали основным слоганом его предвыборной кампании «надежность», проводя параллель между его качествами семьянина (верный муж, кормилец, обладающий неоспоримым авторитетом глава семьи) и политика («способность без громких слов нести груз ответственности», «тащить на себе украинскую экономику»). И публичное, и приватное измерение «надежности» было рассчитано на постсоветскую ментальность электората, якобы испытывавшего дефицит «настоящего мужика», готового «включать» и «наводить порядок».

Используя риторические приемы советского прошлого, власть лепила образ «крепкого хозяйственника» и надежного семьянина, «личного друга космонавтов», человека, прошедшего



*Надежда – хорошо, надежность лучше
(Надежность – ключевое слово
в рекламной кампании Януковича)
[http://en.wikipedia.org/wiki/
Victor_Yanukovich](http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Yanukovich)*

все ступени трудовой карьеры, сироты, выбившегося в люди упорным трудом, руководителя, всегда находящего общий язык с рабочими и управленцами, заботящегося о своих подчиненных, как о родных детях. Политтехнологи пропрезидентского лагеря стремились представить Виктора Януковича как «настоящего мужика» с крепким здоровьем и не менее сильным характером, по инерции полагая, что именно этот вид в дефиците на постсоветском пространстве:

«Согласитесь, есть в нем некая сила, перед которой готово склониться любое женское сердце. Что-то такое мощное, может быть, грубоватое, но этим и покоряющее.

И даже протокольный костюм и галстук (эта униформа деловых мужчин) сидят на нем как-то по-особенному. Ему бы джинсы и кожаную куртку. В крепкие руки – не портфель, а руль автомобиля, штурвал самолета или поводья горячего скакуна.

Высокий, подтянутый, крепкий, он совсем не похож на кабинетного политика. Особенно на украинского политика. [...] Костюмы от ведущих кутюрье и усиленная умственная деятельность – это, конечно, хорошо, но у мужчины должны быть и другие достоинства. Скажем, характер. Или вот здоровье. Представляете ТАКОГО мужчину с таблетками в кармане?



Виктор Янукович с женой
<http://www.yanukovich.openua.net/>

Авторитет отца в семье Януковичей сомнению не подлежит. Даже жена, Людмила Александровна, как и сыновья, зовет мужа «багет». Когда родился младший брат, то восьмилетний Саша, не задумываясь, предложил назвать малыша Витей, как папу»²⁸.

По расчетам политтехнологов, все еще советский по своей ментальности электорат должен был оценить «избыточную» маскулинность этого кандидата, понять и простить и эпизоды его уголовного прошлого, и недостаток образования, и склонность к крепкому словцу для пользы дела. Наоборот, такие понятные и близкие сердцу советского человека недостатки должны были сделать его «своим» в глазах избирателей. Постсоветская маскулинность, репре-

зентируемая Януковичем и поданная властью как восполнение советского дефицита «настоящего мужчины», отвечала потребности в защите, стабильности, надежности, столь характерной для переходного общества, казалось, имела все шансы на успех у избирателя (достаточно вспомнить Ельцина, Лукашенко, да и Путина)²⁹. Эти расчеты частично оправдались на Востоке Украины, прежде всего в Донецкой и Луганской областях.

Однако трудно было предвидеть успех «оранжевой» контрпропаганды, направленной на дискредитацию образа конкурента и прежде всего воплощаемой им постсоветской маскулинности. Секрет успеха состоял в значительной мере в искусном обыгрывании слабых мест, промахов и белых пятен биографии пропрезидентского кандидата. Надо сказать, что сама кандидатура Януковича предоставила для этого богатую почву: две судимости в молодости за участие в ограблении и нанесение телесных повреждений, склонность к крепким выражениям в адрес политических оппонентов, слухи о его рукоприкладстве по отношению к подчиненным и нелады с грамматикой³⁰. Интернет-сайты с анекдотами, использование мультипликации («Веселі яйця», «Операція “Професор”»)³¹, уличные представления, в которых молодежь в полосатых одеждах арестантов изображала «януковичей», имитация уголовного сленга и майданные частушки, высмеивающие промахи противника, – все эти формы «творчества масс» (как определил когда-то революцию В.И. Ленин) были направлены, в сущности, на дискредитацию доминантной маскулинности постсоветского общества, репрезентированной «донецкими» и их представителем Виктором Януковичем. Она связывалась представителями «оранжевого» лагеря с организованной преступностью, агрессией, властью денег в политике, манипулированием законом и символизировала Украину эпохи Кучмы как неевропейское, недемократическое государство. «Донецкие», имеющие репутацию наиболее сплоченной и агрессивной олигархической группировки, известной в середине 1990-х частыми криминальными разборками и ассоциирующейся с целой серией нераскрытых заказных убийств, приобрели к началу 2000-х полный контроль над Донбассом и стали расширять сферу своего влияния на другие регионы³². Поэтому перспектива президентства выходца из «донецких» Виктора Януковича заставила многих представителей украинского бизнеса если не перейти в «оранжевый» лагерь, то, по крайней мере, обеспечить себе пути к отступлению. Миф о «донецкой угрозе» и особой криминальности донецкого клана оказался очень выгоден политическим оппонентам Януковича, позволив использовать против него такие риторические приемы, как «опасность превращения всей Украины в одну большую зону».

Критики Януковича удачно (хотя, возможно, не совсем корректно) связали уголовные эпизоды молодости Януковича с основным лозунгом революции, мобилизующей массы против «криминальной власти» («Бандитов – на нары»). Маскулинность, репрезентируемая Януковичем и якобы отвечающая потребно-

сти электората в защите и чувстве стабильности, была интерпретирована его оппонентами как связанная с господствующими в стране полукриминальными кланами. Тем самым физические и личностные характеристики кандидата, призванные внушать чувство защищенности и надежности, обрели совсем другие коннотации: насилие, мафия, власть криминала. Маскулинность Януковича как пропрезидентского кандидата репрезентировала «преступный» характер власти и ее зависимость от олигархических кланов. Вспомним, что режим Кучмы оппозиция квалифицировала как «криминальный» (первым пунктом в списке обвинений в его адрес было убийство журналиста Георгия Гонгадзе, к которому был якобы причастен сам президент). Поэтому уголовное прошлое Януковича как преемника Кучмы символизировало преемственность «преступного» режима. В образе Виктора Януковича постсоветская маскулинность была представлена как пережиток прошлого, с которым можно наконец расстаться со смехом, а его политическое поражение на выборах 2004 г. казалось многим своего рода символическим прощанием с «совком». Недаром кульминационным моментом предвыборной борьбы стал эпизод с яйцом. Прибывший в Ивано-Франковск для встречи с избирателями Янукович при выходе из автобуса был сбит с ног ударом «неизвестного тяжелого предмета» и доставлен, как официально сообщалось, в реанимацию. И хотя любительскую видеозапись инцидента постарались немедленно изъять, она все же стала достоянием публики. Вся страна немедленно узнала, что двухметрового премьера сбilo с ног яйцо, брошенное одним из студентов³³. Непрофессиональные попытки команды Януковича преподнести эту историю как «покушение» очевидно провалилась, и «яичная история» стала сюжетом бесчисленных анекдотов и даже мультипликационных сериалов. Если бы она не была случайностью, она могла бы считаться «хитом» «оранжевых» политтехнологов, ибо нелепое падение огромного премьера от удара яйцом стало символическим крушением не только «режима Кучмы», но и постсоветской доминантной маскулинности, репрезентированной «донецкими».

3.2. Виктор Ющенко – лидер политической оппозиции

В противоположность «традиционно мужским» качествам Януковича Ющенко, кандидат от политической оппозиции, репрезентировал альтернативный «мягкий» тип маскулинности, что уже было подмечено некоторыми исследователями еще до президентской кампании 2004 г. Так, по мнению Д. Коновалова,

«...в образе Ющенко совершенно нет атрибутов, обязательных для традиционного образа хозяина страны или для традиционного образа “воинствующего националиста” (жесткости, агрессивности и т.д.)... На фоне жестких и властных маскулинных образов конкурентов из правительственного блока такая

“мягкость” Ющенко приносит ему значительный политический капитал – образ пришедшего мессии, который не ответит ударом на удар и даже, скорее, подставит другую щеку вместо первой»³⁴.

Достаточно новая и непривычная для постсоветской политики «мягкая» маскулинность ассоциируется с западными, прежде всего европейскими, ценностями и ориентациями и в то же время резонирует с такими культурными архетипами, как «феминность украинской нации».³⁵

По мнению Кирило Лукеренко, «мягкая» маскулинность Ющенко, его обаятельность и фотогеничность сочетаются с такими европейскими чертами политика, как открытость, уважение к журналистам, относительная скромность в быту³⁶. Технократическая, а не номенклатурная карьера Ющенко также импонировала его избирателям, отвечая в то же время европейским стандартам.

«Бухгалтер, ставший банкиром, Ющенко больше, чем кто бы то ни было, преуспел в приближении Украины к денежно-финансовым стандартам, являясь отчасти воплощением американской мечты по-украински: self-made man, человек, сам себя создавший, но при этом остающийся вне номенклатурной или постноменклатурной элиты»³⁷.

Непосредственная причастность к стабилизации украинской валюты содействовала его имиджу грамотного экономиста, знающего, как обращаться с деньгами, и тем самым способного обеспечить Украине капиталистическое процветание.

В то же время Ющенко как выходец из семьи сельской интеллигенции мог претендовать на репрезентацию «подлинной» Украины, а его увлечения украинской историей и фольклором, пасекой и гончарным делом подтверждали связь с народной традицией и символизировали преемственность в становлении нации. Будучи украиноязычным представителем Востока, он воплощал надежду на будущее единство нации поверх сконструированных культурных барьеров. В избирательной кампании Ющенко акцент был сделан на типичных характеристиках консервативного политика: многодетности, подчеркнутой моральности, искренней, имеющей семейные корни религиозности. Эти качества отвечали потребности определенной части электората (особенно Западной и Центральной Украины) в лидере, олицетворяющем воображаемую «идеальную» Украину, чудом избежавшую советизации. Если сельское происхождение (и, соответственно, окружение) Ющенко в глазах индустриального урбанизированного Востока было скорее минусом, то для сторонников Ющенко оно совсем не противоречило европейскости и модерности. Наоборот, ющенковская Украина идеально вписывалась в популярный среди украинских интеллектуалов топос «Центральной Европы», в которой большинство поздних наций были крестьян-

скими по своему генезису, а наследие социалистической модернизации и индустриализации оценивается крайне неоднозначно.



Многодетный Ющенко
<http://www.buryak.svoi.info>

ках, ломая постсоветские стереотипы «настоящего мужика». Кроме того, акцент в избирательной кампании на младших детях и второй семье Ющенко способствовал созданию образа молодого политика, карьера которого еще впереди.

Второй брак Ющенко с украинкой американского происхождения Екатериной Чумаченко символизирует евроатлантическую ориентацию Ющенко, принадлежность Украины «семье» западных демократических наций³⁸. Уже после победы Виктора Ющенко на выборах его «вторая половина», прекрасно справляясь с репрезентативными функциями, в том числе благодаря свободному владению английским языком и профессиональным навыкам коммуникации, в то же время полностью дистанцировалась от украинской политики. По мнению еженедельника «Коммерсант», Чумаченко

«...с успехом воплотила образ идеальной супруги лидера нации. Она избегает разговоров о государственных делах и поступках президента, подчеркнуто концентрируясь на заботе о детях и домашнем очаге. Редкие интервью первой леди, которые появляются в прессе, как правило, посвящены ее благотворительности»³⁹.

Тем самым репрезентации семьи Ющенко соответствуют тому самому нормативному идеалу нуклеарной семьи, характерному для либерально-демократических систем Запада, где приватное должно быть отделено от публичной сферы.

Надо сказать, что команда Януковича также активно использовала стратегию компрометации маскулинности политического противника, предложив свою интерпретацию ключевых моментов его биографии и личных качеств. Так, эксплуатируя антиамериканские и антинаатовские настроения населения,

Ющенко изображали агентом западного, прежде всего американского, влияния в Украине, проводником агрессивной политики Джорджа Буша. Апеллируя к «мягкой» маскулинности Ющенко, политтехнологи Януковича пугали избирателей тем, что будущим президентом будет в действительности руководить американская жена, к тому же бывшая служащая госдепартамента. Популярность Ющенко на Западной Украине и попытки содействовать примирению между ветеранами УПА и Советской Армии использовались для его репрезентации в качестве агрессивного националиста и даже фашиста, разжигающего в стране гражданскую войну. Если Янукович в PR-стратегиях «оранжевых» представал как инородное тело для воображаемой «обновленной» украинской нации, то в бело-голубой пропаганде уже Ющенко противопоставлялся как «чужой» другому воображаемому сообществу – «советской украинской нации».

Вторая стратегия команды Януковича состояла в компрометации имиджа Ющенко как морального, некоррупцированного политика – его основного символического капитала. Для этого разрабатывалась тема его причастности в бытность премьер-министром к различным финансовым аферам и коррупционным скандалам. Ющенко оказывался, таким образом, представителем, только менее удачливым, все той же клановой системы. Именно близостью к президенту Кучме он якобы обязан своей карьерой и, перейдя в оппозицию, продемонстрировал черную неблагодарность по отношению к своим покровителям. Уже после победы на выборах Ющенко стали обвинять (в том числе партнеры по «оранжевой» коалиции) в создании новой системы клиентарно-патронажных отношений, и годовщина «оранжевой революции» ознаменовалась рядом громких коррупционных скандалов. Новую систему уже успели окрестить термином «кумизм» (по аналогии с «кумизмом»), поскольку в ближайшем окружении президента есть несколько его кумовьев.



*...Босния и Герцеговина,
Сербия, Косово, Ирак...
Ты следующий!*

Ющенко – американский агент
<http://anti-orange.com.ua/photo/plakaty/>

Таким образом, в ходе «оранжевой революции» «мягкая», европейская и в то же время «подлинно украинская» маскулинность Ющенко была противопоставлена как альтернатива «совково»-клановой маскулинности Януковича и стоящего за ним донецкого клана⁴⁰. Миф «оранжевой революции» во многом основан на противопоставлении порочной коррумпированной власти «Папы» (как называли в узких кругах президента Кучму) и новой власти, репрезентированной Ющенко как Отцом нации, – власти, основанной на взаимных моральных обязательствах, возникших на революционном Майдане. Основополагающая мифологема «оранжевой революции» – радикальный разрыв с прошлым, заявка на изменение самого *качества* власти, – безусловно, маскирует тот факт, что Ющенко является выходцем из той же системы, в прошлом выдвигенцем Леонида Кучмы и, по его собственному признанию, считал когда-то бывшего президента своим «отцом». Говорят, что карьера лидера оппозиции далась Ющенко психологически нелегко, и только драматическое отравление в сентябре 2004 г. подтолкнула его к окончательному разрыву с «преступным режимом». При этом черты «мягкой» маскулинности отступили на второй план, уступив место качествам, необходимым для борьбы. По словам политолога Д. Выдрины, «яд как бы на время выборов заморозил характерные для Ющенко свойства души и оставил на его “рабочей”, “режущей” политической кромке жесткость, твердость и бескомпромиссность»⁴¹. Этой внутренней трансформации соответствовали визуальные изменения: отравление превратило лицо харизматического и по мужски привлекательного Ющенко в тяжелые рубленые черты выдавшего виды политика.

Впрочем, в кресле президента столь привлекательная прежде «мягкая» маскулинность Ющенко стала восприниматься как нерешительность, боязнь ответственности и зависимость от окружения. Его стремление остаться над схваткой в качестве объективного арбитра не нашло поддержки в обществе, уставшем от постоянных политических катаклизмов. По словам журнала «Корреспондент», Ющенко столкнулся

«...с суровой реальностью украинского политического рельефа – неискоренимым желанием народа видеть во главе державы сильного лидера... это превратило привычные для европейского политика терпимость и рассудительность в ярлыки мягкотелости и нерешительности».⁴²

С возвращением же в 2006 г. Виктора Януковича в кресло премьер-министра в украинской политике произошла своего рода реставрация доминантной маскулинности постсоветского образца.

4. Консервативная vs. революционная феминность в постсоветской политике

В процессах постсоветского нацистроительства, детерминированного отношениями кланового капитализма, большинство женских НПО неизбежно оказались участниками клиентарно-патронажных сетей. Показательно, что эти женские организации нашли свое место в той части гражданского общества, которая охотно шла на сотрудничество с полуавторитарным режимом и удовлетворялась его покровительством. Разделяя официальную идеологию государственного строительства, возрождения нации и укрепления семьи, женщины сами позиционировали себя как позитивную, «примиряющую» силу. Так, оброненное кем-то выражение «гендерна злагода» (гендерное согласие) приобрело популярность в украинском женском движении именно во времена президентства Леонида Кучмы как свидетельство установки на сотрудничество и избежание конфликтов не только между полами, но и, главное, с властью. Цветные революции только усилили подозрительность постсоветских режимов в отношении неправительственного сектора – российская политика жесткой регламентации деятельности НПО аукнулась по всему пространству СНГ. Так, в Казахстане, по свидетельству местных активисток, режим Назарбаева, запугивая общество призраком киргизской революции, призывает женские организации к сотрудничеству с государством и к выполнению своей «естественной» роли обеспечения мира и согласия в обществе.

Не только политические партии, но и бизнес-кланы в постсоветских странах обзавелись собственными женскими организациями, используя их как символический капитал и как механизм отмывания денег. Как ни странно, «гендер», пришедший с Запада как революционный концепт, стал важным символическим ресурсом постсоветских режимов, обеспечивая им не только демократический цивилизованный фасад в глазах международного сообщества, но и контроль над гражданским обществом, и голоса женского электората. Так, в 2002 г. под патронажем жены президента Людмилы Кучмы был создан пропрезидентский предвыборный блок «Женщины за будущее». Эта организация была призвана мобилизовать голоса женского электората в пользу власти, в том числе путем банального подкупа избирателей и использования административного ресурса – давления на государственных служащих, врачей и учителей. «Женщины за будущее» поддержали на президентских выборах 2004 г. кандидатуру Виктора Януковича.

Женская часть президентских «семей» нередко контролирует часть клиентарно-патронажной сети через свою систему неформальных связей (подруги, личные врачи, парикмахеры и пр.). Как правило, жены и дочери президентов охотно репрезентируют женские движения через возглавляемые ими «благотворительные» и «социальные фонды». Жены президентов нередко сами

задают параметры гендерного дискурса, определяя, о чем можно и о чем нельзя говорить публично. Например, проблема насилия в семье перестала быть табу в Киргизстане, когда ее публично признала жена президента Майрам Акаева. В условиях монополизации публичной сферы неформальными клановыми структурами женские организации сотрудничают с «Семьей», чтобы укрепить свой статус и получить финансовую поддержку и общественное признание.

В цветных революциях постсоветская феминность представлена амбивалентно: не только как революционная, но и как консервативная сила. Поскольку отказ от насилия – основное условие признания легитимности победы оппозиции международным сообществом, современные революции, больше чем когда-либо в истории, имеют «женское лицо». Организаторы «оранжевой революции» сознательно использовали «феминные» стратегии гражданского неповиновения, настаивая на исключительно мирном характере протестов и апеллируя к «силе слабости»⁴³. Некоторые комментаторы отмечали, что присутствие среди демонстрантов молодых женщин, которые заняли позиции на передовой линии глаза в глаза с солдатами, охраняющими государственные здания, ослабляло напряжение и помогало избежать столкновений и насилия⁴⁴. Отсюда только один шаг до использования женщин в качестве живого щита в противостоянии с полицией, что имело место во время революционных событий в Киргизстане. Вообще, девушки, украшающие цветами щиты стоящей кордоном полиции – парадигмальный образ «бархатных» революций, отсылающий к любви как изначальной форме социальной связи, без которой невозможно обновление нации. Не случайно популярная мифология «оранжевой революции» повествует о счастливых семейных парах, нашедших друг друга на Майдане. И наоборот, стратегии развенчания «мифа Майдана» строятся на профанизации мотивов и отношений его участников: они якобы получали деньги от организаторов акций, а в палатках находили шприцы и презервативы. Поскольку цветные революции являются «консервативными» в культурном отношении, репрезентированная в них «революционная феминность» имеет мало общего с феминизмом.

Эта революционная феминность была представлена в цветных революциях рядом женщин-политиков нового поколения, проявивших себя в политической оппозиции: Юлия Тимошенко в Украине, Нино Бурджанадзе в Грузии и в какой-то мере Роза Отумбаева в Киргизии⁴⁵. Этот тип объединяют некоторые общие характеристики и закономерности политической биографии: успех в бизнесе или другой профессиональной деятельности и достижение относительной независимости, разрыв с клановой системой или президентским окружением, достижение статуса самостоятельного политика, ориентация на профессионализм и западные стандарты, часто политический радикализм. Позиционируя себя как внеклановых политиков, дистанцирующихся от «грязных мужских политических игр», они быстрее коллег-мужчин завоевывают доверие

электората и могут позволить себе большую бескомпромиссность: феминность парадоксальным образом оказывается бонусом в постсоветской политике.

Юлия Тимошенко – классический пример «революционной женственности» – своей решительностью и бесстрашием заслужила звание «единственного мужчины в украинской политике». Как известно, «единственным мужчиной в украинской литературе» назвал когда-то Иван Франко Лесю Украинку, так что образ «оранжевой принцессы» действительно соответствует глубинным архетипам украинской культуры: матриархата и инфантильной маскулинности⁴⁶.

Выходец из Днепропетровска, Тимошенко сделала успешную карьеру в бизнесе и в 1995–1996 гг. возглавила фирму «Единые энергетические системы Украины». После неудачного сотрудничества с премьером Лазаренко, вынужденным покинуть страну, в 1999 г. она стала вице-премьером по вопросам энергетической политики в правительстве Ющенко. Именно попытками реформ в этом коррумпированном секторе, затронувших интересы олигархов и лично Кучмы, она объяснила позже начатую против

нее кампанию преследования. Против Тимошенко и членов ее семьи несколько раз возбуждались уголовные дела. Месячное тюремное заключение сделало Юлию Тимошенко непримиримым борцом с существующим режимом и одним из лидеров зарождающейся оппозиции. Во время Кучмагейта (спровоцированного убийством журналиста Гонгадзе) и последующей оппозиционной акции «Украина без Кучмы» она, в отличие от колеблющегося Ющенко, не изменила своей позиции. В решающие дни ноября 2004 г. не зная колебаний и усталости Тимошенко стала любимицей Майдана и заняла место первого «оранжевого» премьер-министра. Впрочем, недолгое премьерство, осложненное разногласиями с Ющенко по ключевым экономическим вопросам, закончилось отставкой, которую она объяснила интригами «любих друзів» – ближайшего окружения президента. Во время парламентской кампании 2006 года имидж бескомпромиссной радикальной революционерки принес ей дивиденды в виде голосов избирателей, разочаровавшихся в медлительном и мягкотелом Ющенко: БЮТ (Блок Юлии Тимошенко) опередил пропрезидентскую «Нашу Украину» почти на 10%.



Белый цвет - надежда на очищение украинской политики
(официальный плакат БЮТ к парламентским выборам 2006)

Феномен Юлии Тимошенко – явление достаточно новое для Украины, где большинство женщин-политиков репрезентируют «советскую» феминность (как, например, популистка Наталия Витренко, «Жириновский в юбке»). Хотя Тимошенко не раз публично обращалась к теме своего тюремного заключения, ее популярность не является результатом целенаправленной эксплуатации образа жертвы⁴⁷. Ее прическу (волосы, заплетенные в косу и уложенные на затылке) иногда трактуют как символ традиционализма (Берегиня, Мать нации). Однако так же легко ее имидж поддается противоположной интерпретации: по мнению российского журналиста Колесникова, коса – это вызов («Если бы к косе со временем все привыкли, она бы перестала ее носить»)⁴⁸. И хотя Марта Богачевска-Хомяк сравнила Тимошенко с Миленой Рудницкой⁴⁹, попытавшись вписать ее таким образом в украинскую традицию «феминизма действия», ярлык феминистки, скорее всего означающий на постсоветском пространстве неминуемую политическую смерть, к Тимошенко также не очень клеится. Может быть, потому, что она не только любит одеваться по последней моде, но и с удовольствием демонстрирует свои наряды публично. В бытность премьер-министром она даже выступила в качестве модели для журнала «ELLE». Тимошенко охотно маркирует себя как женщина, но женственность не является в ее случае синонимом слабости и подчиненности.



Тимошенко – политическая амазонка
[http://fedorovych.promotion-soft.com/
img/maydan2.jpg](http://fedorovych.promotion-soft.com/img/maydan2.jpg)

«семьей» так, как это происходит с мужчинами. И хотя политические соперники по-прежнему ставят ей в упрек темное бизнес-прошлое и лоббирование интересов определенных групп в настоящем,⁵⁰ политическая карьера Тимошенко предстает перед избирателями как карьера политика, вышедшего из клановой системы, но порвавшего с ней. Такую интерпретацию поддерживают и дружественные ей журналисты:

Тимошенко – политическая амазонка, тип женщины-политика, возможный, пожалуй, только в переходных, кризисных обществах. Отвечая антиолигархическим настроениям широких масс, она позиционирует себя как *политик вне клана*, как непримиримый враг семейственности, кровно-родственных связей и кумовства в политике. Парадоксальным образом именно как женщина она имеет больше шансов преуспеть в этом амплуа: в силу природы клановых связей женщина-политик не может обрести

«Именно семья дала Тимошенко путевку и в бизнес, и в широкий днепропетровский клан. Но политический и деловой путь Тимошенко показывает, что принадлежность к клану – это не только допуск к богатству, но и профессиональная опасность. Испытав на себе негативные последствия борьбы кланов, она стала поборницей открытой политической борьбы. Уже будучи вице-премьером, Юлия Тимошенко демонстративно пыталась показать, что руководствуется прозрачной деловой и политической логикой. Оказавшись в оппозиции, Тимошенко исповедует патриотическо-капиталистические взгляды, атакуя кланы и сросшуюся с ними систему государственной власти⁵¹».

В соответствии с обещанием «оранжевой революции» отделить семью от политики и бизнеса Юлия Тимошенко позиционирует своих родственников исключительно в частной сфере: муж, в прошлом партнер по бизнесу, семье которого она обязана началом своей карьеры, находится в ее тени и не играет публичной роли. Во время пресс-конференции, которую Тимошенко собрала в связи с окончательным закрытием Генеральной прокуратурой уголовных дел на ее ближайших родственников, один из журналистов поинтересовался у ее мужа, не собирается ли он баллотироваться в парламент. За него ответила сама Тимошенко, заявив, что пора покончить с практикой, когда в депутаты идут «всей семьей, включая домашних животных». Вызывающая резкость этого заявления соответствует ее реноме неутомимого борца с клановостью, который сложился еще в эпоху Кучмы. Сегодня она активно использует этот политический ресурс, неустанно вскрывая теневые схемы и закулисные интриги «любих друзів», предупреждая об опасности сползания к «кумизму» (оба термина относятся к ближайшему окружению президента Ющенко). И пока власть кланов, коррупция и семейственность в политике остается актуальной проблемой постсоветской Украины, Тимошенко может рассчитывать на популярность среди избирателей. Воинственная, уверенная в себе женственность, противопоставляющая себя инфантильности политиков-мужчин – симптом кризиса, переходного состояния украинского общества и украинского политикума. В отличие от «мягкой» западной маскулинности Виктора Ющенко, символизирующей либерально-демократическую альтернативу и европейское будущее Украины, женственность бескомпромиссной политической амазонки Юлии Тимошенко отвечает антиолигархическим чаяниям масс и их эсхатологическим ожиданиям торжества социальной справедливости.

Заключение

Цветные революции могут быть прочитаны как вторая после распада СССР попытка демократических реформ и завершения процессов национального строительства в ряде бывших постсоветских республик. В качестве политиче-

ского проекта они предполагали преодоление монопольного доминирования неформальных клановых структур и президентской «Семьи» в публичной политике, замену партикулярных клиенталистских связей родства и землячества универсалистскими отношениями гражданства, характерными для современной демократической нации. Этот проект в гендерных терминах может быть сформулирован как восстановление «нормального», с точки зрения либеральной демократии, разделения на публичную и частную сферы, как возвращение функции принятия политических решений формальным демократическим институтам и ограничение президентской семьи, как и семей других политиков, исключительно репрезентативными функциями. Речь идет о таком реконструировании гендерных форм, когда «Семья» перестает быть механизмом прямого перераспределения экономических активов и средством доступа к привилегированным позициям в клановой иерархии и становится прежде всего символическим ресурсом политика. На уровне репрезентаций цветные революции предстают как радикальный разрыв с прошлым, представленный как смена модели гегемонной маскулинности в постсоветской политике: от мафиозно-«совковой» к европейской демократической.

Этот проект, как показывает опыт, не так просто осуществить: слабость демократических институтов вынуждает реформаторов опираться на отношения личной лояльности и создает предпосылки для формирования новых неформальных групп интересов, стремящихся монополизировать публичную сферу. В Киргизии так называемая «тюльпановая революция» переросла в банальное перераспределение собственности и сфер влияния между кланами. По мнению некоторых авторов, Киргизию вообще не следует ставить в один ряд с Грузией и Украиной, поскольку «политическая оппозиция» возникла там скорее ситуативно и не имела конструктивной платформы, а основой массовой мобилизации стало не гражданское общество и студенчество, а все те же клановые и кровно-родственные отношения»⁵².

Однако и в Украине проект отделения политики от бизнеса и «семьи» пока также далек от реализации. Дело даже не в том, что «донецкий клан» и Партия регионов оправились от политического поражения и Янукович снова занял кресло премьер-министра. Прямое влияние бизнес-интересов на политику, похоже, только усилилось, а присутствие многочисленных родственников в партийных списках стало обычным делом. Предвыборные обещания «оранжевых» политиков дистанцироваться от своего бизнеса в случае занятия государственных должностей зачастую были реализованы в виде формальной передачи активов членам семьи и ближайшим родственникам, что только укрепило «семейственность» в бизнесе и политике. Однако даже в случае относительного успеха цветных революций декларируемое отделение семьи от политики оборачивается ее возвращением в новых формах. Из неформального института постсоветской политики семья превращается в опосредованный политический

капитал. Демократическая маскулинность оппозиционных лидеров репрезентируется в моральных терминах «отцовства» (Виктор Ющенко), а любовь и семейная близость становятся прототипом связи, конституирующим нацию. Даже там, где семья остается в тени (Юлия Тимошенко), ее демонстративное отсутствие в публичной сфере имеет символический смысл отрицания клановости. Таким образом, семья остается центральной метафорой и важнейшим институтом национального строительства в постсоветских обществах.

2007

Примечания

- ¹ С некоторыми оговорками к ним нередко относят смену режима Милошевича в Сербии в 2000 г.
- ² Понятие гегемонной маскулинности разработано Р. Коннелл (Connell, R. *Masculinities* / R. Connell. Berkley & Los Angeles, 1995) и предполагает своего рода культурный образец, доминирующий идеал, который лежит в основе гендерных практик. См. также: Мещеркина, Е. Бытие мужского сознания: опыт реконструкции маскулинной идентичности среднего и рабочего класса / Е. Мещеркина // *О муже(н)ственности* / под ред. С.Ушакина. М., 2002.
- ³ Gapova, E. On Nation, Gender, and Class Formation in Belarus... and elsewhere in the post-Soviet World / E. Gapova // *Nationalities Papers*. 2002. Vol. 30. No. 4. P. 639–662.
- ⁴ Розмаинский, И.В. Основные характеристики семейно-кланового капитализма в России на рубеже тысячелетий: институционально-посткейнсианский подход, на сайте: www.ie.boom.ru/Rozmainsky/family.htm, последнее посещение сайта 27.07.2006.
- ⁵ Лукеренко, К. «Пожарная» организация власти: семейные кланы как принцип политической организации / К. Лукеренко // *Семейные узы: модели для сборки* / под ред. С. Ушакина. М., 2004. Кн. 2. С. 352.
- ⁶ Там же. С. 352.
- ⁷ Rubin, G. *The Traffic in Women. Notes on the «Political Economy» of Sex* / G. Rubin // *The Second Wave. A Reader in Feminist Theory* / ed. L. Nicholson. New York; London, 1997. P. 36–37.
- ⁸ Елена Франчук – дочь экс-президента Украины Леонида Кучмы и жена олигарха Виктора Пинчука, успешная бизнес-леди; Бермет Акаева – дочь экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева, замужем за крупнейшим в стране бизнесменом Адилем Тойгобаевым, баллотировалась в парламент на выборах 2005 г.
- ⁹ См.: Елена Гапова, Е. О гендере, нации, классе в посткоммунизме / Е. Гапова // *Гендерные исследования*. 2005. № 13. С. 101–118.
- ¹⁰ Way, L. *Kuchma's Failed Authoritarianism* / L. Way // *Journal of Democracy*. 2005. Vol. 16. No 2. P. 131–145.

- ¹¹ Фісун, О. Помаранчова революція і демократична консолідація, www.kennan.kiev.ua/kkp/content/conf06/papers/Fisun.html, последнее посещение сайта 20.11.2006.
- ¹² Орлова, Г. Семь «Я» президента: призрак родства в российской политике 1990-х годов / Г. Орлова // Семейные узы: модели для сборки. С. 297–323.
- ¹³ Если рождение «Семьи» Ельцина было во многом связано с его болезнью и частичной потерей дееспособности, то в случае Кучмы, по мнению Лукеренко, возрастание роли семьи спровоцировал кассетный скандал, чуть не стоивший Кучме импичмента и лишивший его доверия как к политическим союзникам, так и к секретным службам и силовикам.
- ¹⁴ Спецпроект «1/6 часть суши. Lenta.ru в поисках оранжевых факторов» // <http://vip.lenta.ru/topic/ussr/>, последнее посещение сайта 28.07.2006.
- ¹⁵ Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко (в Украине), Михаил Саакашвили и Нино Бурджанадзе (в Грузии), Феликс Кулов и Курманбек Бакиев (в Кыргызстане).
- ¹⁶ Явления коррупции в той или иной форме имеют место во всех демократических государствах. Однако постсоветские режимы демонстрируют особенно злокачественную ее форму, иногда называемую «захватом государства» (state capture), которая характеризуется монопольным доминированием одного или нескольких олигархических кланов в политике и бизнесе и подчинении государственных структур частным интересам.
- ¹⁷ Виктор Пинчук потерял свою долю в «Криворожстали», повторно приватизированной на конкурсной основе индийской компанией Mittal Steel, однако сумел отстоять Никопольский завод ферросплавов, на который в случае реприватизации претендовал другой днепропетровский магнат – Игорь Коломойский и его группа «Приват».
- ¹⁸ В этом, возможно, одна из причин неудачи цветной революции в Беларуси, где «дискурс справедливости» безнадежно монополизирован президентом Лукашенко.
- ¹⁹ Kuzio T. Re-privatization and the Revolution / T. Kuzio // Kyiv Post. 2006. 23 February.
- ²⁰ Arel D. The «Orange Revolution»: Analysis and Implications of the 2004 Presidential Election in Ukraine / D. Arel // Third Annual Stasiuk-Cambridge Lecture on Contemporary Ukraine. Cambridge University, 25 February 2005 (http://www.ukrainianstudies.uottawa.ca/pdf/Arel_Cambridge.pdf), Dubnov. V. The Orange Color of the Bourgeoisie / V. Dubnov // Russia in Global Affairs. 2005. Vol. 3. No. 1. P. 33–41.
- ²¹ Наиболее противоречивой в этом отношении оказалась «революция тюльпанов» в Кыргызстане: свержение режима Акаева и приход к власти представителей Юга создали угрозу не только усиления этнического национализма, но и кланового, родоплеменного дробления нации.
- ²² Нойманн, И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей / И. Нойманн. М., 2004.

- ²³ Відкритий лист дванадцяти аполітичних літераторів про вибір і вибори, 14.10.2004 // <http://www.yuschenko.com.ua/ukr/present/News/1290/>, последнее посещение сайта 12.11.2006.
- ²⁴ Zimmer, K. Ukraine: The Donetsk Factor / K. Zimmer // Transitions Online. 2004. 17 December. (<http://www.tol.cz>)
- ²⁵ Рябчук, М. Дві України / М. Рябчук // Критика. 2003. № 10. С. 10–13.
- ²⁶ Многие семьи в западных регионах Украины испытывают сегодня сильнейший стресс в связи с массовой трудовой миграцией как мужчин, так и женщин.
- ²⁷ Американская исследовательница Джессика Гринберг, анализируя репрезентации убийства и похорон премьер-министра Сербии Зорана Джинджича в средствах массовой информации, пришла к аналогичному выводу о противопоставлении двух типов маскулинности как политических альтернатив. Если фигура Зорана Джинджича представляла демократическую маскулинность, выражающую «новые взаимоотношения между семьей, гражданами, государством и нацией» и надежды Сербии стать европейской страной, то ответственные за его убийство военизированные полукриминальные организации, тесно сотрудничавшие с режимом Милошевича, были представлены как клановые структуры – провинциальные, объединенные кровным родством и скомпрометировавшие себя этническим национализмом. Ассоциирующийся с ними тип маскулинности является «непродуктивным», поскольку воспроизводит насилие, консервирует международную изоляцию Сербии и зависимость от националистического прошлого (Greenberg, J. «Goodbye Serbian Kennedy»: Zoran Dindic and the New Democratic Masculinity in Serbia / J. Greenberg // East European Politics and Societies. 2006. Vol. 20. No. 2. P. 126–151).
- ²⁸ Николаева, В. Прикоснись к судьбе. Виктор Янукович (агитационная брошюра) / В. Николаева. Киев, 2004. С. 69-70, 85.
- ²⁹ О имплицитной связи связи конструкта «настоящего мужчины» с функцией осуществления власти см.: Рябова, Т. Мужественность и женственность в политическом дискурсе современного российского общества / Т. Рябова // Гендерные исследования. 2004. № 10. С. 207–225.
- ³⁰ Как утверждалось, заполняя анкету кандидата в президенты, Янукович написал свое ученое звание – «профессор» – с двумя «ф».
- ³¹ Распространенный в Интернете сериал «Операция “Профессор”» представлял Януковича и его соратников в образах любимых народных героев – героев-головников из фильма «Джентельмены удачи».
- ³² Zimmer, K. Die Kohle, der Clan und die Macht. Zur politischen Anatomie des Gebiets Donec’k / K. Zimmer // Osteuropa. 2005. H. 1. S. 34–49.
- ³³ Объяснения «яичному эпизоду» ходили самые разные: некоторые предполагали, что «удар тяжелым предметом» был действительно запланирован, чтобы инсценировать покушение, и Янукович упал «по сценарию», только студент с яйцом случайно опередил провокатора, другие утверждали, что Янукович был банально пьян.

- 34 Коновалов, Д. Новые маскулинности: украинский дисплей / Д. Коновалов // Гендерные исследования. 2004. № 10. С. 232–233.
- 35 Зборовська, Н. Фемінний характер української ментальності / Н. Зборовська // Сучасність. 2001. № 7–8. С. 146–150.
- 36 Лукеренко, К. Ук. соч. С. 337.
- 37 Там же. С. 341.
- 38 Как и брак Михаила Саакашвили с голландкой по происхождению Сандрой Руловс.
- 39 Корреспондент. 2006. № 32. 17 августа. С. 38.
- 40 Впрочем, пример «революции роз» в Грузии продемонстрировал, что новая проевропейская маскулинность на постсоветском пространстве не обязательно является «мягкой»: неотложные задачи укрепления государственности и противодействия сепаратизму породили спрос на «сильную» демократическую маскулинность.
- 41 Выдрин, Д. В ожидании героя / Д. Выдрин, И. Рожкова. Киев, 2005. С. 470.
- 42 Корреспондент. 2006. № 32. 17 августа. С. 8.
- 43 Об этом пишет, например, Александра Грыцак: Нгусак, А. Coping with Chaos. Gender and Politics in a Fragmented State / А. Нгусак // Problems of Post-Communism. 2005. Vol. 52. No. 5. P. 69–81.
- 44 Auer, S. Macht und Gewalt. 1989, die Ukraine und die Idee der gewaltfreien Revolution / S. Auer // Osteuropa. 2005. H. 9. S. 3–20.
- 45 McFaul, M. Transitions from Post-Communism / M. McFaul // Journal of Democracy. 2005. Vol. 16. No 3. P. 15.
- 46 Несостоявшийся феномен из той же серии – Ирина Хакамада.
- 47 Эту точку зрения высказывала Ирина Жеребкина (Жеребкина, И. Фаллоса не существует, или гендерные 90-е / И. Жеребкина. Санкт-Петербург, 2003).
- 48 Колесников, А. Первый украинский. Записки с передовой / А. Колесников. М., 2005. С. 49.
- 49 Интерв'ю з Мартою Богачевською-Хомяк. Фулбрайт Україна. http://www.fulbright.org.ua/62_2_u.html
- 50 Ходили слухи о личной заинтересованности Тимошенко в реприватизации Никопольского завода ферросплавов и позднее в разрыве украинско-российских газовых соглашений, заключенных зимой 2006 г. правительством Еханурова.
- 51 Лукеренко, К. Ук. соч. С. 336–337.
- 52 Radnitz, S. What Really Happened in Kyrgyzstan? / S. Radnitz // Journal of Democracy. 2006. Vol. 17. No 2. P. 132–146; см. также подборку материалов «О революции в Кыргызстане» // Вестник Евразии. 2005. № 3.

С МЕЧТОЙ О ЕВРОПЕ: ГЕНДЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ УКРАИНСКОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

«Быть или не быть» Украине – полностью зависит от степени ее интеграции в европейский консорциум»¹ – так сформулировала Оксана Пахльовская кредо прозападной украинской интеллигенции в 2001 г., когда разочарование политикой президента Кучмы, в том числе его возрастающей ориентацией на Россию, стало толчком к возникновению политической оппозиции. Через три года «оранжевая революция» привела к победе на президентских выборах Виктора Ющенко, и мечта о «возвращении» Украины в Европу казалась близкой как никогда. Последние несколько лет развеяли иллюзии проевропейской части украинской элиты, надеявшейся, что демонстрация национальной зрелости и демократической политической культуры на киевском Майдане заставит брюссельских бюрократов немедленно заключить Украину в свои объятия. Новый статус «соседа», предложенный Украине Европейским союзом, стал скорее компенсацией отказа в перспективе членства, чем первым шагом в интеграционном процессе. Украинская проевропейская элита переживает сегодня своего рода фрустрацию, или, по выражению Тараса Возняка, усталость от «вербальной интеграции»².

Тем не менее тема европейской идентичности Украины, поиск исторических и культурных оснований принадлежности к «европейской цивилизации» задают направление интеллектуальных дискуссий об украинской национальной идентичности, культурной политике и геополитическом выборе. Их особенностью является то, что политические, культурологические, историософские дискурсы о Европе и европейской идентичности являются крайне мифологизированными. Воображаемая Европа предстает как проекция наших порядком износившихся надежд «пожить как люди», идеалов и ценностей,

которым нет места «здесь и теперь», иногда – наших страхов перед будущим и неопределенности перспектив. Для украинской национал-демократической интеллигенции «Европа» – это духовная родина, цивилизационное пространство, где Украина присутствовала всегда. Это проект возвращения к себе, преодоления постсоветского состояния, способ обретения подлинной национальной идентичности. Это защита от России и ее антипод («Чего мы хотим от Европы? Чтобы там не было России.»)³. Европа – это пространство, не испытывавшее советизации, общество, избежавшее травмы коммунизма. Чистые улицы и зеленые парки. Европа: барокко, католицизм, религиозность, семья. Или: модернизм, сецессия, мультикультурность. Европа, разделенная злой волей пришедшего из Азии коммунистического режима и наконец ставшая единой. Европа как потребительский рай, как оазис относительной социальной защищенности и экономического благополучия. Конечно, всем известно, что есть и другая Европа: проблемы интеграции мигрантов, молодежный радикализм, наркомания. Этой продуваемой ветрами глобализации Европы боятся и вспоминают о ней, когда говорят о контроле границ, о недопустимости слепого заимствования... Какие ценности мы выбираем, какой проект, какое видение будущего защищаем мы от имени Европы – феминистскую традицию или католический неоконсерватизм, толерантность или гомофобию и «крепкую семью», аристократические традиции или рабочее движение – определяется в первую очередь украинскими политическими и культурными реалиями; в дискурс «Европы» мы облекаем собственные комплексы, надежды и фобии.

В этой статье я исхожу из того, что дискурсы о Европе и европейской идентичности Украины, о преимуществах и проблемах этой идентичности являются, как правило, гендерно маркированными, что границы Европы, как и границы нации, конструируются (как изнутри, так и снаружи) в категориях гендера, что формы семьи, особенности сексуальности и манера одеваться зачастую обозначают культурные, а следовательно, и геополитические границы. Я хочу показать, что национал-демократический дискурс имплицитно предполагает под воображаемой «Европой» определенный набор культурных ценностей и что эти ценности нередко оказываются консервативными и даже традиционалистскими. Кроме того, я обращаюсь к анализу феминистского дискурса в Украине, предлагающего альтернативное прочтение европейской украинской идентичности, а также к теме трансформации воображаемой «Европы» под влиянием процессов массовой трудовой миграции из Украины на Запад. Наконец, заслуживает внимания и обратный процесс: Украина также занимает определенное место в политическом воображаемом Европы, воплощая ее страхи и стереотипы. Не имея возможности в рамках этой статьи проанализировать различные национальные дискурсы в отношении Украины, я останавливаюсь на тех из них, которые в той или иной степени могут рассматриваться как «общеевропейские».

1. Конструкция «единой Европы» и ее границы

Сегодня уже никому не надо доказывать, что географические определения не являются нейтральными и что не только нации, но и регионы, а также континенты представляют собой культурные и интеллектуальные конструкции. Подход, заложенный критиком ориентализма Эдвардом Саидом и продолженный Ларри Вульфом применительно к Восточной Европе, а Марией Тодоровой – к Балканам, применим и к самой Европе. Правда, Европа, в отличие от других регионов, не была пассивным объектом «взгляда извне», а сама изобретала себя. В рамках этой статьи можно очертить только некоторые узловые моменты этих процессов. Переход от понятия географической Европы к идее «европейской цивилизации», отождествляющей себя с христианским миром, произошел под влиянием противостояния с Османской империей и великих географических открытий⁴. Россия и Турция стали для Европы главными конституирующими «Другими» на протяжении XVI–XIX вв⁵. В XX в. роль «Другого» перешла к Советскому Союзу, и начиная с середины 1940-х гг. концепция Европы оказалась продуктом Холодной войны. Правополиберальный дискурс в современной Европе склонен винить в расколе континента главным образом внешние силы: Сталина и советскую империю. «Азиатское» происхождение коммунизма – это часть сегодняшнего мифа о «единой Европе» как завершении тысячелетнего развития европейской цивилизации. Империалистическое прошлое европейских наций, непосредственно связанное с сегодняшними проблемами миграции, плохо вписывается в этот миф. Европа – ЕС как квазинациональное государство, обладающее монопольным правом контроля своих границ, существует совсем недавно, но этот образ легко проецируется в прошлое.

С крушением коммунизма и утратой конституирующего «Другого» Европа оказалась, используя термин Иммануила Валлерстайна, в точке «исторической бифуркации», т.е. открытости нескольким альтернативным сценариям. Но проекты «Общего Дома», «Европы от Атлантики до Урала» были восприняты как геополитическая утопия, а распад Югославии и войны на Балканах продемонстрировали оборотную сторону идиллии ненасильственного крушения коммунизма. Хрупкость демократии в бывших советских республиках, издержки российских реформ вызывали у западных наблюдателей разочарование. Поэтому наиболее реалистичным в этих условиях оказался проект «объединенной Европы», предполагавший интеграцию в Европейский Союз бывших сателлитов Советского Союза – при условии успешного завершения демократических и рыночных преобразований. Прообразом этого проекта стало объединение Германии, а доминирующим европейским нарративом – воссоединение некогда насильственно разделенного целого. Казалось бы, впервые в истории Европа объединялась не против «Другого», а на основе общей системы ценностей, ради обеспечения стабильности и благополучия всего континента. Однако, как видно

на примере концепции Центральной Европы, одним из важных факторов этого процесса все же была тень «Другого» – исчезнувшей советской империи.

Идея «Центральной Европы» периодически обсуждалась еще в XIX в. – главным образом в немецкоязычной литературе. Однако ее новое рождение и политический триумф пришлось на 1980-е гг.⁶ Своей популярности, а также геополитической эффективности она обязана, как известно, чешскому писателю и диссиденту Милану Кундере. В эссе «Трагедия Центральной Европы»⁷ он утверждал, что восточноевропейские сателлиты советской империи (прежде всего Чехословакия, Польша и Венгрия) представляют собой в действительности неотъемлемую часть Европы, которая была предана в Ялте западными союзниками, отдана с их согласия в руки Сталина. Эта концепция, апеллировавшая к чувству справедливости и исторической вины западноевропейцев, оказала серьезное влияние на политические и интеллектуальные элиты Запада и, несомненно, ускорила интеграцию названных стран в ЕС. Она получала распространение и в других странах региона, мечтающих мобилизовать центральноевропейскую идентичность в качестве ресурса евроинтеграции или хотя бы сближения с Европой. Не стала исключением и Украина, где эта идея получила поддержку главным образом в западных областях – в Галиции и Буковине. Прежде всего Львов, древний город, имеющий за плечами столетия польской и австрийской истории, репрезентирует принадлежность Украины к Центральной Европе. Миф Центральной Европы активно развивают украинские интеллектуалы – прежде всего, известный писатель Юрий Андрухович. Стратегия вписывания Украины в пространство европейской цивилизации в глазах ее сторонников позволяет преодолеть не только зависимость от России, но и провинциальность узко понятой национальной идентичности. В воображаемой географии Андруховича Львов находится в одном культурном пространстве с Веной и с Венецией – в пространстве Австрийской империи⁸. Андрухович сознательно культивирует ностальгию по исчезнувшему миру имперской провинции, занимая в то же время ироническую дистанцию в отношении подобной идеализации прошлого. В то же время «Центральная Европа» у Андруховича имеет и очевидное политическое измерение: так, выступая на слушаниях Парламентской Ассамблеи Совета Европы, он поставил «оранжевую революцию» 2004 г. в Украине в один ряд с венгерскими (1956), чехословацкими (1968) и польскими (1980) выступлениями против коммунистического режима за «основные европейские ценности»⁹.

Идея центральноевропейской идентичности Украины, восходящая к Австрийской империи, оказалась продуктивной в культурном плане, однако геополитически малоэффективной: Галичина не смогла стать «европейским локомотивом» украинского поезда. Центральноевропейская идентичность не может объединить Украину, большая часть которой при всем желании не способна разделить ностальгию по Австрийской империи. Польская же версия «Центральной Европы», основывающаяся на историческом наследии Речи Посполи-

той, не столь популярна в украинских дискуссиях (на это указывает, в частности, польский украинист Оля Гнатюк)¹⁰. Причины этой непопулярности, возможно, следует искать в возникающем в данном случае противоречии между заявляемой центральноевропейской идентичностью и доминирующим нарративом национальной истории как национально-освободительной борьбы украинского народа, в которой Польша является одним из главных конституирующих «Других».

Многие авторы указывали на дискриминационный потенциал концепции «Центральной Европы», в разной степени исключаящей из этой цивилизационной общности как соседние нации, так и внутренние меньшинства. Главным конституирующим «Другим» «Центральной Европы» является Россия, и не случайно концепция Кундеры была с подозрением встречена российскими интеллектуалами. Она была расценена (например, известными оппонентами Советского режима Владимиром Максимовым и Иосифом Бродским) как попытка монополизировать не только статус жертвы коммунизма, но и само понятие Европы¹¹. В статье российского историка Алексея Миллера специально проанализированы дискриминационные стратегии современного дискурса «Центральной Европы», связанные с попытками восточноевропейских интеллектуалов провести цивилизационную границу с Азией вдоль западной границы России¹². Что же касается Украины, дискурс центральноевропейской идентичности нередко становится источником региональной поляризации и исключения различных социальных групп (сторонников коммунистов, русскоговорящих украинцев и пр.). Например, во время «оранжевой революции» Донбасс, массово поддержавший Януковича, был представлен сторонниками Ющенко как воплощение антиевропейской ментальности и политической культуры¹³.

Очевидно, что при всех выгодах европейской интеграции для новых членов ЕС и несомненных преимуществах этого процесса для всего Европейского континента «объединение Европы» неизбежно порождает новые границы и новые исключения. Самый последний пример – расширение Шенгенской зоны на Восток с конца декабря 2007 г., включение в нее в том числе соседей Украины – Польши, Словакии и Венгрии. Новогодняя Европа отметила упразднение оставшихся пограничных формальностей, все еще напоминавших о разделении континента в эпоху Холодной войны, праздничными фейерверками и народными гуляньями. Однако продвижение Шенгенской границы на Восток, как и ожидалось, существенно усложнило для украинцев поездки в соседние страны: Польшу, Словакию, Венгрию. Уже в январе 2008 г. жители приграничной зоны организовали забастовки и пикеты, протестуя против нового шенгенского режима. Таким образом, не сумев инструментализировать концепцию «Центральной Европы» в своих интересах, Украина сама оказалась жертвой ее дискриминационного потенциала¹⁴.

Помимо расширения ЕС на Восток и «объединения Европы» другим важнейшим фактором трансформации европейской идентичности и связанных с ними новых политик «ограничения» и исключения стала массовая иммиграция в Западную Европу из стран третьего мира и позднее из постсоциалистических стран. Вопреки господствующему убеждению в том, что население Европы всегда было «оседлым, гомогенным и белым», миграционные процессы играли важную роль в европейской истории на протяжении последних столетий¹⁵. Однако два фактора в корне изменили ситуацию после окончания Второй мировой войны: во-первых, крушение мировой колониальной системы и, во-вторых, организованное рекрутирование рабочей силы для находящейся на подъеме западноевропейской промышленности – главным образом из Южной Европы и Турции. Позже добавились и другие причины, обусловившие рост миграции и ее новые формы: войны, этнические чистки, политическая нестабильность и экономические проблемы на Европейском континенте (Балканы) и в других регионах (Северная и Центральная Африка). Падение «железного занавеса» создало возможности для трудовой миграции из стран бывшего советского блока, а также транзитной миграции из стран Азии. Миграция в возрастающей степени стала рассматриваться как серьезная проблема, связанная с экономическими, культурными и политическими вызовами для европейских обществ (растущая нагрузка на систему социальной защиты, ухудшение ситуации на рынке труда, проблемы интеграции, образования, межэтнические конфликты, рост правого экстремизма и ксенофобии). Выработанные западными демократиями механизмы интеграции и политика мультикультурализма подвергаются сегодня серьезной критике с разных сторон. Медиа и эксперты способствовали криминализации дискурса миграции, непосредственно связывая ее с такими явлениями, как рост преступности и насилия в европейских городах, торговля женщинами и секс-индустрия. Новая волна моральной паники в связи с возможными последствиями «неконтролируемой миграции» была спровоцирована терактами 11 сентября и особенно их отголосками в Лондоне и Мадриде. Они несомненно укрепили стереотип мигранта-мусульманина как «чужого» и «опасного» для европейского общества, настроенного враждебно по отношению к европейским ценностям, принципиально не поддающегося ассимиляции и интеграции.

Проблема миграции стала одной из главных отправных точек для новых критических дискурсов, стремящихся деконструировать концепцию «Европы» как монопольного носителя ценностей демократии и прав человека, как гомогенную «цивилизацию», по определению исключающую «других». Среди таких новых направлений – постколониальные исследования, децентрирующие привычное видение Европы¹⁶, критическая геополитика, обратившаяся к законам функционирования «географического воображаемого» и гегемонии «геополитического взгляда»¹⁷, феминистская политическая география и феминистская геополитика¹⁸. В центре внимания этих критических дискурсов находится

женщина-иммигрант, представляющая собой, по словам Гейл Левис, «категорию-контейнер для всего, что не является Европой/европейским», «символическое место, с которого Европа заявляет свои претензии на статус колыбели человечества и цивилизации»¹⁹.

В действительности женщины-мигранты – гетерогенная в этническом и социальном отношении группа с размытыми границами и меняющимся составом, объединяющая женщин с различным социальным и правовым статусом. В 1960–1970-е гг. большинство женщин-мигрантов прибывали в Европу в качестве «членов семей» или рекрутировались промышленностью для работы в отдельных отраслях (легкая промышленность, электроника). Сегодня женщины-мигранты выходят на рынок труда, как правило, самостоятельно, большинство из них занято в неформальном секторе экономики, в сфере услуг и в развлекательной индустрии. Две категории женщин-мигрантов привлекают сегодня внимание феминистских исследований: домашний обслуживающий персонал (*domestic workers*) и женщины, работающие в сфере сексуальных услуг (*sexual workers*). Первые выполняют различные виды домашних работ (от уборки квартиры до ухода за стариками и детьми). Эти женщины, как правило, не имеют рабочей визы, то есть находятся в личной зависимости от своих нанимателей или от фирм, организующих такого рода полулегальные услуги. Они на продолжительный период разлучены со своими оставшимися на родине семьями, нередко подвергаются унижениям и сексуальным домогательствам, на них не распространяется система социальной защиты. Женщины, полулегально работающие в качестве обслуживающего персонала в странах Западной Европы, нередко рассматриваются как угроза для местного рынка труда, в то же время удовлетворяя растущие потребности европейского среднего класса в доступных услугах. Именно их труд компенсирует несовершенство семейной и гендерной политики этих стран, позволяя местным женщинам совмещать семью и работу и поддерживая несколько идеализированное представление о том, что западные мужчины якобы на равных разделяют домашние обязанности со своими партнершами.

Другая категория – женщины, занятые в сфере развлекательных и сексуальных услуг – рассматриваются, как правило, как источник социальной опасности, непосредственно связанной с другими негативными явлениями (криминалитет, наркомания). В то же время они зачастую представлены как жертвы, пострадавшие из-за своей провинциальности и доверчивости, как пассивные объекты мужского желания и криминальной эксплуатации. Если в первом случае – *domestic workers* – женщины-иммигранты скорее «отсутствуют» в публичном дискурсе, поскольку доминирующим институтам выгодно не замечать их проблем, то во втором случае – *sexual workers* – они обозначают опасную проницаемость границ Европы, незащищенность и открытость опасностям, грозящим Европе извне (СПИД, криминалитет и пр.). Эти дискурсы опасности, предполагающие

мобилизацию (женских) тел как непосредственных носителей болезней, преступности и конфликтов²⁰, конституируют «женщину-иммигранта» как носителя угрозы для социального порядка и европейской идентичности.

Как показала Гейл Левис, мусульманские женщины выступают как предельный случай «инаковости», маркируя тем самым как границы «Европы», так и пределы либеральной терпимости. Примером может служить острая дискуссия, развернувшаяся в нескольких европейских странах (Франция, Германия, Австрия) по поводу допустимости ношения женщинами головного платка в общественных местах, прежде всего в школах и университетах. Запрет на ношение платка, трактуемого в данном случае как религиозный символ, основывается на европейских принципах секуляризма (религия – частное дело граждан), особенно характерного для политической культуры Франции. Если мужчина-мусульманин внешне мало отличается от европейцев, то женщина становится маркером религиозной и культурной идентичности, понимаемой как трудносовместимая с европейской и бросающая ей вызов. Мусульманская женщина с головой, покрытой платком, воплощает в себе «очевидную» неспособность ислама к секуляризации, кричащее неравенство полов, неспособность интегрироваться в западное общество. Сексуальность, семейные нормы, репродуктивное поведение, манера одеваться становятся маркером культурной «инаковости». Женское тело оказывается ареной культурной борьбы, используется для доказательства превосходства европейской культуры или, наоборот, демонстрации толерантности, опять-таки выгодно отличающей европейскую культуру от других.

Анализируя современные дискурсы о миграции, Хельма Лутц констатирует сдвиг от «евроцентризма» к «европизму»²¹. Евроцентризм – это старый дискурс превосходства и естественного доминирования Европы, возникший в результате процессов колонизации. Его неотъемлемой частью является представление о «цивилизаторской» миссии Европы, об универсальной природе европейских ценностей. Европизм – это оборонительный дискурс, связанный с конструированием Европы как территории, нуждающейся в защите от чужих и нецивилизированных элементов.

Мне представляется, однако, что в действительности оба дискурса – «евроцентризм» и «европизм» – сегодня скорее сосуществуют и дополняют друг друга. Концепция «нового соседства», разработанная как компромисс, призванный «утешить» аутсайдеров европейской интеграции, стимулировать реформы в странах региона, не обещающая перспективы членства в ЕС, демонстрирует пример такого совмещения. Европейский союз рассматривает в качестве своей важной миссии продвижение и поддержку «европейских ценностей» (демократии, прав человека, гражданского общества, верховенства права) в странах-соседах». Эта политика «экспорта европейских ценностей» касается прежде всего стран Восточной Европы (Украина, Беларусь, Молдова), которые ЕС в возрастающей степени рассматривает как находящиеся в зоне его ответственности. Впрочем,

новый «евроцентризм» ЕС («империи против воли», по выражению Майкла Эмерсона²²) является скорее прагматическим, чем идеологическим, его непосредственной целью является политическая и экономическая стабилизация региона в интересах стран-членов ЕС. В сочетании с оборонительным дискурсом «европизма» он призван обеспечить защиту от «мягких угроз» безопасности, исходящей от «соседей» (экологическое загрязнение, экономический кризис и связанная с ним угроза неконтролируемой миграции, контрабанда, криминалитет, торговля людьми и пр.). Проявлениями защитного дискурса «европизма» являются дискуссии о совершенствовании пограничного контроля, борьбе с нелегальной миграцией, об ужесточении политики предоставления убежища и защите внутреннего рынка труда от демпинга дешевой рабочей силы из Восточной Европы.

Как будет показано ниже, оба фактора, стимулировавших процессы «перепредделения» европейской идентичности («объединение Европы» и массовая миграция), а также взаимосвязанные дискурсы евроцентризма и европизма имеют непосредственное отношение к Украине. Украинские женщины-мигранты в странах Европы, хотя и не несут на себе видимых маркеров цивилизационной пограничности или «инаковости», занимают важное место в дискурсах, конструирующих Европу путем противопоставления «другим» и их исключения. В то же время внутренние украинские дискурсы «Европы» и европейской идентичности также основаны на скрытых гендерных послылках.

2. Возвращение в Европу как исключение «других»: национальные женщины, европейские мужчины

Анализируя дискуссии вокруг концепции Центральной Европы, Андрей Портнов отмечает, что разделение на «западников» и «автохтонов», т.е., другими словами, сторонников и противников европейской интеграции, свойственно не только Украине, но и другим странам европейской периферии (например, Румынии). Однако особенностью украинской ситуации является явное или неявное присутствие второго геополитического полюса, вокруг которого вращаются дискуссии об украинской идентичности, а именно России. В национал-демократических дискурсах Россия всегда была представлена как антипод Европы, и эта тенденция усилилась с ростом авторитарных тенденций во время второго президентства Владимира Путина. После «оранжевой революции» популярный некогда среди части политической элиты лозунг «В Европу с Россией» окончательно утратил актуальность, а «Россия» и «Европа» оказались взаимосключающими полюсами «цивилизационного выбора» Украины.

В статье «Западники поневоле»²³ Микола Рябчук показал, что украинский нативизм, возникнув в XIX в. из общих с Россией славянофильских корней, позднее стал обнаруживать признаки прозападной и проевропейской ориен-

тации, обусловленные практической потребностью политической и культурной эмансипации от Российской империи. Как показывает Рябчук на примерах основоположника украинской историографии Михаила Грушевского, писателя левой ориентации Хвильевого и идеолога национализма Дмитрия Донцова, проевропейская ориентация украинских «западников» была амбивалентной, скорее прагматической, чем органичной. Добавлю, что в первой половине XX в. раздраемая противоречиями и дрейфующая к авторитаризму Европа была малопривлекательным выбором и далеко не всегда ассоциировалась с демократическими ценностями. Проевропейская ориентация части украинской элиты отражала скорее стремление привлечь внимание Европы к украинской проблеме, воспринимавшейся Западом как второстепенная и маргинальная.

То, что ориентация на Европу после 1991 г. стала «национальной идеей» украинской (гуманитарной) интеллигенции, и что привлекательность Европы для украинской элиты только возросла, несмотря на разочарование исключением Украины из процессов интеграции, можно объяснить двумя причинами. Первая – это пример стран бывшего советского блока, наглядно продемонстрировавших преимущества совмещения демократических и рыночных реформ с интеграционными процессами. С самого начала включив «Центральную Европу» и страны Балтии в воображаемые границы «Европы будущего», ЕС продемонстрировала глубокую заинтересованность результатами преобразований в этих странах, способствовала консолидации политических элит вокруг проекта интеграции в Европу. Большинство экспертов готовы согласиться, что отсутствие такой политики «кнута и пряника» по отношению к Украине стало одной из причин половинчатости и незавершенности постсоветских трансформаций в этой стране. Современные украинские «западники» полагают, что европейская модернизация в этой стране не может быть успешно завершена без активной роли ЕС в этих процессах (при отсутствии, так сказать, европейской «воли к колонизации»). В то же время позитивный сигнал, обещание членства в ЕС оказывается не менее важным, чем перспектива членства, – ведь речь идет о символическом акте *признания* европейской идентичности Украины.

Вторая причина – это травма коммунизма, которая в национальном воображаемом напрямую связана с имперским доминированием Москвы. С этой точки зрения, альтернативой европейской интеграции может быть только возвращение в прошлое, к империи и коммунизму. Новая политика памяти конституирует украинскую нацию как жертву коммунистического режима, навязанного извне, а «возвращение в Европу» представляется как гарантия неповторения трагедий, подобных Голодомору. Тем самым скомпрометировавший себя антинациональный проект советской модернизации противопоставляется проекту европейской модернизации, отвечающей интересам украинской нации. Исторические традиции, активно реконструируемые сегодня как «европейские» (протодемократия украинского казачества, зачатки конституционализма, магдебургское

право и пр.), противопоставляются российскому имперскому влиянию и оказываются не препятствием, а условием «возвращения в Европу». Эта тенденция использовать национальную традицию и историю как аргумент в пользу европейской интеграции²⁴, усиленная названными выше причинами, приводит к мифологизации проевропейского дискурса, что имеет непосредственное отношение к использованию гендерных категорий и конструкций.

В дискурсе европейской идентичности Украины «Европа» является целью, конечным пунктом, проектом, который предстоит осуществить и в то же время – «традицией», предпосылкой, условием осуществления этого проекта. Европа – это утраченное «свое», к которому предстоит вернуться. Разрыв между «внутренней Европой» как традицией и европейским будущим Украины предстает как одна из главных проблем на пути ее интеграции в ЕС. В известном эссе «Две Украины» Микола Рябчук противопоставляет «европейскую» по своей культуре и ментальности Западную Украину советизированному и русифицированному Востоку. Подчеркивая, что в Западной Украине советизация была поверхностной, он рисует идиллическую картину цельной, сохранившейся вопреки давлению режима национальной культуры:

«Изолированные от Европы, они (западные украинцы. – Т.Ж.) все-таки сохранили мелкие “бюргерские” привычки, даже в селах одевая по воскресеньям в церковь костюм с галстуком и до блеска начищенные ботинки или заботливо передавая из поколения в поколение, от матерей к дочерям, изысканные кулинарные рецепты венско-краковских сладостей»²⁵.

На другом полюсе находится индустриальная и урбанизированная Восточная Украина, прежде всего Донбасс, демонстрирующей, по мнению Рябчука, издержки советской модернизации: пьянство, алкоголизм, разрушенные семьи, детскую преступность. Этот дуализм «европейской» и «советской» Украины дополняется языковым и религиозным, при этом украинский язык и органическую религиозность греко-католиков Рябчук противопоставляет даже не другому языку и религии – а их отсутствию (язык, на котором говорит население Донбасса, не может считаться русским, а церковь играет маргинальную роль). Эстетическое измерение дихотомии «Европы» и «совка» представлено путем противопоставления многообразия архитектурных стилей (немецкой готики, итальянского ренессанса, польского барокко и венского модерна) индустриальному ландшафту Востока Украины; аристократические и буржуазные традиции как принадлежность Европы противопоставляются «пролетарской культуре» (т.е. отсутствию культуры как таковой).

Европейская культура как набор ценностей и символов, противопоставляемый здесь разрушительным последствиям советской модернизации, – гражданское общество, коммунальная солидарность, западная религиозная тради-

ция, крепкая семья – соответствуют консервативному дискурсу христианской Европы как колыбели цивилизации, как культурно гомогенного сообщества, корни единства которого лежат в многовековой истории. Даже толерантность и мультикультурность, представленные как «традиция» (как в случае Львова или Черновцов) становятся частью этого дискурса, поскольку относятся к прошлому²⁶, а вина за их утрату возлагается на внешние факторы (нацистский холокост и советскую оккупацию). За этим консервативным набором ценностей просматривается утопия «Европы» как *Gemeinschaft*, органического сообщества, связанного культурой и традицией. Воображаемой Европе приписывается здесь то, чего недостает реальной Украине. Похоже, что эта «воображаемая Европа» является для украинских интеллектуалов куда более значимой, чем Европа настоящая:

«Ехать во Львов из Киева – значит возвращаться на Запад. Не на тот геополитический нынешний политкорректный Запад, который увлекается марксизмом, обожествляет Россию, больше всего занят защитой сексуальных меньшинств, пугается “сепаратистов-националистов”, а утро начинается с Доу-Джонса. Ехать во Львов – это возвращаться к своим цивилизационным истокам, на Запад метафизический, первичный, правдивый и основополагающий»²⁷.

Утопии органичной и культурно-гомогенной Европы противостоит постсоветская идентичность, называемая Рябчуком «креольской»²⁸. Креольство – результат культурной составляющей советской модернизации. Креолы – это не украинцы и не русские, это те, кто находится между двумя идентичностями, чувствуя себя при этом комфортно, не ощущая потребности в окончательном выборе; это те, кто принял украинскую государственность, однако по-прежнему не чувствует тяги к украинской культуре. Креольство – это украинский бизнес, большая часть политикума и массовой культуры. Креолы смотрят КВН и говорят на суржике. Креолы, по словам Сергея Грабовского, «давно уже освоились в Европе, отдыхают там, имеют деньги в тамошних банках и не мыслят себя без Европы». Для них нет «принципиальной разницы, вместе с Украиной в Европу или персонально»²⁹. Согласно логике Грабовского, единственный путь в Европу лежит через украинскую культуру, креолы могут только использовать Европу в своих интересах, но в сущности они ее не заслуживают. Это не единственный пример того, как, по словам Елены Гаповой, дискурс европейской идентичности оказывается борьбой маскулинностей и служит дискриминационным целям³⁰.

Еще один пример подобного дискриминационного дискурса – статья Мыколы Рябчука³¹, посвященная критике миграционной политики ЕС в отношении украинцев. Защищая право на свободу передвижения для своих сограждан, Рябчук апеллирует не только к политическим, но и к культурным аргументам. Опираясь на точку зрения польского социолога Киселевского, Рябчук предла-

гает европейцам пересмотреть приоритеты миграционной политики и отдать предпочтение украинцам и другим восточноевропейцам перед мусульманами:

«Поскольку Европа... так или иначе требует дополнительной рабочей силы – как в силу демографических проблем, так и по причине нежелания самих европейцев, хотя и безработных, осваивать определенные профессии – трудовая иммиграция неминуема. Чтобы минимизировать культурно-цивилизационные конфликты между иммигрантами и принимающими их западными обществами, следует позаботиться, чтобы иммигранты происходили из того же самого или близкого цивилизационного круга. Для католическо-протестантской Западной Европы такими ближайшими родственниками являются главным образом православные Беларусь, Украина и Россия. Именно отсюда Запад может черпать довольно образованную, квалифицированную и дешевую рабочую силу, которая легко адаптируется, а в перспективе и ассимилируется в западные общества, к тому же не создает этнические гетто, не поддается пропаганде «Аль-Кайеды» и не чувствует мировоззренческой враждебности в отношении Запада.... Приоритетный иммиграционный режим для восточноевропейцев должен быть дополнен жесткими антииммиграционными ограничениями относительно выходцев из других цивилизационных ареалов, в частности тех, что не скрывают своих неприязненных чувств и намерений относительно Запада»³².

В предельном случае проевропейский дискурс парадоксальным образом исключает саму Европу как предавшую свои ценности и саму себя. Например, в своей речи на Лейпцигской книжной ярмарке, где его книга «Двенадцать обручей» удостоилась престижной премии, Юрий Андрухович обвинил европейцев в бесчувственности к судьбе Украины:

«Может быть, Европа просто боится? ...Может, она потому от нас и закрывается, что мы приняли близко к сердцу ее ценности, что эти ценности стали нашими? Ибо в действительности ей самой уже давно нет дела до этих ценностей?»³³

Обвиняя Европу в предательстве собственных идеалов, в политической близорукости и моральной бесчувственности, украинские интеллектуалы повторяют аргументы Милана Кундеры. В недавнем номере журнала «І» Тарас Возняк даже сравнил украинскую ситуацию после расширения Шенгена с ситуацией Чехословакии 1938 г.³⁴

Итак, дискурс «возвращения в Европу» предполагает, что «европейская идентичность» является главной предпосылкой, основой европейской интеграции Украины. В то же время между европейским прошлым и европейским будущим нации существует разрыв, созданный насильственной советской модернизацией.

цией, и все, что относится к советской эпохе, является по определению «анти-европейским». Диалектику европейского, (анти)советского и национального интереснее всего проследить на примере Львова, города, нетипичного для Украины, но наиболее наглядно демонстрирующего дилемму украинской идентичности: контраст между заявкой на европейскость и ее дефицитом. Почти все, кто пишут о Львове, так или иначе указывают на эту двойственность: центральноевропейский город, существующий только в руинах и в мечтах, и реальный (пост)советский Львов:

«Реальный Львов на девяносто с чем-то процентов состоял из ужасных предместий и новостроек. Нагромождение промышленных территорий, хаос фабрично-станционных тупиков, однообразная жилая застройка семидесятых и более поздних лет, железобетон, панели, смрад и скрежет зубовой. Фатальное бессилие городской власти с водой, канализацией, транспортом. Из открытых окон если и долетала какая-то музыка, то только советская эстрада, русского языка в городе оказалось очень много»³⁵.

В проевропейском украинском дискурсе Львов служит наглядной иллюстрацией того, как европейская культура (и европейская модернизация) как органическая и конструктивная была насильственно прервана и замещена насаждаемой сверху деструктивной, антинациональной советской версией модернизации. Эта советская модернизация оказывается поверхностной, как и украинизация, связанная с притоком новых рабочих рук из ближайших сел:

«Они селились в новых многоэтажках на окраинах, отбывая во Львове трудовую неделю, а каждую субботу возвращаясь к своему настоящему дому, в родное село... Вся их повседневность на протяжении еще десятков лет была подчинена сельскому образу жизни, с его циклом сельскохозяйственных работ, праздниками, системой ценностей, сетью отношений, моралью, эстетикой... Старый Львов был чужим для них. И для Львова они оставались чужаками»³⁶.

Незавершенность, односторонность и тупиковость советской модернизации, столь очевидная во Львове на фоне его центральноевропейского прошлого, – это проблема всей Украины, одно из главных препятствий на ее пути в Европу. Не аграрная домодерность, а именно пролетарская, советская политическая культура и ментальность представляют собой проблему:

«Мы начали метаться в поисках многовекторности и говорить о Европе... Насколько она близка жителям пролетарских городов, мы задумываемся меньше всего...»³⁷

«Мир Украины – это раннеиндустриализованные города, основной целью существования которых были показатели выплавленной стали на душу население»

ния, а ценностью – промышленные объекты, на которых эта сталь выплавлялась. То, что многие из них после независимости мало что производят, обратило псевдурбанизированный социум к аграрным ценностям...»³⁸

Половинчатая советская модернизация породила псевдурбанистическую, полуаграрную, полупролетарскую ментальность, «креольскую» культуру, а кроме того – извращенную, насаждаемую сверху женскую эмансипацию:

«Это советский аппарат научил неграмотную страну читать, рабочий класс объявил правящим, а женщинам разрешил бросать бюллетени в избирательные урны и работать – даже кузнецами тяжелого молота»³⁹.

«Международный женский день» – это одно из наибольших издевательств коммунистов. В стране, где женщин загоняли в шахты, ставили к мартенам, где женщины клали рельсы, работали трактористами, придумали один день, когда женщина могла вспомнить, что она женщина»⁴⁰.

Символом половинчатой советской модернизации и связанной с ней женской политики является фигура женщины-трактористки. Трактор стал символом женской эмансипации, открывающей доступ в мир мужских профессий и порывающей с архаичкой традиционного крестьянского труда. Прославленный прессой (знаменитая Паша Ангелина с ее призывом «Сто тысяч подруг – на трактор!»), воспетый советскими поэтами, этот образ приобрел в антикоммунистическом дискурсе стойкий негативный смысл. Но еще более популярным символом провала советской модернизации в антикоммунистическом дискурсе стала пресловутая ленинская кухарка, которая якобы могла управлять государством. Хотя ни одна «кухарка» за семьдесят лет и близко не была допущена к процессу принятия решений, именно она – необразованная женщина низкого социального происхождения, выполняющая тяжелый малоквалифицированный труд, – стала символом некомпетентности и неэффективности советской системы управления, более того – культурного и политического торжества «низов», по выражению Забужко – власти «хамократии». Требование «отстранить кухарку от власти» – часть дискурса «профессионализации» политики, легитимирующего неограниченный доступ к власти новой экономической элиты (точнее, ее мужской части), сложившейся в позднесоветскую эпоху.

Полумодернизированную советскую креольскую Украину, говорящую суржиком, ищущую счастья в городе, но всем своим существом связанную с селом, воплощает Верка Сердючка – один из самых популярных и скандальных персонажей украинской поп-сцены. Образ проводницы Верки, созданный актером Андреем Данилко, – крепкой тетки с большой грудью, уверенной в себе и не лезущей за словом в карман, но в то же время в чем-то наивной и романтической – стал воплощением массового продукта советской женской эмансипации и архетипическим символом противоречий украинской постсоветской идентич-

ности. Верка Сердючка как персонаж поп-сцены зажила собственной жизнью, выбившись из проводниц в звезды, достигнув славы в Москве и даже достигнув успеха в конкурсе «Евровидение». Амбивалентный статус Верки Седючки – многолетняя популярность и столь же однозначное неприятие со стороны тех, кто видит себя борцами за чистоту украинской культуры, – заслуживает отдельного культурологического анализа⁴¹. В 2007 г., при отборе кандидатов на конкурс «Евровидение», Верка Сердючка стала объектом настоящего Kulturkampf: критики заявляли, что Верка не может представлять «настоящую» украинскую культуру в Европе. Верка Сердючка – своего рода негативный символ украинской постсоветской идентичности, воплощение советской недомодернизации, русификации (и советской женской политики!) – является в то же время в глазах многочисленных критиков репрезентацией «антиевропейской» Украины. И эта смысловая связь отнюдь не случайна.

Популярная среди украинских интеллектуалов консервативная утопия Европы (христианство, авторитет церкви, видение нации как органического целого, традиционная семья) – это продукт прежде всего мужского воображения. Однако при ближайшем рассмотрении и либеральный проект европейской интеграции Украины не является гендерно нейтральным. Он предполагает программу всесторонней модернизации публичной сферы в соответствии с европейскими стандартами (построение национального государства, демократия, рыночные реформы, верховенство права, свобода прессы и т.д.). Именно публичная сфера – политика, бизнес, сфера образования – должна быть модернизирована по европейскому образцу. Что же касается приватной сферы, семьи, отношений между полами – никакой модернизации и вестернизации здесь не предполагается, в этих вопросах «Европа» не рассматривается в качестве образца и авторитета. Дискурс о «дефиците европейскости» адресован мужчинам: это они должны «научиться работать», «брать на себя ответственность», «не бояться свободы». «Европейцами» должны стать прежде всего мужчины, «возвращение в Европу» – это восстановление нормативной маскулинности⁴², лишенной советской модернизацией своих экономических и политических оснований. В то же время украинским женщинам совсем не обязательно становиться «европейками». Вместо «возвращения в Европу» им предлагается «возвращение в семью», почетная роль хранительниц национальной традиции, языка и идентичности. Отказ от крайностей советской модернизации («женщина – кузнец тяжелого молота»!) и восстановление автономии семьи обходится без апелляции к авторитету «Европы», скорее современная Европа имплицитно рассматривается как потенциальная угроза «национальной» семейной культуре.

3. Феминистская утопия Европы: европейские женщины, национальные мужчины

Украинский феминизм во многом воспроизводит базовые конструкции дискурса «возвращения в Европу». Как я уже писала раньше⁴³, конструирование национальной традиции феминизма и женского движения в Украине происходит путем вписывания его в европейскую историю и акцентирования особенностей, отличающих украинскую женскую идентичность от российской. Наследие советской модернизации, в значительной мере затронувшей семью и отношения полов, рассматривается скорее негативно, а советский период в целом предстает как разрыв автохтонной феминистской традиции. Представительницы украинского феминизма, как правило, поддерживают проект европейской интеграции Украины, полагая, что заимствование европейских стандартов гендерного равенства и обеспечения женских прав позволит улучшить положение женщин в украинском обществе.

В то же время украинский феминизм – прежде всего в лице Киевской литературоведческой школы (Соломия Павлычко, Тамара Гундорова, Вера Агеева, Нила Зборовская) – сумел выработать оригинальную концепцию «европеизации» украинской культуры и собственный дискурс европейской идентичности Украины. В этой феминистской утопии «Европа» предстает как источник модернизационных импульсов, направленных прежде всего на отношения полов, сферу семьи и сексуальности, раскрепощающих женщину и превращающих ее из объекта в субъект культуры. В противоположность рассмотренным выше маскулиным проектам «возвращения в Европу», предполагающим прежде всего «евроремонт» публичной сферы – политики и экономики – украинские феминистки начинают с вопросов сексуальности, телесности, отношений мужчины и женщины как первостепенных, определяющих лицо украинской культуры. При этом «культуру» они понимают не как канон, подлежащий «охране» и «защите», не как просветительство, продолжающее традиции народников и советских культуротников, а как пространство, открытое для экспериментов, заимствований, мифотворчества, «воображения заново». Именно незавершенность, неопределенность «украинскости» в современном мире позволяет, по словам Зборовской, вообразить Украину как затерянную в веках «terra feminarum»⁴⁴. Оксана Забужко, отмечая, что в современной мировой культуре женское (рецептивное) начало приходит на смену мужскому (ассимиляционному), призывает смело открыться культурным влияниям Запада и разрушить «Карфаген провинциальности»⁴⁵. Женщина, таким образом, берет на себя активную роль «вестернизатора» украинской культуры, переоткрывая и переосмысливая ее как «территорию» Европы и феминизма.

Как и маскулиный дискурс «возвращения в Европу», украинский феминизм рассматривает советскую модернизацию как поверхностную и незавершенную.

Однако главным ее недостатком в глазах феминистских критиков является то, что она практически не затронула приватную сферу, сохранила в неприкосновенности худшие патриархатные стереотипы провинциальной, домодерной украинской культуры. Падение коммунизма, обретение Украиной национальной независимости, внедрение институтов демократии и рынка не затронули этих патриархатных культурных моделей, воспроизводимых новой (старой) культурной элитой. Одной из первых о необходимости феминизма как инструмента модернизации украинской культуры написала Соломия Павлычко: назвав украинское общество патриархатным, неразвитым, а украинскую культуру одноклассовой, неполноценной, провинциальной, она заявила, что «при консервации существующего положения вещей наша культура никогда не станет нормальной, европейской, или, пользуясь нейтральным термином Дмитрия Чижевского, «полной»⁴⁶.

По словам Веры Агеевой, украинская культура в 1990-е гг. была вынуждена преодолевать разрыв советских десятилетий и ставить проблемы, не решенные до конца в начале XX в. Поэтому именно вопросы гендера, пересмотр традиционных определений феминного и маскулинного

«...для украинской ситуации, возможно, следует считать особенно актуальными и болезненными, учитывая очередное “наверстывание” интеллектуальных стандартов, от которых мы долго были отлучены, ведь советская ментальность законсервировала патриархальные ценности и представления XIX в. И все, что происходило в западных обществах в связи с разными этапами сексуальной революции, – изменение положения женщин, их участие во всех сферах общественной жизни, требование отказаться от воинственности, агрессивности и насилия как первоочередных черт мужской идентичности, признание гендерной паритетности (по крайней мере на уровне деклараций и правовых норм), переосмысление семейных ролей – все это, к сожалению, почти не оказало влияния на украинскую культуру»⁴⁷.

Сравнивая две эпохи «fin de siècle», Павлычко, Агеева и другие авторы полагают, что в 1990-е гг. украинская культура оказалась перед похожими вызовами и проблемами. Речь идет о преодолении автостереотипа «сельской нации», выхода за пределы провинциального, второстепенного статуса украинской культуры, обеспечении ее открытости европейским (западным) влияниям, изменении отношения к женщине-автору. Обращаясь к анализу классической и современной украинской литературы и переосмысливая ее в контексте традиций европейского модернизма и феминизма, феминистские критики делают акцент на активной «вестернизаторской» миссии женщины в культуре. В этом отношении современные представительницы феминистского литературоведения видят свою задачу в продолжении усилий Леси Украинки и Ольги Кобылянской, на-

правленных на модернизацию национальной культуры. Начало этому процессу реинтерпретации украинской культуры с точки зрения феминизма положила Соломия Павлычко в книге «Дискурс модернизма в украинской литературе»⁴⁸. Феминизм Леси Украинки и Ольги Кобылянской она рассматривает в контексте противостояния народничества (связанного с просветительским, инструментальным пониманием культуры) и модернизма (исходящего из самоценности искусства и литературы). Если народничество оборачивается культурной изоляцией, то модернизм для Леси Украинки означает ориентацию на Европу, является синонимом свободного и разнопланового культурного развития⁴⁹. Ориентация на Европу, поворот к модернизму – это не измена делу освобождения народа, как полагали многие (мужчины-критики), а необходимое условие воспитания собственной элиты, без которой невозможна полноценная нация. По мнению Леси Украинки, переводы на украинский язык классических и современных западных авторов должны были стать одним из важнейших инструментов модернизации украинской культуры. Сама Соломия Павлычко продолжила этот проект спустя почти сто лет, инициировав издательство «Основы», специализирующееся на публикации переводной литературы на украинском языке. Другой задачей была в конце XIX в. модернизация украинского языка – и здесь Леся Украинка и Ольга Кобылянская стали настоящими пионерами, заложив основы «женского» языка чувств, телесности, сексуальности. Введя в литературоведческий анализ их интимную переписку, Павлычко впервые обратила внимание на существование языка женской сексуальности в украинской культуре, на возникновение лесбийского дискурса. Обращение к этой табуированной теме вызвало настоящий скандал в украинских литературных кругах середины 1990-х г. Свою задачу как переводчицы Павлычко видела в продолжении этой работы по модернизации украинского литературного языка, развитии дискурса чувств, телесности, эротики⁵⁰: в ее переводе впервые был опубликован на украинском роман Лоурэнса «Любовник леди Чаттерлей». Как признавала в интервью сама Павлычко, редактор предлагал ей заменить некоторые «непристойные» слова, но она настояла на своей версии⁵¹.

Таким образом, женщина оказывается модернизатором и «переводчиком» между культурами, указывает выход за узкие рамки «национальной» культурной парадигмы – это подчеркивают и другие феминистские критики. Тамара Гундорова в книге, посвященной Ольге Кобылянской, указывает на ее место на пограничье украинской и немецкой культур как чрезвычайно плодотворное в ситуации провинциальной, замкнутой на себя украинской культуры⁵². «Немецкость» Кобылянской, предмет критики со стороны народнической (и мужской) части литературного сообщества, была позитивно оценена Лесей Украинкой, видевшей в ней возможность выхода в мир европейской культуры, обогащения стиля. Языковая маргинальность Кобылянской, по мнению Гундоровой, сделала ее культовой фигурой украинского модернизма начала XX в.

Если у мужчин-модернистов (например, у Хвильевого) «Европа» выступает как символ мужского, сильного начала в противоположность «женской», периферийной украинской культуре, феминистская интерпретация модернизма подчеркивает роль активного женского начала, а «мужское» оказывается воплощением провинциальности, неспособности к открытости и переменам, слабости. Так, в рассказах Кобылянской, в интерпретации Павлычко, «высокая» культура, город, рациональность связаны с «женским началом», которое противостоит домодерной аграрной культуре, лишенной романтического ореола, инстинктам и иррациональности сельской жизни, воплощенных в мужских персонажах⁵³. Феминистская версия модернистского проекта в украинской культуре по-новому интерпретирует традиционные оппозиции «Европы – провинции», «города – села», «рационального – чувственного», «элиты – народа»; при этом женщина оказывается активным началом, агентом перемен, залогом европейского будущего Украины.

В то же время нельзя не заметить, что этот феминистский дискурс подчинен потребностям проекта возрождения национальной культуры, преодоления провинциализма и «постколониального состояния» путем «возвращения в Европу». И хотя феминистская трактовка канона национальной культуры является более широкой, толерантной, даже революционной в украинской ситуации, этот дискурс зачастую оказывается дискриминационным по отношению к «другим», а «Европа» из символа открытости, маргинальности, пограничности и гибридности современных идентичностей превращается в застывшую в своей непреходящей ценности «цивилизацию», контейнер идеализированных «традиций» и «ценностей».

Пожалуй, наиболее яркий пример подобного феминистского мифотворчества в новейшей украинской литературе дает книга Оксаны Забужко «Notre Dame d'Ukraine: Украинка в конфликте мифологий»⁵⁴. Предлагаемая радикально новую интерпретацию роли Леси Украинки в украинской культуре и истории, Забужко решительно разрывает с предшествующей традицией, с советских времен навязывающей образы великой поэтессы как страдающей за народ революционерки и «Великой Больной». Инновация Забужко состоит в том, что она пытается вписать Лесю Украинку в контекст «многовековой украинской рыцарской культуры», европейской аристократической традиции, утерянной Украиной в XX в. Лариса Косач – аристократка не только по духу, но и по крови – репрезентирует «кровную», почти биологическую связь Украины с европейской историей и культурой:

«Леся Украинка, Лариса Петровна Косач – аристократка, дочка действительного статского советника, наследница старинного шляхетского рода и казацкой гетьманской старшины. Ее предок по отцовской линии еще в XIV в. получил герцогский титул от императора Фридриха. Предки по материнской

линии, Косачи, были правителями Герцеговины. Ее предок из рода Драгомановых был переводчиком при правительстве Хмельницкого. Леся Украинка – последняя представительница нескольких столетий украинской европейской рыцарской культуры, которая всем своим творчеством – и драмами, и поэзией, и всем своим мировоззрением дает абсолютно завершенный памятник этой культуры»⁵⁵.

Почти в духе нашумевшего романа «Код Да Винчи» Забужко интригует читателя намеками о гностических мотивах в творчестве Леси Украинки, ее знакомстве с христианскими ересями и восточными культами, о зашифрованных символах и тайных обществах. Однако речь идет не о поверхностных эффектах, скорее такая «экзотизация» собственной культуры, казалось бы, хорошо известной из школьной программы, призвана подготовить почву для смены парадигм, предлагаемой Забужко. Вместо народнической, революционно-демократической, национально-освободительной парадигмы Забужко предлагает трансъевропейскую элитарно-аристократическую, меняющую традиционное восприятие не только украинской, но и российской истории: в этой парадигме запорожское казачество оказывается филиалом Мальтийского рыцарского ордена, «позднейшей формой средневекового европейского рыцарства», Киево-Мефодиевское братство – тайной масонской ложей, с помощью которой украинская аристократия пыталась осуществить свой национальный проект, а восстание декабристов – прежде всего протестом украинско-польской аристократии против российского абсолютизма⁵⁶.

Фигура Ларисы Косач служит, таким образом, отправной точкой для реконструкции этой аристократической традиции, связывающей Украину непосредственно с Европой и отделяющей от России («русское рыцарство» режет слух оксюморонам как «американские валенки»)»⁵⁷. Утрата традиций шляхетской (дворянской) Украины, согласно Забужко, произошла под влиянием российского народничества и социализма, а память о ней была окончательно вытравлена коммунистическим режимом:

«Скрытая драма украинской культуры XX в. состоит в том, что сформированный в XIX в. европейский тип интеллигенции, порожденный казацко-шляхетской традицией, – наше мазепинское “местное сообщество” “рыцарей Святого Духа” – был задолго до своего физического уничтожения, до “Сивашей и Перекопов”, силой внутренней инерции колониального развития вытеснен из общественно авторитетной позиции интеллигенцией российского типа – народником-“безпочвенником”... и что именно по этому типу (с определенными колониальными модификациями, с поправками на “местные условия”) украинская интеллигенция и стала воспроизводиться дальше»⁵⁸.

Сюжет об «украденной Европе» получает у Забужко новое развитие: Украина была не просто силой аннексирована имперской Россией, под ее влиянием произошло изменение своего рода «цивилизационного кода», превращение Украины из европейской аристократической в крестьянскую нацию. Таким образом, сегодняшнее «культурное одичание», продолжающаяся ползучая русификация украинского культурного пространства, то, что Забужко определяет как «торжество хамократии», являются следствием не только советской политики, но и столетий предшествующего исторического развития. При этом не столько сама имперская власть, сколько российский социализм, народническая и революционная традиция оказываются врагами украинскости. В новой символической оппозиции «Европа/аристократизм» – «Россия/социализм» Украина оказывается частью европейской цивилизации, хотя и пережившей в XX в. «восстание масс», однако сохранившей природный иммунитет против социализма. Таким образом, дистанцирование от коммунистической идеологии и советского режима происходит у Забужко на более глубоком уровне: речь идет об изначальном различии «цивилизационных кодов» России и Украины.

Своеобразный «консервативный феминизм» Забужко является частью ее историософско-культурологической концепции возрождения Украины, в которой женщине отводится место миссионера, героическая роль духовного лидера, «проводника нации». Леся Украинка является олицетворением такого женского духовного лидерства в силу не только таланта, но и права рождения – как наследница украинской европейской аристократической традиции. Образ пророчицы Кассандры, который Забужко заимствует из творчества Леси Украинки, она примеряет не только на саму поэтессу, но и на других выдающихся женщин украинской культуры, включая себя. Не случайно Забужко посвятила книгу Соломии Павлычко: написав о Лесе Украинке, она сдержала обещание, данное подруге незадолго перед ее смертью. Тем самым дискурс Оксаны Забужко воспроизводит не только исчезнувшую традицию «украинского европейского рыцарства», но и прерванную традицию украинского феминизма. Этот автохтонный феминизм имеет мало общего с действительным европейским феминизмом: парадоксальным образом он оказывается вписан в дворянско-аристократическую, а не в демократическую и социалистическую историю Европы. Этот радикально-консервативный феминизм идентифицирует себя даже не с «Европой», а с определенной частью ее культурного наследия, крайне мифологизированного и используемого как инструмент «деколонизации» украинской нации.

4. В Европу с черного хода: украинские женщины-мигранты и дискурс национальной идентичности

С конца 1980-х гг. либерализация пограничного режима и расширение свободы передвижения открыли для граждан Украины новые экономические возможности, связанные с трудоустройством за рубежом. Однако прошло несколько лет, прежде чем о массовой трудовой миграции, в обиходе называемой «заробитчанством», заговорили как значимом социальном феномене. Затяжной экономический кризис первой половины 1990-х гг. вынудил многих украинцев, особенно жителей депрессивных регионов, искать возможности заработка за рубежом. Первые «заробитчане» были скорее «челноками», ориентированными на одноразовые торговые операции, но к концу 1990-х краткосрочные коммерческие поездки уступили первенство более длительным поездкам за рубеж с целью трудоустройства. Безработица и задержки с выплатой заработной платы перестали играть роль основного «выталкивающего» фактора (согласно одному из опросов украинцев, работающих за рубежом, только 10% из них до отъезда не имели работы). Однако средняя заработная плата в Украине остается низкой по сравнению с западными соседями (да и с Россией). Поэтому сегодня решающим стимулом отъезда на заработки за рубеж является стремление улучшить финансовое положение семьи и решить важнейшие материальные проблемы (покупка жилья, оплата образования детей и пр.).⁵⁹ Точная оценка масштабов трудовой миграции из Украины практически невозможна, и этот вопрос является предметом политических спекуляций. Политики охотно оперируют цифрой 7 млн, социологи, занимающиеся проблемами миграции, более осторожны и склоняются к 2–2,5 млн⁶⁰, наконец, представитель Министерства труда назвал недавно цифру 3–3,5 млн человек⁶¹.

Среди первого поколения трудовых мигрантов доминировали мужчины, они устраивались на работу главным образом в строительной отрасли (преимущественно в России и в Польше). Сегодня Россия продолжает оставаться одним из главных потребителей украинской рабочей силы (хотя в последние годы украинцев на российский сером рынке труда значительно потеснили бывшие соседи по Союзу – молдаване, таджики, узбеки). Однако с начала 2000-х гг. трудовая миграция из Украины характеризуется рядом новых тенденций. Украинцы постепенно освоили страны «старой Европы»: Португалию, Италию, Испанию, Германию. Рынок труда этих стран предъявляет повышенный спрос на рабочую силу в сфере услуг (гостиничный и ресторанный бизнес) и домашних хозяйств (помощь по хозяйству, уборка помещений, уход за детьми и пожилыми членами семьи). Чем более развит «сектор услуг», тем больше потребность в женских рабочих руках⁶². Поэтому освоение европейского рынка труда привело к быстрой феминизации трудовой миграции: хотя в целом, по данным Министерства труда, 70% мигрантов составляют мужчины, на «западном направлении» доля мужчин

и женщин уравнивается, а в некоторых странах, например в Италии, большинство украинских мигрантов – женщины. В западных областях Украины, ориентированных на европейский рынок труда, от 60 до 70% «заробитчан» составляют женщины. Большинство из них, как показывают опросы, замужем и имеют детей. Кроме того, если первыми трудовыми мигрантами были жители больших городов, обладавшие связями, доступом к информации и стартовым капиталом, то сегодня большинство выезжающих на заработки украинцев составляют жители малых городов и сел⁶³. «Из сел Западной Украины в Италию женщины выезжали целыми группами, оставляя дома мужей с детьми»⁶⁴. Таким образом, стереотип трудового мигранта сегодня – это провинциальная украинка средних лет, как правило, имеющая дома семью и детей.

Большинство трудовых мигрантов находятся в стране пребывания на основе туристической визы, работают без соответствующего разрешения на трудоустройство и трудового договора, что лишает их правовых и социальных гарантий. Эксперты свидетельствуют о массовых фактах дискриминации, бесправного положения трудовых мигрантов, отсутствии доступа к медицинской помощи, об опасности криминализации нелегального сектора миграции⁶⁵. Хотя некоторые страны (например, Португалия) в последнее время частично легализовали находящихся в стране трудовых мигрантов, европейское миграционное законодательство в целом в отношении не-граждан ЕС ужесточается, в немалой степени под давлением правого популизма и растущей ксенофобии среди населения. Уже упоминавшееся расширение Шенгенской зоны на новых членов ЕС – западных соседей Украины – значительно усложнило перспективы трудовых мигрантов и сезонных рабочих, прибывающих в эти страны из Украины.

Трудовая миграция – это проблема, которую охотно инструментализируют политики разных лагерей. Завышенные цифры миграции использовались как коммунистами, так и национал-демократической оппозицией с целью критики «антинародной политики» правительства Кучмы. Во время президентских выборов 2004 г. Виктор Ющенко пообещал улучшить правовой статус украинских «заробитчан» и обеспечить экономические и социальные условия для их возвращения на родину (в частности, было обещано создать в Украине дополнительно 5 млн рабочих мест). Голоса украинцев, находящихся на заработках в Европе, стали важным источником электоральной поддержки для национал-демократической оппозиции, а публичная поддержка ими «оранжевой революции», пожалуй, впервые сделала их «видимыми» для европейцев⁶⁶. В то же время, стремясь добиться от Европейского союза перспективы членства и в краткосрочном плане, надеясь на уступки Брюсселя в вопросах визовой политики, новое руководство Украины не было заинтересовано в раздувании проблемы и преувеличении масштабов трудовой миграции. Драматизация феномена трудовой миграции сегодня на руку критикам Ющенко⁶⁷, в то время как проевропей-

ски ориентированная часть украинских медиа предпочитает дискурс «нормализации».

В современных дискурсах о трудовой миграции отражаются не только экономические и демографические, но и геополитические дилеммы Украины. Несмотря на то, что Россия остается главным реципиентом украинской рабочей силы, в фокусе публичных дискуссий оказывается главным образом миграция в Европу. Керстин Циммер объясняет отсутствие интереса к проблеме трудовой миграции в Россию «привычностью» этого феномена, имеющего корни в советской истории («стройки коммунизма»), а особое внимание к «европейскому направлению» оправдывает его новизной и структурными особенностями⁶⁸. Я бы несколько расширила этот аргумент: с одной стороны, Запад продолжает играть роль «Другого» в массовом сознании украинцев, оставаясь «темным объектом желания»⁶⁹, каким он был в эпоху «железного занавеса». С другой стороны, про-европейская ориентация украинской политической и интеллектуальной элиты является важным фактором, превращающим украинцев, работающих в Европе, в контрапункт дискуссий о путях развития страны. Трудовая миграция в Россию представляется в этой перспективе хотя и достойным сожаления, но скорее временным, переходным явлением. В силу близости культур и восточноукраинского происхождения большинства из них украинцы ассимилируются в России значительно быстрее, чем на Западе, они не склонны к формированию диаспоры и плохо поддаются национальной мобилизации. Об этом свидетельствует, например, безуспешная попытка команды Януковича мобилизовать голоса украинцев, работающих в России. Поэтому «российская составляющая» трудовой миграции остается в тени или упоминается скорее в негативном контексте:

«На Запад едут преимущественно представители Западной Украины, а в Россию – украинцы из Восточных областей. Это не только углубляет и без того существенную разницу между ментальностями двух частей одной несформированной нации, но и имеет очень конкретные социально-политические последствия для Украины и негативное влияние на ее безопасность в целом»⁷⁰.

Таким образом, репрезентация феномена трудовой миграции в прессе и политических дебатах далеко не адекватна объективной реальности: в центре внимания оказывается, как правило, миграция в страны Европы, а фигура женщины-мигранта является тем пунктом, в котором драматизация и морализация дискурса достигает максимума. Украинская женщина, вынужденная обслуживать богатых европейцев, становится одним из символов национального унижения, репрезентирует бедственное положение украинской экономики и исключение Украины из процессов европейской интеграции. Фигура женщины-«заробитчанки» находится на пересечении различных дискурсов: демографического кризиса, национальной идентичности и европейской интеграции Укра-

ины. Именно женская миграция вызывает наибольшее беспокойство экспертов и политиков и оказывается в центре политических дискуссий, связывая воедино проблемы депопуляции, кризиса семейных ценностей, национальной безопасности и необходимости модернизации украинского общества.

Как отмечает Керстин Циммер, вокруг проблемы трудовой миграции в Украине формируется два основных дискурса: традиционалистский и либеральный. Традиционалистский дискурс рассматривает трудовую миграцию преимущественно негативно, в терминах потери (утрата части «национального целого») и отсутствия (мигрант – как отсутствующий в экономике, в политической жизни и в семье). Важное место в нем занимает и унаследованный из советских времен мотив «предательства» в отношении своего народа и своих близких, осуждение стяжательства и погони за быстрыми деньгами. При этом нельзя не заметить, что именно женщина-мигрант является главным объектом морального осуждения в традиционалистском дискурсе. Будучи жертвой (экономической ситуации в стране, политики правительства, собственного легкомыслия), женщина в то же время несет основную ответственность за социальные последствия трудовой миграции. Во-первых, это снижение рождаемости и депопуляция, поскольку мигрантами являются, как правило, молодые женщины трудоспособного и детородного возраста, откладывающие рождение детей на будущее. Во-вторых, это разрушение семейных связей в силу не только длительной разлуки, но и влияния чужой среды, нового окружения. Даже если речь не идет об «измене», на женщину возлагается ответственность за депрессию и алкоголизм мужа, вызванные ее отсутствием. В-третьих, речь идет о социальном сиротстве, возрастании числа детей, находящихся в течение длительного времени без опеки одного, а то и двух родителей. Женщина и в этом случае несет основную ответственность как мать, в то же время неспособность мужчины в одиночку справиться с проблемами воспитания представляется естественной:

«Родители, которые едут за рубеж, чтобы обеспечить будущее своих детей, не способны контролировать их сегодняшний день. ...Если принять во внимание, что у нашей трудовой миграции “женское лицо”, то приходим к выводу – воспитанием будущего поколения занимаются бабушки и склонные к алкоголю – как своего рода средству от депрессии – мужчины. Что и говорить, такое воспитание далеко от полноценного»⁷¹.

Тот факт, что большинство мигрантов сегодня дает провинция и сельская местность, вызывает у традиционалистов особую тревогу – дальнейшая деградация села несет угрозу не только депопуляции, но и утери национальной идентичности, – учитывая, что основным поставщиком «заробитчан» является украиноговорящая Западная и Центральная Украина. В первую очередь женская миграция является фактором социальной деградации и депопуляции села – по-

сколькx отъезд женщин разрывает семейные связи, подталкивает мужчин к алкоголизму и снижает рождаемость. Вспомним, что еще в советскую эпоху село страдало от гендерных диспропорций – в город уезжали в первую очередь молодые женщины; поэтому данный дискурс имеет глубокие корни. Как правые националисты, так и коммунисты рассматривают женскую мобильность как негативное явление. Так, Петро Симоненко, лидер украинских коммунистов, критикуя политику Ющенко, назвал мигрантов людьми, вредными для общества, обвинив их в распространении алкоголизма, СПИДА и употреблении наркотиков. Он отметил, что, поощряя женщин к миграции, правительство подрывает их настоящую роль – рождение и воспитание здоровых детей⁷².

Характерным для традиционалистского дискурса является сексуализация женской трудовой миграции, сознательное смешение двух различных явлений – трудовой миграции и торговли женщинами, принуждения к проституции. «Заробитчанин»-мужчина, таким образом, предстает как нормальное явление, в своей естественной роли добытчика и кормильца, тогда как женщина, уезжающая на заработки за рубеж, автоматически оказывается в «группе риска», рассматривается в первую очередь как сексуальный объект.

«Сегодня среди “заробитчан” все большей становится доля женщин, которые из “хранительниц домашнего очага” вынуждены превращаться в добытчиц. Естественно, что добывать средства к существованию и создавать крепкую семью невозможно. Тем более что способы заработка все чаще лежат в плоскости “сексуальных услуг”, так как найти в Европе квалифицированную работу можно, только владея востребованной ремесленной профессией – такой, как швея или парикмахер. Подсобные работы оплачиваются плохо, ввиду того что женщины не могут дать на той же уборке фруктов такой выработки, как мужчины... Молодым девушкам и женщинам, на что бы они ни рассчитывали, отправляясь в дальние края, зачастую приходится работать в районах “красных фонарей”. Если же им удастся устроиться на роль прислуги, нередко это сопряжено с оказанием нанимателю услуг интимного характера. Само собой, такое начало трудовой и половой жизни не способствует ни становлению личности, ни обретению женщиной жизненной позиции, ни уж тем более – созданию нормальной семьи на родине. Даже те молодые женщины, которые успели перед выездом на заработки обзавестись мужем или ребенком, – как правило, после зарубежной “трудовой эпопеи” больше не способны, да и не хотят рожать детей»⁷³.

Женщины, в силу неосторожности, легкомыслия или несчастного случая вставшие на этот путь, оказываются потерянными для нации:

«Девушки и женщины, по своим физическим данным наиболее подготовленные к материнству (а именно такие обладают наибольшей сексуальной привлекательностью и, следовательно, наибольшими шансами получить работу),

оказываются навсегда выброшенными из процесса воспроизводства населения в Украине»⁷⁴.

Либеральный дискурс, в отличие от традиционалистского, описывает трудовую миграцию как нормальное рыночное явление, естественную реакцию рынка труда на разницу в уровне доходов между бедными и богатыми странами, как неотъемлемую часть процессов глобализации. Трудовая миграция рассматривается как легитимная индивидуальная стратегия, а мигранты – как наиболее активная часть населения, не ожидающая помощи от государства, а полагающаяся на свои силы и навыки. Поэтому позицией государства должно быть не «предотвращение» миграции, а защита прав и интересов своих граждан за рубежом. Либералы подчеркивают позитивные аспекты миграции, прежде всего их вклад в украинскую экономику. В 2006 г. украинцы, работающие за рубежом, перечислили своим семьям 8,4 млрд дол., что в два раза превышает прямые инвестиции в украинскую экономику из-за рубежа⁷⁵. (Правда, скептики указывают на то, что только небольшая часть заработанных мигрантами денег инвестируется в экономику Украины, основная масса расходуется на потребление и способствует раскручиванию инфляции.) Другим аргументом в пользу миграции является то, что «заробитчане» импортируют в Украину новые трудовые навыки и технологии, европейскую трудовую этику и даже демократическую политическую культуру⁷⁶. При этом либералы ссылаются на опыт Польши, которая смогла успешно вписаться в рыночные реалии именно потому, что значительная часть населения прошла школу капитализма, работая в 1990-е гг. в странах Западной Европы. Поэтому трудовые мигранты рассматриваются либералами как потенциал развития малого и среднего бизнеса, как часть населения, наиболее заинтересованная в рыночных и демократических реформах, поддерживающая курс на интеграцию Украины в ЕС. Трудовые мигранты, работающие в странах Европы, видятся активными агентами европеизации украинской экономики и политической культуры.

Этот либеральный дискурс трудовой миграции, хотя и не является на первый взгляд гендерно-специфическим, видит в качестве агента европейской модернизации прежде всего мужчину-мигранта. Женская миграция, в отличие от мужской, рассматривается все же как вынужденная и нежелательная в силу ее социальных и демографических последствий. Например, президент Виктор Ющенко успешно совмещает либеральную риторику в отношении трудовых мигрантов как «лучшей части нации» с традиционалистской просемейной риторикой. Кроме того, женщины, занятые преимущественно в секторе домохозяйств, вряд ли могут стать носителями новых технологий, навыков и трудовой этики. Даже в качестве трудового мигранта как активного экономического субъекта они по-прежнему вписаны в сферу приватного. При всем стремлении к «нормализации» трудовой миграции женщина остается заложницей виктимизи-

рующего дискурса хотя бы потому, что ее специфическая ситуация становится предметом обсуждения только в контексте проблемы торговли людьми. Не случайно в Украине при финансовой поддержке западных фондов действует несколько десятков женских организаций, занимающихся предотвращением торговли людьми, но нет практически ни одной, оказывающей помощь обычным женщинам-«заробитчанкам».

Массовая трудовая миграция из Украины в страны Западной Европы создала новую ситуацию, в которой элитарный дискурс «возвращения в Европу», созданный интеллектуалами и политиками, уже не обладает монополией. По словам Натальи Шостак, «миллионы обычных украинцев получили возможность заново определить свое отношение к Европе, часто в подлинно экзистенциальной борьбе за выживание»⁷⁷. Это новое поколение украинцев, которое «связано с Европой более тесно, чем когда-либо», в своих собственных проектах идентичности и поисках европейскости «опирается в первую очередь на собственный опыт»⁷⁸. В дискурсе, возникающем «снизу», из рассказов и воспоминаний самих мигрантов, образ Европы складывается из деталей повседневной жизни, опыта адаптации к новой, незнакомой культуре и новых социальных контактов. Однако голоса самих мигрантов пока практически не слышны в публичных дискуссиях о европейских перспективах Украины.

Тем не менее украинская массовая культура уже отреагировала на феномен трудовой миграции несколькими новеллами и даже театральной пьесой, с успехом прошедшей в крупных украинских городах и даже за рубежом. Наталья Шостак предлагает интересный анализ этих произведений массовой культуры, воссоздающих образ Европы как «чужой земли», объекта желания и механизма соблазна, в то же время оказывающейся для постсоветских украинцев недостижимым миражом, воздушным замком. Во всех трех новеллах, которые рассматривает Шостак («Наяда» Марьяны Юхно, «Интернаймычка» Ореста Березовского и «Четыре дороги навстречу» Леси Романчук), оппозиция «своего – чужого» конструируется вокруг фигуры главной героини – женщины, выехавшей в Европу в надежде на заработок для своей семьи, на карьеру манекенщицы или просто на лучшую жизнь. Женщина-мигрант оказывается в пространстве напряжения между «своим» (родина, семья, близкие) и «чужим» (соблазн денег, новой жизни, новых личных отношений). Характерно, что все три автора сомневаются в способности своих героинь адаптироваться к чужому образу жизни и вообще в пригодности «их» ценностей для «наших людей». В новелле Березовского героиня, оставившая дома семью, оправдывает в письмах к мужу свое отсутствие, ссылаясь на европейские обычаи и свое новое понимание свободы. В книге Леси Романчук украинская эмигрантка, преуспевающая в бизнесе и имеющая мужа-европейца, тем не менее испытывает притяжение родного города, с которым по-прежнему связаны ее интимные мечты о доме и семье. «Европа» в этих новеллах предстает как «чужая территория», иногда заманчивая и привлекатель-

ная своей новизной, иногда – опасная и жестокая, иногда – скучная и холодная, лишенная интимности настоящих человеческих связей.

Тема Европы, определяемой через противопоставление «нас» и «их», родины и чужой земли, «наших» добродетелей и «их» пороков, продолжается в пьесе «Неаполь: город Золушек», написанной драматургом Надей Ковальк и поставленной в 2003 г. Львовским театром украинской драмы. Пьеса построена во-круг судеб двух украинских женщин, выехавших на заработки в Италию и устроившихся прислужгой в богатой итальянской семье. На первый взгляд, это пьеса о моральном выборе, стоящем перед женщиной, выезжающей за границу на работу, и главные героини своим поведением репрезентируют два возможных пути. Одна из женщин, Мария, сопротивляется соблазнам Европы и остается верна себе, своей родине, оставшейся дома семье. Другая, Галя, прилагает все усилия для того, чтобы найти обеспеченного мужа-итальянца. Однако, как показывает в своей статье Наталья Шостак, в действительности речь идет о противопоставлении «их» морали, допускающей внебрачные связи, фиктивные чувства и поверхностные отношения (итальянская семья), и «нашей» этики подлинной любви, верности и настоящих чувств (Мария). В своих отношениях с членами итальянской семьи, сталкиваясь с безразличием, сексуальными домогательствами, ревностью, Мария неизменно демонстрирует моральное преимущество, с честью выдерживая «испытание Европой». Объясняя небывалую популярность пьесы, особенно среди западноукраинской аудитории, где «заробитчане» есть почти в каждой семье, Шостак пишет:

«Пьеса служит особой идеологической цели, предлагая современным украинцам авторитетное оправдание их сложного жизненного выбора, принимая во внимание тяжесть социальных и экономических проблем, с которыми им приходится сталкиваться. Она создает важное ритуальное пространство, реальность, в которой переговоры по поводу места украинцев в Европе и претензия на их собственную европейскость могут быть успешными»⁷⁹.

Таким образом, отражение проблемы миграции в политической риторике и медиа-дискурсах, а также в произведениях массовой культуры сопровождается конструированием фигуры женщины-мигранта, репрезентирующей основные проблемы и опасности этого феномена. Будучи жертвой экономических обстоятельств, она в то же время вынуждена брать на себя активную роль добытчика; кроме того, на нее возлагается основная ответственность за сохранение семьи и биологическое воспроизводство нации. В качестве мигранта женщина несет также бремя символической репрезентации своей нации, своим поведением демонстрируя преимущества «нашего» образа жизни и «наших» ценностей. Женщина-мигрант воплощает собой границу между «нами» и «Европой» и одновременно представляет собой угрозу для этой границы.

5. Украинская женщина и границы Европы

Украина, как и восточноевропейская периферия в целом, играет важную роль в политическом воображаемом Европы. В отличие от мусульманского Востока, воспринимаемого как «Другой» Европы в культурном и цивилизационном отношении, Восточная Европа выступает как ее маргинальная, но неотъемлемая часть. После падения «железного занавеса» восточноевропейская периферия играет роль «Другого» уже не в идеологическом, а только в социальном и экономическом отношении. Именно цивилизационная и культурная близость позволяет позиционировать Украину по отношению к Европе главным образом в категориях «богатство – бедность», «порядок – хаос», «закон – мафия», «демократия – авторитаризм». Акцентирование экономических и социальных проблем восточноевропейских соседей укрепляет образ процветающей Западной Европы, отодвигая в тень ее собственные растущие трудности. Сравнение, в котором безусловно выигрывает Запад, демонстрирует преимущества капитализма и демократии и задает ориентиры «догоняющей европеизации» для восточноевропейской периферии. Украина в этой перспективе – это потенциальная Европа, которой еще только предстоит стать Европой полноценной: богатой, демократической, правовой. Понятна поэтому восторженная реакция Запада на «оранжевую революцию», воспринятую как перформанс превращения Украины в европейскую нацию, объединившуюся на основе ценностей свободы и демократии. Однако позитивный имидж, созданный «оранжевой революцией», не смог перевесить набора негативных коннотаций, связанных в сознании европейцев с Украиной: бедствующее население, коррумпированная политика, полукриминальный бизнес и господство мафии. Эта Украина предстает как угроза европейской стабильности и благополучию, источник дешевой рабочей силы, дестабилизирующей рынок труда, рассадник криминалитета и поставщик дешевых сексуальных услуг. Так, волна моральной паники, поднявшаяся в Германии в 2005 г. в связи с так называемой «визовой аферой», накрыла прежде всего имидж Украины. Йошка Фишер, на тот момент министр иностранных дел Германии, был обвинен политическими соперниками в безответственности: инициированная им облегченная процедура получения визы была якобы использована организованной преступностью для массового ввоза в страну украинских проституток и рабочих-нелегалов. В течение нескольких месяцев немецкая пресса пугала обывателя перспективой небывалого роста преступности, вызванного проникновением в страну украинской мафии. Визовая афера продемонстрировала – всего через несколько месяцев после «оранжевой революции», – что «фигуры сутенера и проститутки являются интегральной частью образа Украины и Восточной Европы в глазах немецкой публики»⁸⁰. По мнению немецкого историка Вольфганга Бургдорфа, визовая афера мобилизовала старые стереотипы и образы «Чужого», ассоциируемые с Восточной Европой⁸¹.

Какое место занимают украинские женщины в этих дискурсах «присвоения» и «отчуждения» Восточной Европы? В европейских медиа-дискурсах и в массовой культуре они представлены прежде всего как жертвы экономической ситуации и социального хаоса переходного периода, в конечном счете – жертвы коммунистического режима и его крушения. Бедность, безработица или нищенская зарплата, отсутствие перспектив, необходимость содержать семью подталкивают их к поискам заработка в полукриминальном бизнесе, связанном с риском сексуальной эксплуатации, или к выезду на Запад. Эти женщины репрезентируют бедность, неизвестную сегодня в Западной Европе, – бедность как состояние крайней безысходности и отчаяния, граничащее иногда с настоящим голодом, как угрозу основам физического существования. Так, например, в новом фильме австрийского режиссера Ульриха Зайдля «Импорт экспорт»⁸² рассказывается история медсестры Ольги из маленького восточноукраинского города, уже который месяц получающей только часть зарплаты, замерзающей вместе с ребенком и матерью в нетопленной квартире. Попробовав счастья в фирме, оказывающей секс-услуги западным клиентам через Интернет, и убедившись, что эта работа не для нее, Ольга решается на отъезд в Австрию в поисках работы. Разворачивающаяся параллельно история погрязшего в долгах безработного австрийца Пауля демонстрирует другую, «западную бедность» – бедность как отсутствие перспектив и бессмысленность существования.

Дискурс виктимизации сочетается, как правило, с другим распространенным дискурсом европейских медиа, в котором украинская женщина становится экзотическим объектом. Украина в этом случае представлена как «затерянный мир», который европейская модернизация обошла стороной, пространство, где история остановилась, а люди живут почти так же, как столетия назад. Этот дискурс присутствует в изображении Западной Украины (например, фильм «Карпатия»⁸³). Однако экзотизации подвергается и советское прошлое, следы советской цивилизации – это лишь один из пластов многовековой истории. Женщины в таком случае представлены как экзотические этнические тела – одетые в национальные костюмы, они танцуют и поют народные песни, их повседневная жизнь – приготовление пищи, работа по хозяйству – подчинена традиции, повторяет заведенный издавна распорядок. Экзотическая этническая Украина предстает как воплощение тоски Запада по утраченной аутентичности, а дистанция отчуждения превращает эту экзотическую территорию в «объект желания», реализуемого посредством индустрии туризма. Впрочем, граница между дискурсом виктимизации и дискурсом экзотизации часто оказывается размытой: например, женщины в украинских селах, по-прежнему выпекающие хлеб дома, могут вызывать сочувствие или восхищение, но они неизменно принадлежат иному миру, не имеющему ничего общего с повседневной жизнью западноевропейских женщин.

В более широком контексте украинские (славянские, восточноевропейские) женщины оказываются носителями качеств, безвозвратно утраченных Европой: теплоты человеческих отношений, сочувствия, женственности, лояльности семье. Так, в упоминавшемся выше фильме «Импорт экспорт» украинская медсестра Ольга, оказавшись в Австрии, устраивается домработницей в обеспеченную семью, однако вскоре теряет работу, поскольку хозяйке не нравится взаимопонимание, установившееся между нею и детьми. Позднее, устроившись уборщицей в дом престарелых, Ольга также выходит за рамки своих обязанностей, устанавливая с пациентами человеческие отношения, будучи не в состоянии отказать им в поддержке и дружбе. Именно эти качества, якобы по природе присущие украинским женщинам, эффективно используются для их маркетинга на брачном рынке Европы. Вот например, образцы рекламы украинских невест на сайтах двух брачных агентств, предлагающих невест из Восточной Европы:

«Невесты из Украины не только красивы, они также умны, воспитанны, преданны и стремятся к браку. Большинство одиноких украинских женщин рассматривают семью и детей как абсолютный приоритет в их жизни. Украинки очень отличаются от западных женщин, для которых характерны независимость, материализм и конкурентные амбиции.

В современном западном мире многие мужчины предпочитают одиночество, и не потому, что они не хотят иметь семью, иметь жену и детей. Причина в том, что мужчины, особенно те, кто не так молоды и легкомысленны, имеют определенные представления о будущей семье, какой она должна быть, однако они не уверены, что найдут в своем окружении подходящую женщину. Другими словами, хорошая жена – это сокровище, которое нелегко найти сегодня в богатом западном мире. Но если обратить взгляд на менее богатые восточноевропейские страны, такие как Россия, Беларусь или Украина, женщины там другие. Например, в Украине женщины стремятся выйти замуж в очень молодом возрасте, но они редко находят счастье, поскольку большинство ранних браков распадается через пару лет или даже месяцев. Это происходит из-за низкого уровня доходов в Украине, недостатка ответственности у многих мужчин или по причине алкоголизма, широко распространенного среди населения. Но ситуация меняется кардинально, если украинские женщины выходят замуж в другую страну. Тогда они могут проявить лучшие стороны своей ориентированной на семью природы, которая делает украинских жен непревзойденными. Мы можем откровенно сказать, что если мужчина мечтает об идеальной жене, украинка будет лучшим воплощением этой мечты... Поэтому, если назвать Украину страной несчастных женщин, что довольно близко к правде, почему бы не предположить, что некоторые украинские женщины могли бы быть лучшей второй половиной для мужчин, живущих вдалеке от Украины».

Этот дискурс брачного рынка причудливо соединяет бедность, страдание и женственность в образ идеальной женщины, способной сделать счастливым западноевропейского мужчину, травмированного феминизмом. Конечно, этот образ украинки – проекция мужских желаний и фантазий, он говорит куда больше о механизмах функционирования западноевропейского патриархата, чем о реальных украинских женщинах. «Мужское» (Западная Европа) и «женское» (Восточная Европа) оказываются платоновскими половинками одного целого, созданными друг для друга. Спасение восточноевропейской женщины от страданий и нищеты является своего рода моральным оправданием западноевропейского благополучия и лучшей гарантией счастливого брака.

Однако восточноевропейская «инаковость», представляющая собой искушение и соблазн, нередко оборачивается угрозой. В этом случае «украинская женщина» оказывается проекцией архаических мужских фобий, страха перед агрессивной женской сексуальностью, холодной расчетливостью и обманом. Украинская иммигрантка представляется сексуальной хищницей, охотницей за мужчинами, готовой на все ради материальных благ и возможности остаться в Европе. В этой связи интересна дискуссия, развернувшаяся вокруг романа Марины Левицкой «Краткая история тракторов по-украински», который вышел в 2005 г. в Великобритании. Дебют неизвестного английского автора с украинскими корнями неожиданно оказался успешным. Книга номинировалась на различные литературные премии, включая Букера, получила две престижные награды и была сразу переведена на несколько языков. Немецкий перевод «Тракторов» почти два месяца держался в первой пятерке бестселлеров. Роман Левицкой повествует о семье этнических украинцев, уже несколько десятилетий живущей в Великобритании. Старый вдовец, инженер-пенсционер Николай Маевский, в свои восемьдесят четыре года влюбляется в молодую и крайне прагматичную разведенку Валентину, приехавшую из Украины по гостевой визе, но твердо намеренную остаться на Западе. Она стремится женить на себе старика, чтобы получить наконец доступ к стереотипному набору благ, ассоциирующихся в сознании постсоветского человека с западным благополучием: шикарная машина, коричневая кухонная плита, «оксфорд-кембридж» для сына. Две дочери Маевского, Вера и Надя, будучи в ссоре из-за наследства матери, объединяются для борьбы за спасение отца от «агрессора». Вторжение Валентины в устоявшуюся семейную рутину заставляет сестер по-новому взглянуть на свое прошлое. Поэтому за семейной трагикомедией, написанной в жанре гротеска (роман получил приз как «лучшая юмористическая книга, написанная женщиной»), скрывается второй, более серьезный план – драматическая история Украины (голод, сталинские репрессии, война и рабский труд в немецких лагерях). Кроме того, «История тракторов» – это книга в книге: старый инженер Маевский пишет научное исследование о роли трактора в истории советской Украины, и отрывки из этого трактата вплетены в структуру повествования.

Хотя Валентина, иммигрантка новой волны, и не является по замыслу автора главным персонажем романа, она оказывается в центре повествовательной конструкции, задавая абсурдность и комичность ситуации. По мнению Андрея Куркова, живущего на Западе русскоязычного украинского писателя, «нам предложена банальная история украинской женщины, въехавшей в Соединенное Королевство по туристической визе и старающейся остаться в стране всеми правдами и неправдами»⁸⁴. Валентина – не живой персонаж, а скорее шарж, карикатура на постсоветскую (восточноевропейскую) женщину, манекен, на который навешиваются характерные западные стереотипы: огромный бюст, кричащая безвкусица в одежде, грубость и бескультурие, непомерные амбиции и меркантильность. Валентина подрабатывает на нескольких работах, но не желает готовить и вести хозяйство и поддерживает интимные отношения одновременно с несколькими мужчинами. Таким образом, в романе Левицкой стереотип «украинской женщины» претерпевает характерную метаморфозу: из пассивной и привлекательной жертвы, воплощающей идеал традиционной женственности, она превращается в агрессивную захватчицу, угрожающую стабильности западной семейной жизни, а привлекательная экзотика постсоветской бедности обочивается безвкусицей и болезненной фиксацией на потреблении.

В то время как западные критики оценили роман Левицкой в целом позитивно, увидев в нем прежде всего «этническую комедию», смешную историю из жизни иммигрантов, в украинской критике книга вызвала крайне противоречивые реакции. Некоторые оценили книгу позитивно, как проявление возросшего интереса Запада к Украине⁸⁵, для других она стала демонстрацией стереотипов об украинцах, пародией и даже «попыткой дискредитации Украины». «Все, что сделала Левицкая... с помощью простых символов объяснила англичанам “суть украинской души” (“старая жена с борщом” – старорезимная Украина, новая «жена с бюстом» – дикая, но витальная молодая Украина)⁸⁶. Тот факт, что большинство украинских критиков прочитали роман в русском переводе (украинский перевод пока отсутствует), несомненно, придало дискуссии дополнительное измерение. Российского переводчика (харьковчанина по происхождению) украинская критика обвинила в намеренном искажении языка персонажей: ломаный английский он попытался передать посредством «языка Верки Сердючки», исковерканного украинского, близкого к суржику: «Языковая неполноценность украинцев не просто дополняет их ограниченность, подлость и жадность», но и выступает самостоятельным «качеством... отличающим их от нормальных и культурных британцев и росиян»⁸⁷. Впрочем, при внимательном прочтении романа оказывается, что Валентина – русская, она приехала в Тернополь из России; и тогда все становится на свои места: «это не конфликт между разными ментальностями внутри украинства, а столкновение разных эмиграционных миров. Причем явно не в пользу русских»⁸⁸. Гротескный образ Валентины – продукта распада советской системы – некоторые критики противо-

поставляют образу первой жены Маевского, настоящей украинской женщины, которая

«...в тяжелейшие часы сохранила семью, вырастила детей и, даже оставив этот мир, продолжает быть образцом высокой морали, мужества и настоящей человечности, до которого ее детям и внукам еще надо дорасти»⁸⁹.

В противоположность этим попыткам украинской критики защитить «святое» – образ подлинной украинской женщины, репрезентирующей лучшие качества нации, ее «душу» и мораль, Майкл Берди, рецензирующий роман в газете «The Moscow Times», пронизательно замечает:

«Если голод и террор постреволюционных лет подтолкнул их (Веры и Нади. – Т.Ж.) мать к браку по расчету, незаконное господство преступников и бюрократов в 1990-е годы заставляет женщин, подобных Валентине, идти по этому же пути. Может быть, их стили различны – домашняя сливовка Людмилы против Валентиновых полуфабрикатов, Людмила стильная шляпка против розовых “шпилек” Валентины – однако обе женщины – это сильные и практичные украинские “танки”, подминающие под себя всех и вся, чтобы защитить и обеспечить свои семьи»⁹⁰.

Метафора «трактора» – это, конечно, не только удачное название романа, запоминающееся своей необычностью. Трактор является символом противоречивой советской модернизации, проекта ускоренной механизации аграрного сектора и коллективизации украинской деревни, символом советской украинской идентичности. Но в то же время трактор – это метафора советской женской телесности, агрессивной феминности и несущей угрозу сексуальности как результата эмансипации по-советски. Вспомним «женщин-кузнецов тяжелого молота» и «кухарок, управляющих государством», вспомним Верку Сердючку, которая, как и Валентина в романе Левицкой, разговаривает суржиком. Эти стереотипные женские образы иллюстрируют негативную оценку советской модернизации и ее последствий для национальной идентичности в украинских проевропейских дискурсах. Кодирова советское как «антиевропейское» внутри Украины, образ женщины-трактора в западной массовой культуре позиционирует украинскую (восточноевропейскую, постсоветскую) женщину как чужое, враждебное начало, представляющее угрозу для европейских миграционных правил, семьи и маскулинности.

Украинские женщины-мигранты в странах Европы, хотя и не несут на себе видимых маркеров цивилизационной пограничности, как это происходит с мусульманками, занимают важное место в дискурсах, конструирующих Европу путем противопоставления «другим» и их исключения. Их инаковость определяется через телесные и потребительские практики – сексуальность, манеру

одеваться, поведение в повседневных ситуациях. Стереотип пассивной жертвы при этом легко оборачивается своей противоположностью – образом опасного агрессора.

Заключение

Приведенный выше обзор национальных и европейских дискурсов показывает, что воображаемая «украинская женщина» становится своего рода местом символического торга различных концепций культурной и геополитической идентичности Украины, переопределения места украинцев в Европе. Она может воплощать в себе «европейскую традицию» или недостаток европейскости, пороки советской модернизации или национальные ценности и мораль, но при этом, как правило, репрезентирует границу, отделяющую Украину от Европы. В зависимости от того, кто конструирует эту символическую границу, она может рассматриваться как дискриминационная по отношению к украинским гражданам, исключая их из процессов европейской интеграции, или, наоборот, как необходимая для защиты «своих» ценностей и морали от «чужой» Европы. В то же время женщина как мобильный субъект нередко представляет собой угрозу размывания этой границы – с точки зрения как Европы, так и Украины.

Примечания

- ¹ Пахльовська, О. Україна і Європа в 2001-му: десятиліття втрачених можливостей / О. Пахльовська // Незалежний культурологічний часопис Ї. п. 22. 2001. С. 5.
- ² Возняк, Т. Стосунки Україна-ЄС: перезавантаження / Т. Возняк // Незалежний культурологічний часопис Ї. п. 50. 2007.
- ³ Динько, А. Між братньою Росією та мирною Європою / А. Динько // Критика. 4/2004. С. 10.
- ⁴ Delanty, G. *Inventing Europe. Idea, identity, reality* / G. Delanty. Houndmillan; Basingstoke, 1995.
- ⁵ Нойман, И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей / И. Нойман. М., 2004.
- ⁶ Портнов, А. Пошуки Центральної Європи в собі і назовні / А. Портнов / Критика. /2004. С. 15–17.
- ⁷ Kundera, M. *The Tragedy of Central Europe* / M. Kundera // *New York Review of Books*. 26 April 1984. P. 33–38.
- ⁸ Андрухович, Ю. Перверзія / Ю. Андрухович. Івано-Франківськ, 1997.
- ⁹ Андрухович, Ю. Врятувати “прокляту” Україну. Виступ Юрія Андруховича на слуханнях парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі. <http://www2.pravda.com.ua/archive/2004/december/15/5.shtml>
- ¹⁰ Гнатюк, О. Винайдення Центральної Європи / О. Гнатюк // Критика. 4/2003.
- ¹¹ Портнов, А. Ук. соч. С. 17.

- ¹² Миллер, А. Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России / А. Миллер // Новое Литературное Обозрение. 2001. п. 6 (52). С. 75–96.
- ¹³ Европа стала большей на сумму украинских регионов, где победил Виктор Ющенко. После 26 декабря – я очень в это верю – она станет большей на всю Украину (Андрухович, Ю. Врятувати “прокляту” Україну).
- ¹⁴ Тарас Матиив в недавнем номере журнала *Ї* пересматривает дискуссии о Центральной Европе с точки зрения расширения ЕС на Восток. Он трезво отмечает, что для Милана Кундеры Украина была скорее составной частью Советской России, чего не заметили «наивные украинские диссиденты», опубликовавшие статью Кундеры в своем самиздате. Приводя слова Кундеры о венгерском восстании как борьбе за «Европу», Матиив вступает с ним в запоздалую полемику: «Автор, очевидно, не подозревает, что до начала 50-х годов все еще проложались последние бои десятилетней партизанской борьбы против советов «За Украину и Европу» на Западной Украине... Очевидно, он и не подозревал, что за десятилетия этой борьбы через сталинские концлагеря прошло 150 000 украинских партизан» (Матиїв, Т. Парадокси Східної Європи / Т. Матиїв // Незалежний культурологічний часопис *Ї*. п. 50. 2007).
- ¹⁵ Lutz, H. The Limits of European-ness. Immigrant women in Fortress Europe / H. Lutz // *Feminist Review*. № 57. 1997. P. 97.
- ¹⁶ Chakrabarty, D. Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference / D. Chakrabarty. Princeton, 2000.
- ¹⁷ Tuathail, G. Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space / G. Tuathail. London, 1996.
- ¹⁸ Kofman, E. Feminist Political Geographies / E. Kofman // *A Companion to Feminist Geography*. Blackwell, 2005. P. 519–533.
- ¹⁹ Lewis, G. Imaginaries of Europe. Technologies of Gender, Economies of Power / G. Lewis // *European Journal of Women’s Studies*. Vol. 13 (2). 2006. P. 89.
- ²⁰ Hyndman, J. Mind the Gap: Bridging Feminist and Political Geography Through Geopolitics / J. Hyndman // *Political Geography*. n 23. 2004. P. 317.
- ²¹ Lutz, H. Op. cit. P. 95.
- ²² Emerson, M. The Elephant and the Bear: The European Union, Russia and their Near Abroads / M. Emerson [et al.]. Brussels, 2001. P. 17–19.
- ²³ Рябчук, М. Западники поневоле: парадоксы украинского нативизма / М. Рябчук // *Перекрестки*. п. 1–2. 2004. С. 33–60.
- ²⁴ Грицяк, Я. І ми в Європі? / Я. Грицяк // *Страсті за націоналізмом. Історичні есеї*. Київ, 2004.
- ²⁵ Рябчук, М. Дві України. Реальні межі, віртуальні війни / М. Рябчук. Київ, 2003. С. 19.
- ²⁶ Там, где мультикультурность является фактом сегодняшнего дня (в Крыму или в Закарпатье), она, как правило, не является принадлежностью проевропейского дискурса, а рассматривается как потенциальная проблема для национальной безопасности и территориальной целостности государства.
- ²⁷ Пономарьов, В. Львів вартий відправи / В. Пономарьов // *Незалежний культурологічний часопис *Ї**. п. 29. 2003. С. 311.

- ²⁸ Рябчук, М. Від Мароросії до України. Парадокси запізнiлого нацiєтворення / М. Рябчук. Київ, 2000; он же. Дiлеми українського Фауста: Громадянське суспiльство i розбудова держави. Київ, 2000.
- ²⁹ Грабовський, С. Креоли, креоли, вокруг одні креоли... / С. Грабовський // Незалежний культурологічний часопис І. п. 23. 2002. С. 212.
- ³⁰ Gapova, E. Women in the National Discourse in Belarus / E. Gapova // The European Journal of Women's Studies. Vol. 5. Issues 3–4. 1998. P. 487.
- ³¹ Рябчук, М. Єврошашлик: кілька рецептів / М. Рябчук // Український журнал. п. 3. 2006.
- ³² Там же. С. 17.
- ³³ Андрухович, Ю. Європа, мої неврози / Ю. Андрухович // Критика. Число 5 (103). 2006. С. 29.
- ³⁴ Возняк, Т. Генеральні тренди політики ЄС щодо України / Т. Возняк // Незалежний культурологічний часопис І. п. 50. 2007.
- ³⁵ Андрухович, Ю. Мала інтимна урбаністика / Ю. Андрухович // Критика. п. 1–2. 2000. С. 9.
- ³⁶ Кись, О. Цит. по: Рябчук, М. Дві України. С. 218.
- ³⁷ Боренько, Я. “Європейська мрія” i українське місто: 10 років політичного кітчу / Я. Бороненко // Незалежний культурологічний часопис І. п. 22. 2001. С. 184.
- ³⁸ Там же. С. 187.
- ³⁹ Там же. С. 199.
- ⁴⁰ Савченко, С. Неполіткоректні думки про комуністичні “свята” / С. Савченко // Кримська світлиця. 02.03.2007. <http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=printable&artID=4530>
- ⁴¹ Шашкевич, О. Опудало з плацкартного вагону / О. Шашкевич // Українська газета. 24–30.01.2008; Позняк, Н. Інформаційна диверсія, або чим загрожує насаджування синдрому хохла? / Н. Позняк // Народний оглядач. <http://observer.sd.org.ua/news.php?id=1188>; Парамошко, Д. Верка Сердючка: що на споді? / Д. Парамошко // Телекритика. <http://telekritika.kiev.ua/articles/176/0/8330/>
- ⁴² Своеобразное «изобретение заново» украинской маскулинности как европейской и даже космополитической прочитывается в романах Юрия Андруховича «Первезии» и «Рекреации».
- ⁴³ См. главу «Вписывая(сь) в дискурс национального».
- ⁴⁴ Зборовська, Н. Феміністичні роздуми / Н. Зборовська. Львів, 1999. С. 87.
- ⁴⁵ Забужко, О. Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика / О. Забужко. Київ, 2006.
- ⁴⁶ Павличко, С. Фемінізм / С. Павличко. Київ, 2002. С. 26.
- ⁴⁷ Агеєва, В. Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму / В. Агеєва. Київ, 2003. С. 271–272.
- ⁴⁸ Павличко, С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. Київ, 1999.
- ⁴⁹ Там же. С. 41.

- 50 В 2004 г. журнал *Ї* выпустил специальный номер, посвященный дискурсу эротики и сексуальности, признав, что целые пласты бытия - сфера чувств, приватной жизни, секса - не освоены украинской речью. Как результат, вульгарное и непристойное оказывается русифицированным, заменяется русским матом (Возняк, Т. А. *навіщо все це?..* / Т. Возняк // Незалежний культурологічний часопис *Ї*. п. 33, 2004)
- 51 Павличко, С. *Фемінізм*. С. 246–247.
- 52 Гундорова, Т. *Femina Melancholica*. Статья и культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської / Т. Гундорова. Київ, 2002.
- 53 Павличко, С. *Дискурс модернізму*. С. 63.
- 54 Забужко, О. *Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій* / О. Забужко. Київ, 2007.
- 55 Код Лесі Українки. Інтерв'ю з Оксаною Забужко // Україна молода. 5.10.2007.
- 56 Здесь не место обсуждать научную ценность концепции Забужко, к тому же сама автор позиционирует свои идеи скорее в контексте культурной мифологии, чем истории. Впрочем, исторические исследования украинской шляхты, хотя и остаются пока маргинальным направлением, могут похвастаться серьезной традицией (Вячеслав Липинский) и новыми интересными результатами (Наталья Яковенко).
- 57 Забужко, О. *Notre Dame d'Ukraine*. С. 309.
- 58 Там же. С. 503.
- 59 Левцун, О. *Зовнішня трудова міграція в Україні як демографічна пролема*. Диалог ua. http://dialogs.org.ua/project_ua_full.php?m_id=4040
- 60 Стародуб, А. “Мертві душі” трудових мігрантів. Чи правда за кордоном працює п'ять мільйонів українців? / А. Стародуб // *Дзеркало тижня*. 11–17 червня 2005 року.
- 61 Сімак, Т. *Трудова міграція з України не повинна розглядатися виключно як проблемне соціальне явище* / Т. Сімак // Диалог ua. http://dialogs.org.ua/print.php?part=opinion&op_id=631
- 62 Малышева, М. Елена Тюрюканова. *Женщина. Миграция. Государство* / М. Малышева, Е. Тюрюканова. М., 2001.
- 63 О. Левцун, О. Ук. соч.
- 64 Там же.
- 65 Сушко, О. Андрій Стародуб. *Напрямки формування державної політики України у галузі виїзної трудової міграції* / О. Сушко. А. Стародуб // SPSFPU. Аналітична доповідь 12 / 2005. <http://cpcfpu.org.ua/projects/foreignpolicy/papers/1205/>
- 66 Манифестации и пикеты зарубежных украинцев в поддержку Ющенко прошли во многих крупных городах Европы, и соотечественники узнавали друг друга в толпе благодаря оранжевой символике.
- 67 В декабре 2007 г. фракция Блока Литвина в украинском парламенте направила президенту Ющенко открытое письмо, обвиняя украинское руководство в игнорировании прав и интересов трудовых мигрантов.

- 68 Zimmer, K. Arbeitsmigration und demographische Krise / K. Zimmer // *Ukraine-analysen*. n. 20. 27.02.2007. P. 3.
- 69 Ugresic, D. Nice people don't mention such things / D. Ugresic // *The European Journal of Women's Studies*. Vol. 5. Issues 3–4. 1998. P. 302.
- 70 Кирчів, А. Трудова міграція і національна безпека України / А. Кирчів // Доповідь на “круглому столі” 7 жовтня 2004 року. Львів, ЛНУ. www.ji-magazine.lviv.ua/kordon/migration/2004/kyrchiv07-10.htm
- 71 Волянська, Н. Трудова міграція: плюс - для економіки, мінус – для суспільства / Н. Волянська // 21.01.2005. Західна інформаційна корпорація. <http://zik.com.ua/2005/1/21/news5744.htm>
- 72 Zimmer, K. Arbeitsmigration.
- 73 Цхведиани, В. Заробитчанство, как первый этап демографической катастрофы в западных областях Украины / Цхведиани // Диалог ua. http://dialogs.org.ua/project_ua_full.php?m_id=4065
- 74 Там же.
- 75 Мільярди від заробітчан // Львівська Газета. 24.10.2007.
- 76 К сожалению, социологические исследования, подтверждающие или опровергающие этот тезис, в Украине пока не проводились.
- 77 Shostak, N. In Search of Cinderellas / N. Shostak // *Naples and Beyond: Popular Culture Responses to Labour Migration from Ukraine*. Spacesofidentity.net 6.2 (2006). P. 186.
- 78 Ibidem.
- 79 Ibid. P. 201.
- 80 Huterer, A. Mythos Europa. Editorial / A. Huterer [et al.] // *Osteuropa*. 06/2006.
- 81 Burgdorf, W. Hoellische Schwaerme, Unreine Flut / W. Burgdorf // *Die Zeit*. 17.03.2005.
- 82 Import Export. Regie, 2007.
- 83 Carpatia. Regie: Andrzej Klamt, Ulrich Rydzewski. Deutschland / Österreich, 2004.
- 84 Kurkov, A. Human Traffic / A. Kurkov // *Guardian*. 19.03.2005.
- 85 Поліщук, Я. Інтрига Левицької / Я. Поліщук // *Український журнал*. n. 5. 2007. С. 13–14; Родик, К. Війна за мир / К. Родик // *День*. 5.05.2006.
- 86 Дроздовський, Д. “Трактори” з невдалої історії не по українськи / Д. Дроздовський // *Всесвіт*. 2007. n. 7–8.
- 87 Бондар, А. Контрафакт / А. Бондар // *Дзеркало тижня*. 27.05–02.06.2006.
- 88 Родик, К. Війна за мир.
- 89 Соколянський, М. Багатозначність “комічного роману” (ще раз про “Коротку історію тракторів українською мовою” М. Левицької) / М. Соколянський // *ЛітАкцент*, www.litakcent.com/index.php?id=161
- 90 Berdy, M. Mail-Order Bride / M. Berdy // *The Moscow Times*. 10.06.2005.

Научное издание

Журженко Татьяна

**ГЕНДЕРНЫЕ РЫНКИ УКРАИНЫ:
политическая экономия
национального строительства**

GENDERED MARKETS OF UKRAINE:
political economy of nation building

Ответственный за выпуск *Л.А. Малевич*

Корректор *Е.В. Савицкая*

Технический редактор *О.Э. Малевич*

В оформлении обложки использован
фрагмент работы А. Ройтбурда «Танго»

Издательство

Европейского гуманитарного университета

г. Вильнюс, Литва

www.ehu.lt

e-mail: office@ehu.lt

Подписано в печать 24.06.2008. Формат 60x90^{1/16}.

Бумага офсетная. Гарнитура «GaramondNarrow».

Усл. печ. л. 16,125. Тираж 300 экз.

Отпечатано «Petro Ofsetas»

Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius